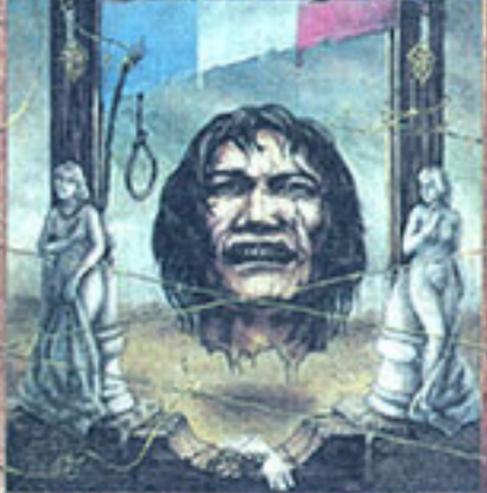


8444 ВЛ
1980

АРХИВ ВАТРИУС

Фрэнк ИЕРБИ

САТАНИНСКИЙ СМЕХ



Фрэнк Йерби
Сатанинский смех

OCR by Ustas; Spellcheck by Vitmaier
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153282

Содержание

1	4
2	33
3	49
4	84
5	119
6	161
7	199
8	255
9	287
10	329
11	363
12	392
13	415
14	436
15	475
16	499
17	530
18	557

Фрэнк Йерби

САТАНИНСКИЙ СМЕХ

1

– Это тянется слишком долго, – объявила Люсьена Тальбот.

Жан Поль посмотрел на нее.

– Что? – отозвался он.

– Да! – выкрикнула Люсьена. – Да, да, да! Меня уже тошнит от этого...

Жан оглядел комнату. Единственным источником света здесь был очаг, хотя снаружи день еще только клонился к вечеру. Отсветы пламени плясали по темным стенам, придавая медной посуде теплый оттенок. Он увидел горшок, висящий над огнем, ощутил запах булькающей в нем рыбы. Тускло поблескивали медные кастрюли. Он мог видеть свое лицо, которое отражалось на их поверхности, слегка искаженное, все из плоскостей и углов. Его черные глаза выглядели огромными.

Люсьена встала, движение было резким, но не лишенным грации. Он мог заметить, как отразились в медных кастрюлях ее рыжевато-коричневые волосы. Каждое ее движение исполнено изящества, подумал он. И еще подумал, что она

всегда должна умываться при свете очага, как сейчас...

В свете пламени возникали застарелый хлеб на столе, вино и сыр; мехи для раздувания огня, каменные щипцы, железные подставки для дров у камина; блики освещали бледно-желтую подушку на узкой постели, наполовину скрытой за ширмой.

– А мне это нравится, – проговорил Жан Поль.

– Тебе все нравится! А я... я не для этого связалась с тобой, Жан Поль Марен! Не для того, чтобы скрываться в этой мансарде. Не для того, чтобы жить в страхе перед полицией. Не для того, наконец, чтобы стать твоей любовницей. Нет, чем-то еще более постыдным, чем любовницей, потому что мужчины гордятся иногда своими любовницами...

– Я горжусь тобой, – сказал Жан.

– Сомневаюсь, – фыркнула Люсьена. – Ты считаешь меня старой и уродливой. Ты никогда не берешь меня с собой. Ты прячешь меня в этой вонючей дыре. Назовем вещи своими именами! Не могу понять, почему я связалась с тобой, Жан!

– А действительно, почему? – спросил Жан Поль.

– Сама не знаю! Видит Бог, в тебе нет ничего, на что стоило бы посмотреть. А что касается мозгов – мельничный жернов и тот крутится быстрее, чем ты соображаешь. Таланты? Никаких. Перспективы? О, множество! Могу их тебе перечислить...

– Не утруждайся, – отозвался Жан.

– Не хочешь, чтобы я их назвала, так ведь, Жан Поль?

Они не очень радужные, твои перспективы, поскольку ближайшие – тебя повесят за государственную измену, а более отдаленные – вздернут на дыбу и четвертуют! Никак не пойму, почему я всегда...

Жан Поль снова улыбнулся. Улыбка у него была особенная. Она преображала лицо, делая его прекрасным.

– Ты сказала, это произошло потому, что ты меня любила, – перебил он ее.

– Я лгала! Или была дурой. Или и то, и другое. Да, да, да, и то, и другое. Стоит мне подумать о своей карьере...

– О какой еще карьере? – грубовато спросил Жан.

– Ах, ты... Я могла бы сделать карьеру, если бы не ты. Мужчины заглядывались на меня. Аристократы. Я совсем неплохо танцевала, и мое мастерство росло...

– И тут появился я, Жан Поль Марен, сын Анри Марена, судовладельца. самого богатого человека на всем Лазурном берегу. Разумеется, это последнее обстоятельство не имело для тебя абсолютно никакого значения, так ведь, дорогая?

Она взглянула на него. Отсвет огня плясал в ее карих глазах, которые становились желтыми в зависимости от погоды или тона платья. “Совсем как тигрица”, – подумал Жан.

– Конечно, – согласилась она, – некоторое значение это имело. Попросту говоря, именно в этом было все дело. Я рассчитывала носить бархат и купаться в бриллиантах. А иначе зачем бы я связалась с тобой?

– Сожалею, что обманул твои ожидания, – заметил Жан

Поль.

– Я знала, что твой отец закоренелый пуританский хищник. Но ты говорил, что ему нужно привыкнуть к мысли о твоей женитьбе на актрисе...

– На танцовщице, – поправил ее Жан.

– Какая разница! Во всяком случае, я и представить себе не могла, что спустя два года мы все еще не будем женаты и мне будет угрожать бесчестье, – а ради чего?

– Мой отец, – вздохнул Жан, – человек трудный.

– Трудный? Невыносимый, ты хотел сказать! Но ты несравненно хуже. Ты, с твоими революционными выкриками! Ты просто дурак! Неужели ты не понимаешь, что общество, которое ты пытаешься разрушить, это единственное общество, в котором я могу чего-то добиться? Да и ты сам тоже. Уничтожь привилегии, и ты избавишь Францию от людей, достаточно богатых и благородных, чтобы оказывать покровительство...

– Мне не нужно покровительство, – прервал ее Жан

Поль. – Все, в чем я нуждаюсь, это справедливость.

– Пропади она пропадом, эта справедливость! И тебе все равно нужно покровительство. Если бы не твой отец, у тебя не было бы даже этой жалкой дыры...

Жан Поль смотрел на нее. После двух лет совместной жизни он все еще, глядя на нее, испытывал то же волнение. Он страдал. Из-за этой вот рослой рыжеволосой женщины, обладающей грацией большой кошки. И когтями.

– С меня довольно, – заявила она. – Я могла бы сейчас танцевать в “Опере”, играть на сцене “Комеди Франсез”. И я этого всего добьюсь! Назло тебе, Жан Поль!

– А под чьим покровительством? – спросил Жан. – Графа де Граверо? Но ведь такие мужчины, как он, требуют вполне определенную плату. Чем ты готова платить?

– Это уж мое дело, – решительно ответила она. – Но раз речь зашла о цене, я тебе скажу. Ту же самую цену, мой Жанно, за которую я купила тебя. Этого довольно?

– Даже чересчур, – выговорил Жан.

Он смотрел на нее, на ее щеки, казалось, зардевшиеся при свете пламени, на ее отлично вылепленные черты лица, на высокие скулы, чуть выдающиеся, отчего ее карие глаза казались слегка раскосыми, на широкий рот, припухлость которого он почти ощущал, длинные стройные, совершенной формы ноги, выглядывающие из-под крестьянского платья, и вдруг он ощутил прилив желания. Или, правильнее сказать, сейчас он ощутил желание острее, чем всегда, ибо он всегда желал ее.

Он шагнул к ней.

– Не прикасайся ко мне! – огрызнулась она.

А он протянул свои большие руки и схватил ее. Она стала вырываться, отворачивать лицо, так что ему пришлось удерживать ее одной рукой за подбородок, сжав его так, что ей стало больно.

Ее губы были холодные как лед. Но это продолжалось

недолго. Так случилось всегда. После всех ссор.

Он почувствовал, как плотно прижатые его губами дрогнули ее губы, пытаюсь выговорить какие-то неразличимые слова. Но она больше не сопротивлялась, не пыталась уклониться и прошептала:

– Животное! Будь ты проклят, Жанно, мой Жанно, ненавижу тебя, ты слишком хорошо меня знаешь, мерзавец, слишком хорошо, мой Жанно, о, проклятый, отпусти меня!

Но он не отпускал ее, и из ее рта не вырывалось больше ни единого слова, он становился все мягче под натиском его губ, начал двигаться, отвечать на его ласки, приоткрываться, и она, разгоряченная, постепенно начала дрожать.

Внезапно она поняла, что он смеется. Он оттолкнул ее, держа за плечи на расстоянии вытянутой руки, и его чистый баритональный смех эхом отдавался в потолочных балках. Это была одна из его дьявольских шуток.

– Пес! – прошептала она. – Сукин сын! Как ты мог.

Он посмотрел на нее, и в его черных глазах одновременно вспыхнули насмешливые и злобные искорки.

– Теперь хорошо, – сказал он, – теперь я знаю, что ты всегда будешь ждать моего возвращения...

Он взял со стола пачку исписанной бумаги и направился к двери.

Люсьена пристально посмотрела на него, – А твой ужин, Жанно? – проговорила она, и голос ее был почти нежным.

– Я не хочу есть, – рассмеялся он. – Разве только голод

любовный...

С этими словами он вышел из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь.

Люсьена еще долго стояла, глядя на дверь. Потом неспешно улыбнулась.

– Поставщики такого товара, как твой, мой Жанно, – нежно прошептала она, – всегда найдутся.

Затем повернулась спиной к очагу.

Жан Поль Марен остановился на обочине дороги, ведущей в деревню, и глянул на небо. Он простоял так всего несколько минут, но за это время облака, собиравшиеся весь день над Средиземноморским побережьем, затянули небо, не оставив ни единого просвета, и ветер, ранее едва слышно шелестящий, начал завывать. Все краски природы, кроме серой, исчезли. Ветер, стелая, рыскал по окрестностям, и деревья под его ударами начали клониться к земле. Жан знал, что происходит.

Мистраль. Он ненавидел мистраль той странной ненавистью, которую испытывал ко всему, что было недоступно его пониманию. Он не отличался суеверием, но знал, что творит мистраль с людьми. Это был зловещий ветер, действующий на нервы. Он дул без остановки день и ночь целыми неделями и приносил с собой много бед. В деревне учащались драки в таверне, мужья избивали жен и, если случались пере-

бои с хлебом, обычные в это время года, могли возникнуть и маленькие жакерии... Иногда случались даже убийства, ибо мистраль всегда нашептывал в сердце человека то, чего там не должно было быть...

Он постоял с минуту, вслушиваясь в разгул стихии. Ветер рвал его плащ, трепал волосы, по спине бегали мурашки. В завывании ветра ему чудились все те страхи, которые одолевали его. Вся ненависть. Он мог различить голос Люсьены, произносящий слова, высказанные ему неделю назад, когда он зашел в таверну и застал ее там сидящей за столиком графа Граверо, причем обе ее маленькие руки покоились в объятиях аристократических рук графа.

Жан шагнул к ним. Но в следующий момент Жерве ла Муат, граф де Граверо, смеясь, встал. Люсьена тоже поднялась, но гораздо медленнее. Она улыбалась. Затем граф поцеловал ей руку и вышел.

Жан подошел и остановился с ней рядом. Но прошло довольно продолжительное время, прежде чем она его заметила и, взглядевшись, прочла в его глазах страдание. Тогда она улыбнулась ему и запустила пальцы в его волосы.

– Не глупи, Жан, – сказала она. – Я давно привыкла к таким выходкам поклонников. Не стоит обращать внимание. Это одна из рискованных сторон моей профессии...

– Люсьена, – хрипло выдохнул он.

– Я предпочитаю, – пробормотала она, – мужчин более постоянных и... и настоящих... вроде тебя, мой Жанно...

Однако глаза ее все время были устремлены на дверь.

Сейчас, когда ему в шуме мистралья чудился ее голос, вспоминались ее слова, Жан Поль испытывал почти реальную физическую боль.

– Merde!¹ – выкрикнул он навстречу ветру и тяжело зашагал вверх по холму.

В этот ноябрьский день 1784 года ему исполнилось двадцать лет, и с виду, по своим внешним данным, он не отличался особой привлекательностью. Он был выше среднего роста, но очень худ. Руки и ноги несоразмерны фигуре, рот тоже чересчур велик, однако назвать Жан Поля уродливым никто бы не решился. Спасал, как ни странно, рот – большой, широкий, подвижный, всегда готовый рассмеяться – и действительно, почти всегда смеявшийся. Но смех Жан Поля был странен. В нем звучала какая-то вселенская издевка над всем сущим на земле и на небесах, включая и себя самого. Тереза, его сестра, называла этот смех сатанинским и ненавидела его...

Нос у него был правильной формы, прямой и тонкий, с небольшой горбинкой. Очень красивые глаза – большие, черные, чуть насмешливые, в них прыгали искорки-смешинки. Волосы были совершенно лишены блеска. Черные, длинные, ненапудренные, они свисали до плеч непричесанными прядями. Весь его облик производил какое-то противоречивое впечатление, и люди при виде его испытывали смут-

¹ Дерьмо (фр.)

ное беспокойство. Люсьена, например, утверждала, что он enrage² и что у него свирепые глаза.

Но это утверждение не было безусловно верным. Временами глаза Жан Поля действительно становились дикими – то ли от боли, то ли от страсти, но обыкновенно в них светилась какая-то злобная веселость, вызванная насмешкой над вселенской глупостью человечества. Иногда же, чаще всего наедине с собой, они делались глубокими, мрачными и задумчивыми – как у одержимого.

На его походке и манере держать себя лежала печать, общая для всех членов его семьи, так что любой мог издали распознать Маренов, однако лицо его было совершенно особенное. Такие лица встречаются только у людей, рождающихся чужими в этом мире.

Он и был чужим. Он не мог принять мир таким, каков он есть.

– Жан Поль, – говаривал аббат Грегуар, – будет либо уничтожен жизнью, либо изменит ее... Компромисса здесь быть не может...

Аббат Грегуар, как всегда, оказался прав.

Жан Поль шел сейчас наперекор мистралю. Он ненавидел этот ветер, но как и всем, что он ненавидел, Жан Поль был им как-то неестественно очарован. Вот таким человеком он был. Все, что он не любил, обладало какими-то свойствами, вызывавшими у него восхищение.

² Бешеный (фр.)

Даже Жерве ла Муат, граф де Граверо.

“Я его убью, – думал Жан Поль, борясь с ветром. – Воткну шпагу ему в брюхо и поверну ее там...” Но в то же время беспощадно честная доля его сознания, неподвластная контролю, нашептывала ему: “А ведь ты продал бы душу, чтобы быть похожим на него, не так ли, Жан Поль Марен? Быть высоким, как он, блондином с голубыми смеющимися глазами, таким же остроумным и веселым, как он, ездить верхом, как он, танцевать, ронять слова, как маленькие жемчужины, в женские уши... Разве ты не хочешь этого, Жан Поль? Разве не мечтаешь об этом?”

Он выпрямился и расхохотался. Ветер подхватил этот хохот, сорвал с его губ, предоставив им беззвучно шевелиться, а всему телу сотрясаться от беззвучного хохота.

– Жан Поль, – смеясь, говорил он себе, – ты глупец!

Он двинулся дальше по крутой дороге к деревне, прилепившейся, как воронье гнездо, на вершине горы. Он шел, согнувшись, против ветра, придерживая одной рукой треугольную шляпу, а другой пытаясь запахнуть полы плаща.

Он одолел уже половину пути, когда начался дождь. Дождь налетал снизу широкими порывами, косо несомыми ветром, и через минуту он промок насквозь. Однако шага не ускорил. Он получал странное, необъяснимое удовольствие от испытываемых неудобств. Дождь колот лицо и руки ледяными иголками, мистраль обжигал. Здесь, на высоте, деревья были иными, чем на побережье Средиземного моря. На

них виднелись листья, которые могли менять свою окраску, опадать.

Ветер гнал листья, сметая их в придорожные канавы, превратившиеся в потоки бурлящей воды, которая мчала их вниз по склону горы. Булыжник, выстилавший дорогу, блеснул под дождем, и идти стало труднее, ноги то и дело скользили. Однако он упорно продолжал шагать.

Теперь он уже шел кривыми улочками маленькой деревни. Несмотря на дождь, ему попадались люди, закутанные в лохмотья, и когда они оглядывались на стук его крепких башмаков по камням мостовой, он мог различить в их глазах голодный блеск. Деревня Сен-Жюль была похожа на множество других французских деревень, быть может, правда, дела в ней обстояли получше, чем в большинстве из них, но каждый раз, когда Жан Поль бывал здесь, его неудержимо тянуло ругаться. Или выть. Деревня была владением графа де Граверо, обычно поглощенного изысканной праздностью Версаля.

Хотя сейчас, с горечью подумал Жан, у графа есть дела поважнее. Однако графские бейлифы и местный откупщик-сборщик налогов не бездействовали. Жан Поль увидел старуху, которая, сгорбившись под дождем, старательно подбирала куриные перья, принесенные дождевыми потоками с чьего-то двора и прилипшие к ее двери.

Для нее, он знал, это вопрос жизни и смерти. В глазах сборщика налогов перья будут означать, что она может поз-

волить себе есть курицу, и, следовательно, размер взимаемого с нее налога может быть увеличен. А ей и теперь после уплаты налогов остается средств лишь на полуголодное существование. Любое их увеличение равносильно для нее смертному приговору. Она будет осуждена на медленную, но неизбежную голодную смерть.

Он остановился около нее и принялся помогать. Его молодые и гибкие пальцы быстро справились с задачей.

Она улыбнулась ему своим испещренным морщинами лицом, и ее слезы смешались с каплями дождя.

– Спасибо, месье, – поблагодарила она.

Жан Поль посмотрел на нее. Интересно, овладело им праздное любопытство, сколько ей лет. По его понятиям, ей было, вероятно, лет шестьдесят. На этот возраст и выглядела. Но когда он спросил ее, ответ его потряс.

– Двадцать восемь, месье, – ответила старуха.

Он пошарил в кармане и выудил луидор. Однако женщина затрясла отрицательно головой.

– Может, у месье есть мелкие деньги? – спросила она. – А то ведь где я могу разменять луидор? У бакалейщика, у мясника? Сами знаете, месье. Шпионы нашего господина шныряют повсюду, куда я пойду с таким богатством? Бейлифы будут у моих дверей раньше, чем я дойду до дома...

Жан Поль опустил луидор обратно в карман и извлек пригоршню экую и су, всю мелочь, какая у него была. Получилось гораздо меньше луидора, который он перед тем предлагал

ей, но для женщины удобнее были мелкие деньги. Для нее они растянутся на недели, даже на месяцы.

Она сунула деньги в большой карман юбки. Потом схватила обе его руки и стала покрывать их поцелуями. Жан стоял, и боль сжимала его сердце.

– Так будет не всегда, – пробормотал он.

– Знаю, месье, – прошептала она, – но я не доживу до этого...

Жан медленно тронулся дальше. Он направлялся к дому Пьера дю Пэна, своего партнера по преступной деятельности. Пьер идеально подходил для этого дела. Никому и в голову не могло прийти, что этот чудной парень, у которого, по общему мнению, были не все дома, на самом деле печатник, и весьма опытный. Ничего необычного нельзя было усмотреть в общении Жан Поля Марена с человеком, которого он нанял ночным сторожем на складах фирмы Маренов. И уж никто не мог бы заподозрить – даже и сам Анри Марен, – что в одном из этих складов хранятся печатный станок, бумага, краска и прочие необходимые запасы. Власти и взбешенное дворянство знали, что кто-то наводняет Лазурный берег изменческими памфлетами, написанными с дьявольским искусством. За стиль памфлетов отвечал Жан Поль, за печатание Пьер.

Но добраться до дома Пьера ему не удалось. В тот самый момент, как он последний раз повернул за угол перед домом, он увидел бегущего к нему Рауля, своего слугу.

– Месье Жан! – кричал запыхавшийся Рауль. – Ради всех святых, я обежал весь свет, разыскивая вас!

Жан насмешливо оглядел его.

– Звучит убедительно, – улыбнулся он. – Без сомнения, что-нибудь очень важное?

– Чрезвычайно важное, – с трудом выговорил Рауль. – Мадемуазель Тереза, ваша уважаемая сестра, хочет вас видеть. Она наказала мне без вас не возвращаться...

– Тысяча чертей! – выругался Жан. Потом опять улыбнулся. Он очень любил свою младшую сестру. – Ладно, Рауль, – сказал он, – иду...

Тереза ожидала его у больших железных ворот Виллы Марен. Она была в плаще с непокрытой головой. Здесь, внизу, на самом берегу, дождь прекратился, и даже мистраль был уже едва слышен.

При виде его Тереза топнула своей маленькой ножкой.

– Жан, Жан, – закричала она, – как тебе не стыдно испытывать мое терпение! Мы ждем тебя уже столько времени...

Жан посмотрел на сестру. Тереза Марен, как и все Марены, кроме Жан Поля, была маленького роста. Не в пример Анри Марену и старшему брату Бертрану, она отличалась утонченной красотой, которую унаследовала от матери, умершей при ее появлении на свет. Из всей семьи только Жан Поль был похож на нее, в нем тоже грубоватость Маренов уступила место утонченности матери.

На это раз его склонность к насмешке взяла верх. Он от-

весил сестре глубокий поклон.

– Весь в вашем распоряжении, мадемуазель, – чопорно произнес он, – или, правильное будет сказать, – он сделал паузу и выговорил, нарочито растягивая слова, – ма-дам Тереза, графиня де Граверо?

Тереза подняла на него глаза. Это была точная копия его собственных глаз – не считая того, что в них искрилась не насмешка, а сияла нежность.

– Жан, – мягко сказала она, – зачем ты так себя ведешь? Быть таким... таким колючим. Почему ты не можешь принимать жизнь такой, какая она есть?

– Потому, – ответил Жан, – что я – это я. Потому, моя маленькая сестренка, что я люблю тебя. И потому, что не люблю видеть, как мечут бисер перед свиньями.

– Жан Поль! – возмутилась Тереза.

– Звучит оскорбительно, да, сестренка? Правда всегда звучит оскорбительно. Жерве ла Муат, граф де Граверо – красиво звучит, не правда ли? Но если отбросить эти титулы, все эти красивые, лишённые смысла слова, что останется? Жерве ла Муат, мерзавец. Жерве ла Муат, распутник, пьяница, картежник. Предполагается, что мы должны расшаркиваться перед таким человеком. Я изучал право, окончил лицей, потом университет. Я забыл больше, чем этот человек когда-либо знал. И почему после всего этого я обязан выказывать ему свое уважение? Только потому, что какой-то его предок был разбойником, построившим замок около моста

или на перекрестке дорог, и благодаря грабежу стал богатым и могущественным? Они и сейчас все воры, твои прекрасные аристократы! И я положу этому конец!

Тереза заткнула уши пальчиками.

– Не хочу тебя слушать, – объявила она.

– Однако тебе придется, – засмеялся Жан. – Тебе и всему миру. Знаешь, почему он здесь? Нет, не отвечай мне. Конечно, для того, чтобы просить у нашего отца твоей руки. Но почему, Тереза? Ради всех святых, почему?

– Потому, – ответила Тереза, – что я красива и хороша собой и он меня любит...

– Слова, одни слова! Тереза, как ты можешь быть такой глупенькой? Среди аристократок немало красивых женщин. Возможно, среди них попадаются и порядочные, хотя я в этом сомневаюсь. Ты видела этого человека. Знаешь, как он горд. Тогда почему же он готов запятнать свое старинное фамильное дерево родством с женщиной незнатного происхождения? Ответ, моя бедная Тереза, очень прост. Потому что он беден, а мы богаты. Как истинный представитель всей высокомерной аристократической породы, он думал, что его земли и феодальные пошрины, все эти земельные ренты, *corvies, traites, lads et ventes, plaits-a-marcis*³, и тысячи других будут существовать вечно. Он мечтал тратить больше, чем позволяет ему его доход, до конца жизни и не обанкротить-

³ Барщина (*фр.*), тягловый налог (*фр.*), налог на доход с наследства (*фр.*), налог на рыбную ловлю и производство вина (*фр.*).

ся...

Тереза стояла, смотрела на брата, но не прерывала его.

– Сейчас по всей Франции аристократические семьи разоряются. И всегда по одной и той же причине. Мы, буржуа, смыслены, терпеливы, трудолюбивы. Аристократы же слишком горды, слишком ленивы, чтобы заниматься торговлей. По их вине Франция разоряется. И король, сам того не зная, разорен, как и все. Они пытаются сейчас прибегнуть к различным уловкам – готовы на все, лишь бы спасти себя. Король учреждает новые высокие должности с огромным жалованьем и без всяких обязанностей, но даже это не сможет их всех спасти... Так что ты будешь делать на месте Жерве ла Муата? Как содержать свои замки, конюшни, откуда брать средства на игру в карты, на распутство, на содержание роскошных любовниц из Оперы и Комеди Франсез? Очень просто, мой мальчик, как это я раньше не догадался! Разве Симона де Бовье, старшая дочь старого маркиза де Бовье, не спасла старика, выйдя замуж за судовладельца? Богатое отребье, толстый, глупый бычок, но, заверяю вас, ловкий в торговле. Погоди, погоди, как же их фамилия? Мартен... Марен, вот оно! А как насчет их дочери? Наверное, глупа и скучна, и тем не менее, старина, надо идти на жертвы...

– Перестань! – закричала Тереза. – Перестань немедленно, Жан!

Он взглянул на нее. Она плакала.

– Прости, Тереза, – произнес он. – Я не хотел доводить

тебя до слез...

Он наклонился и нежно поцеловал ее. Мгновение спустя она перестала плакать и улыбнулась ему.

– Пойдем, – сказала она, – отец посылал за тобой...

Жан Поль напрягся.

– Зачем? – проворчал он.

– Месье граф уезжает. Отец хочет, чтобы ты присутствовал при отъезде и все мы достойно попрощались с ним.

– Уезжает? – переспросил Жан.

– Да. Он попросил моей руки... и... его предложение было принято. Отец считает, что вся наша семья должна проявить учтивость, теперь, когда...

– Да я прежде увижу, как он крутится на вертеле в аду над горящими углями, – разгорячился Жан. – Как ты могла, Тереза?

– Я все-таки женщина, – прошептала Тереза. – А Жерве очень красив, ты должен признать это, Жан...

Жан Поль уставился на сестру.

– Ты хочешь сказать, что любишь эту свинью? – выдавил он из себя. – Да, Тереза?

Тереза кивнула.

– Да, Жан, это так, – прошептала она. – Я люблю его, люблю!

– О, Боже, куда ты смотришь!

– Не богохульствуй, Жан, – тихо сказала Тереза. – Он попробует стать лучше. Он мне это обещал. Я слышала о его

дурном поведении и упрекнула его. Он легко согласился, что не был святым, и поклялся, что никогда не огорчит меня. А ведь он, Жан, мог и солгать мне. Замечательно, что он не...

– Такие люди слишком горды, чтобы лгать, – перебил Жан. – Но они поступают хуже...

– Ничего не может быть хуже, – заявила Тереза.

– Боже милостивый, – прошептал Жан.

– И кроме того, ты, Жан, несправедлив. Жерве аристократ и человек чести. А ты кричишь на меня, стоит мне упомянуть его имя. Странно, не правда ли? А если я, например, заговорю... или кто-нибудь другой... об этой простолюдинке, этой девке из театра, Люсьене Тальбот...

– Тереза!

– Видишь! Она танцует полуголая на сцене Комеди... и один Бог знает, чем она занимается после спектакля. А для тебя эта лицемерная маленькая кокетка и прекрасна, и порядочна...

– Так и есть! Могу поручиться жизнью.

– Дай Бог, чтобы тебе никогда не пришлось этого делать, – сказала Тереза. – Пойдем, Жан, отец уже, наверное, начинает терять терпение, а тебе еще нужно переодеться. Вместо того, чтобы ходить, как все благоразумные люди, под дождем...

– Подождет отец, ничего с ним не случится, – заявил Жан, – а переодеваться не буду. Ла Муат может любоваться мной, будь он проклят, таким, каков я есть! Говорю тебе...

– О, не будь ребенком! – прервала его Тереза. – Жерве

абсолютно безразлично, каким заляпанным грязью ты предстанешь. А меня ты будешь позорить. Ты этого хочешь?

Неожиданно Жан улыбнулся ей.

– Нет, сестренка, – сказал он, – этого я не хочу. Пойдем, я переоденусь.

Они направились к Вилле через сад, разбитый с безупречным формальным совершенством. Все здесь было размечено с геометрической беспощадностью, даже кустарник.

– Ненавижу эту размеренность! – вырвалось у Жан Поля. – Почему...

– Знаю, – терпеливо отозвалась Тереза. – Почему не оставить природу нетронутой, как призывает Жан-Жак Руссо? Ты меня опять в спор втянешь. Вот и пришли. А теперь отправляйся и переоденься!

– Ваш покорный слуга, мадам графиня! – насмешливо ответил Жан и побежал вверх по лестнице в свою комнату. Когда он возвратился, то выглядел не намного лучше, разве что был в сухой одежде.

В дверях большой залы Жан Поль остановился, чтобы рассмотреть гостей. Он увидел старое и мудрое, в глубоких морщинах, лицо аббата Грегуара. Аббат был в коричневой сутане. Заметил и тощую фигуру Симоны, сводной невестки. Она хотела выглядеть благосклонной к аббату, снисходительной по отношению к своему тупому, рыхлому мужу и игнорировать своего свекра. Со всеми этими тремя задачами ей не удавалось справиться. Эти тщетные попытки были

для нее в порядке вещей.

И только один Жерве ла Муат, граф де Граверо, чувствовал себя совершенно естественно. И это тоже было в порядке вещей.

Он был на голову выше всех собравшихся в зале, не считая Жана. И выше Жана он был все-таки на целых два дюйма. Граф был неправдоподобно красив. В придворном бледно-голубом костюме из тяжелого шелка, с пышными кремовыми кружевами полотняной кружевной рубашки и шейного платка, прикрывавших его шею и грудь, выглядывавших на запястьях, с шелковым носовым платком, который он с элегантной небрежностью держал между пальцами левой руки, с русыми волосами, напудренными так, что они выглядели совершенно белыми, с короткой шпагой, эфес которой был украшен бриллиантами, видневшимися из-под камзола, он выглядел павлином среди домашней птицы.

Он посмотрел на Жана, и в его голубых глазах был лед. “Этот человек, – неожиданно подумал граф, – опасен. Не знаю, встречалось мне когда-либо более умное лицо. А ум среди низших слоев общества опасен, особенно сейчас...”

Он вынул золотую табакерку, украшенную гербом дома Граверо, и изящно взял понюшку, небрежно притронувшись затем к ноздрям шелковым платочком.

Жан не двигался. Сейчас ему было не до смеха. Его ненависть к этому человеку была как болезнь, как физическая боль.

Жерве ему улыбнулся.

– Ага, – сказал он, – молодой философ соблаговолил присоединиться к нашей мирской беседе? Очень мило с вашей стороны, Жан...

Жан Поль не ответил. “Не искушай меня, – подумал он. – Бога ради, не искушай меня. Я могу сейчас тебя убить... ты даже не представляешь, как это близко...”

Тем временем Жерве склонился к маленькой ручке Терезы.

– Мадемуазель простит меня, – промурлыкал он, – что я должен так спешно удалиться от столь приятного общества. Мне действительно очень больно уезжать, гораздо больнее, чем может представить себе мадемуазель...

– Тогда, – вздохнула Тереза (ее темные глаза лучисто сияли), – почему вы уезжаете, месье?

– Дела при дворе, – прошептал он. – Поручение Его Величества. Больше я не могу сказать – даже вам, мадемуазель. Надеюсь, вы простите меня?

– Я вас прощаю, – улыбнулась Тереза, – если вы вернетесь... вскоре...

– Буду лететь, как на крыльях, – засмеялся Жерве. Потом обернулся к остальным. – Благословите меня, святой отец, – произнес он, опустившись на одно колено перед старым священником.

Аббат Грегуар пробормотал что-то на латыни и перекрестил голову графа. Жерве поднялся, взял руку аббата и поце-

ловал кольцо на пальце, как если бы тот был папой римским.

– А теперь вы, мой добрый будущий тесть, – сказал он, обнимая Анри Марена и целуя его в обе щеки.

Жан Поль видел, как порозовело от удовольствия лицо отца, и неожиданно для себя вдруг с поразительной отчетливостью ощутил навязчивый контраст между приземистой и некрасивой фигурой отца, с его темным сицилийским происхождением, и удивительно привлекательной внешностью графа Жерве ла Муат. Отец, подумал Жан, похож на Панча, а Бертран, так тот еще уродливее...

Бертран, купивший себе место с должностью и дворянство – вот до какой крайности дошел король Франции – и женившийся на Симоне де Бовье, дочери потомственной, хотя и пришедшей в полный упадок, аристократической семьи, удостоился такого же объятия со стороны графа. И все-таки в этом объятии было какое-то различие. Хотя и едва уловимое.

Жан Поль сразу понял, в чем дело. Жерве способен на подлинно нежное чувство по отношению к своему будущему тестю. Анри Марен человек простой, без претензий. По существу, он все еще Энрике Марено, крутой сицилийский пират, которому судьба подарила большое богатство, потому что он один из всех своих многочисленных братьев понял, что можно иметь больше, оставаясь в рамках закона, чем сражаясь против него. Этот старый мошенник может нравиться Жерве.

Однако истинный аристократ, дворянин шпаги, дворянин меча, не мог испытывать иных чувств, кроме презрения к новым “дворянам мантии”, как их называли, людям, купившим себе дворянский титул, которые нажили свои капиталы благодаря финансовому разорению государства. То обстоятельство, что именно старая аристократия несет ответственность за это разорение, никак не смягчало их яростного презрения к этим самоуверенным выскочкам, щеголяющим в присвоенном им оперении. Жан догадывался, что Жерве никогда не простит Бертрану его наглости – жениться на аристократке, хотя и на такой жалкой представительнице аристократии, как Симона. Поэтому его объятие было окрашено искуснейшей демонстрацией презрения, какую только можно представить.

А склонившись над рукой Симоны, граф даже не дал себе труда скрывать насмешку. Он с большим уважением отнесся бы к девице веселой профессии, чем к аристократке, вышедшей замуж за простолюдина.

– Итак, моя дорогая Симона, – пробормотал он так, чтобы никто, кроме нее, не мог бы его услышать, – мы с вами оказались одного поля ягодами.

Тем не менее Жан заметил, как она вся напряглась, и догадался, что он ей сказал. Теперь пришла очередь Жан Поля. Жерве направился к нему с протянутой правой рукой. По отношению к наследнику хозяина дома социальные различия можно было отбросить. Простое рукопожатие – это уже бы-

ло снисхождением – должно было удовлетворить Жан Поля Марена.

Жан стоял, держа руки по швам. “Будь я проклят и пусть попаду в ад, прежде если пожму ему руку”.

Жерве остановился, рука его все еще была протянута. Его синие глаза превратились в льдинки.

– Я протягиваю вам руку, Марен, – произнес он.

– Вижу, господин граф, – ответил Жан.

– Жан! – закричала Тереза.

Жан осязаемо ощутил на себе взгляды всех присутствующих, пылающие, как угли, в гневном замешательстве. Одна Симона позволила себе высказать мимолетный намек на восхищение, но и он исчез, и Жан остался в одиночестве перед лицом семьи.

– Я все еще предлагаю вам свою руку, – произнес Жерве, и в улыбке его затаилась смерть.

– А я, – отозвался Жан, ощущая ярость из-за того, что голос его едва заметно дрогнул, – по-прежнему оставляю за собой право не подавать руки одному из губителей Франции. Или месье предпочитает, чтобы я пожал ему руку, а потом послал слуг за водой и полотенцем и вымыл руки в его присутствии?

Рука Жерве опустилась. Улыбка на лице так и застыла. Невольно Жан восхитился его выдержкой.

– Вы храбрый человек, господин философ, – произнес наконец Жерве. – Но именно поэтому, вы, вероятно, совершен-

но уверены, что я вряд ли стану рисковать расположением мадемуазель, вашей сестры, и не пошлю своих слуг, чтобы они просто избили вас до смерти палками, чего вы, безусловно, заслужили своими дурными манерами. Вы ведь на это рассчитываете?

– Я ни на что не рассчитываю, – ответил Жан, – разве что на свою правую руку – со шпагой, саблей или даже пистолетом – по выбору месье...

Жерве изумленно посмотрел на него. Затем откинул голову и весело рассмеялся.

– Ну, Марен, – с чувством сказал он, – вы фантастическая личность!

Произнеся это, он повернулся и отвесил величественный поклон присутствующим.

– Я предпочел бы забыть эту выходку, – улыбнулся он. – Молодость и, вероятно, слишком много вина. Возможно, мальчику нужно пустить кровь. Буду рад прислать в ваше распоряжение своего врача, месье Марен...

– Я сам устрою ему кровопускание, – загремел Анри Марен, – только не скальпелем, а плеткой! Жан, отправляйся в свою комнату и жди там моего решения! Немедленно, мальчишка!

Жан посмотрел на отца. Потом очень медленно улыбнулся.

– Фантастический, – пробормотал он. – Спасибо за слово, господин граф. Но я могу придумать кое-что получше. Ты,

отец, человек не фантастический – ты просто нелеп. И не все на свете продается, как ты поймешь в один прекрасный день...

– Отправляйся в свою комнату! – взревел Анри Марен.

– Нет, – спокойно и весело заявил Жан, – я делаю только то, что хочу. И если ты еще когда-либо поднимешь на меня руку, я не посмотрю, что ты мой отец, о чем всегда бесконечно сожалею... Да, я легко это забуду...

И, оглядев всех, он разразился хохотом.

– Почему ты смеешься? – поинтересовался Бертран.

– У меня видения, – выговорил Жан сквозь смех. – Я наблюдаю комический танец, который в скором времени предстоит исполнить в воздухе господину графу, поддерживаемому только петлей на шее; вижу, как странно выглядит наш добрый аббат, лишенный своего духовного сана и пустых предрассудков; вижу Бертрана, у которого отнимут его дворянский титул и разграбят богатства; вижу Симону и тебя, моя бедная сестренка, будто вы варите свои дворянские грамоты, чтобы утолить голод...

Анри Марен уставился на сына.

– А я? – с трудом выговорил он.

Жан перестал смеяться.

– Ты же, мой бедный отец, избавишься от всех этих страданий. Потому что тебя уже просто не будет, чтобы вообще что-либо видеть...

– Безумец! – прошипел Жерве ла Муат.

– Вот именно, – улыбнулся Жан, – или, быть может, здравомыслящий, живущий в безумном мире. Кто знает?

И он направился к двери, оставляя за собой отзвуки смеха.

Остальные застыли на своих местах, глядя друг на друга. В смехе Жана было что-то жуткое. Нечто, как пришло вдруг на ум аббату Грегуару, сатанинское...

– О, Боже, – вслух произнес он, – этот мальчик одержимый!

При этих словах все обернулись к нему. Затем один за другим склонили головы, услышав эту магическую формулу, сорвавшуюся с уст старика.

И даже граф де Граверо испугался, прочтя в их глазах веру в пророчество.

2

Уже опять пошел дождь, когда Жан Поль покинул Виллу. Тем не менее он, запрокинув голову так, чтобы струйки воды стекали по лицу, улыбался. Погода соответствовала его настроению.

Он вышел на дорогу, берущую начало на берегу моря и выходящую до предгорий Приморских Альп, миновал дом Люсьены, не остановившись. Ему потребовался почти час, чтобы дойти до Сен-Жюля, поскольку деревня располагалась довольно высоко в отрогах Альп. Он прошел кривыми мощеными деревенскими улочками и наконец остановился перед нужным ему домом.

Дом был сложен из камня, как и все дома в Сен-Жюле; с крыши, крытой черепицей, потоки дождя выливались на улицу. Жан постучал. Дверь с легким щелчком приоткрылась. Потом она распахнулась настежь, на пороге стоял улыбающийся Пьер дю Пэн.

– Заходи, заходи! – смеясь, приветствовал он его. – Марианна! Посмотри на нашего прекрасного друга-философа. Он выглядит как галльский петух, которому отказали все куры, и у него, бедняги, поникло все его роскошное оперение!

Пьер обладал рыжей шевелюрой и глазами, которые казались попеременно голубыми и зелеными. Его простое лицо лишено было столь свойственного крестьянам выражения

бессмысленной подавленности понурого животного. У него лицо, в тысячный раз подумал Жан, святого и сатира одновременно. И в то же время смелое и умное лицо. Но с каким-то чуточку безумным выражением, как, впрочем, и мое. Мы живем в мире, приспособленном для умалишенных, может быть, поэтому мы оба выживем...

Он широко улыбнулся другу. Отец Пьера был зажиточным крестьянином, что было еще возможным во времена детства Пьера и случается даже сейчас в отдаленных районах Франции, обычно там, где исконные аристократы оставались верными земле и отказывались посвящать свою жизнь Версалию. Отец послал сына учиться на священника, в результате чего Пьер умел читать и писать не только по-французски, но и по-латыни и на древнегреческом. И его смысленность, и достигнутый им уровень мастерства немало способствовали ниспровержению прежних кумиров. Ибо среди авторов, которых он читал, были Руссо, Вольтер и Монтескье.

В итоге Пьер ушел из монастыря, решив, что Бог, допускающий, чтобы множество людей в самой богатой в Европе сельскохозяйственной стране голодало, обойдется без его услуг. Вскоре после этого он встретил Марианну, и это решило все проблемы...

Он перепробовал с дюжину профессий и в конце концов стал учеником типографа в Марселе. Там его и нашел Жан Поль Марен, которого отец послал в этот город заказать бланки накладных.

– Заходи, Жан, – сказала Марианна, – давай-ка я просушу твою одежду. Может, вина хочешь?

Это была одна из побед Жан Поля – он добился, чтобы жена друга называла его Жаном, а не месье или даже хозяином. Жан Поль гордился этим. Настанет день, когда не будет более сеньоров, господ, хозяев... придет такой день...

– Вина? – прогремел голос Пьера. – Конечно! В такой день мужчине необходимо вино. Особенно философу, – ведь что станет с философией, если ее вымочит дождь и продует мистраль?

– Заткнись! – набросился на него с шутливой яростью Жан.

– Ах, вот оно что, господин философ в дурном настроении! Это уже серьезно. Впрочем, все, что происходит с нашим философом, всегда серьезно и никогда ни к чему не ведет. Приготовил ли ты для меня заранее шелковую постель в Малом Трианоне, возможно, даже с австриячкой в ней?

– Ты, – ухмыльнулся Жан, – оскорбляешь мое обоняние. Да, Марианна, я и правда хочу вина.

– Будем сегодня работать? – спросил Пьер. – Хорошо бы поработать. Я напечатаю все замечательные, смелые и блистательные мысли моего философа, который стремится уничтожить систему, обеспечивающую ему богатство и власть, ради блага жалких глупых бедняков. Когда придет революция, я стану принцем. Позволю господину философу служить в моих конюшнях. Заставлю его убирать конский

навоз и запрещаю ему появляться передо мной, потому что он будет оскорблять мое обоняние. *Ca ira!*⁴

– Ты пьян! – вырвалось у Марианны.

– Ну да! Быть пьяным замечательно, моя дорогая. Лучше быть пьяным от вина, чем от слов. Потому что я не из числа мечтателей, вроде моего друга-философа. Он не может понять, что создаешь новую аристократию, когда переворачиваешь мир... И она, эта новая аристократия, не обладая давним опытом старой, может оказаться еще более жестокой в подавлении народа...

– Ты в это веришь? – спросил Жан, глядя на друга.

– Я это знаю. Идея равенства для человеческого ума посторонняя мысль. Уравняй всех людей, мой Жан, и чего ты добьешься? Умные и безжалостные будут продираться наверх, и ты вновь получишь аристократию, буржуазию и простолюдинов – их, возможно, будут иначе называть, но по существу это будет то же самое всегда. И это будет тем нагляднее, чем больше будет перемен, – не смотри на меня так, *mon vieux*⁵. Это правда. Я в отчаянии оттого, что это правда. Я бесконечно сожалею, что это правда. Однако человек самое непристойное из всех животных, всегда алчное, жестокое и подлое...

– Но человечество дает философов, – улыбнулся Жан, –

⁴ Вперед! (*фр.*) Первая строка песни, которая в начале Великой французской революции стала боевой песней восставших.

⁵ Мой друг (*фр.*)

И ПОЭТОВ...

– И художников, и шлюх, которые олицетворяют собой самое благородное из всего, что производит человечество. Потому что они смягчают боль в сердце мужчины лучше любого поэта, любого философа!

– Пьер! – возмутилась Марианна.

– Прости, – рассмеялся Пьер и ущипнул ее круглую щеку. – Хорошая жена даже лучше, потому что соединяет в себе и куртизанку, и кухарку, и друга.

– Трепло! – засмеялся Жан.

– Я не трепло. Если я и высказался без утайки, так это потому, что в моих словах все чистая правда. Суди сам, будет ли существовать какая-либо разница между настоящим крестьянином и внуком графа де Граверо, если вдруг внук графа станет крестьянином и будет потеть под солнцем? Будет ли в этом случае внук сколько-нибудь меньше крестьянином? Будет ли его голод менее острым, будут ли его раны менее болезненны? Жан, мой Жан, брат моего сердца – то, что ты делаешь, – это безумие, и лучше бросить это занятие...

– И что же я в таком случае должен делать? – спросил Жан.

– Сидеть на солнышке и пить вино. Заниматься любовью. Смеяться, но не так, как ты обычно смеешься, как сумасшедший дьявол. Чтобы смех вырывался из пуза, чтобы пузо было полно доброго смеха. Делай сыновей, много сыновей, и

всегда отказывайся думать. Потому что это смертельная болезнь, от которой нельзя излечиться...

– Сумасшедший, – фыркнул Жан и протянул ноги поближе к огню, так что от его мокрых башмаков пошел пар.

Марианна возилась у очага, и Жан почувствовал восхитительный запах тушеного в вине кролика, исходивший из висевшего над огнем черного котла. Если бы Жан был чужим, ужин Пьера немедленно исчез бы в специально подготовленном потайном месте. Во-первых, потому, что крестьянин всегда должен выглядеть голодным, чтобы избежать алчных когтей бейлифов своего сеньора, а во-вторых, наличие кролика в котле означало бы, что Пьер браконьерствовал в охотничьих угодьях графа, а закон предписывал за это преступление смерть через повешение, хотя теперь этот закон редко применялся столь безжалостно.

Едва отведав кусочек мяса, Жан обнаружил, как ужасно он голоден. Природа наделила его весьма скромным аппетитом, но сегодня он в еде не отставал от Пьера. Было так хорошо сидеть у огня и вести полушутливый-полусерьезный разговор, но их ждала работа за полночь.

Пьер поцеловал на прощанье Марианну, и они зашагали по дороге, пока не добрались до развилки, откуда путь вел к Марселю. Здесь, в тени деревьев, Жан держал привязанных лошадей – дорога им предстояла слишком длинная, чтобы отправляться пешком.

Через два часа они оказались внутри самого большого из

складов Марена, отодвигая ящики и рулоны шелка. Когда они все это передвинули, перед ними оказалась маленькая дверь. Жан Поль обнаружил эту дверь совершенно случайно год назад, когда его отец отправил морем в колонии такое количество товаров, что склад на время опустел. Дверь вела в маленькую комнату, которую Анри Марен в начале своей торговой карьеры использовал под контору, но по мере процветания фирмы он вынужден был перенести свои бухгалтерские книги в отдельный дом, и о маленькой комнате все забыли. Теперь в ней стоял печатный станок, который по частям притащил сюда Пьер и здесь собрал, кипы бумаги, стол для резания бумаги и хорошая дорогая наборная доска.

При свете одной-единственной свечи Пьер принялся за работу, читая с рукописных листков, принесенных Жан Полем.

– Дьявол тебя заberi! – выругался он. – Когда ты научишься писать по-французски просто? У тебя отвратительный стиль. Кто может правильно написать такие слова?

– Ты можешь, – заметил Жан.

– И почерк твой становится со дня на день все хуже. Иди сюда, почти мне...

Жан стал читать ему по рукописи. Ему пришлось признать, что Пьер не зря критикует его почерк. Иногда он сам с трудом разбирал, что написал.

Наступила тишина, нарушаемая только скрипом винта, когда они его закручивали, прижимая пресс к листам бума-

ги. Они сменяли друг друга у рукоятки – один укладывал листы, а другой ходил вокруг станка, вращая рукоятку прессы. Это была тяжелая работа, поэтому они часто менялись, чтобы дать себе роздых.

Они закончили после полуночи, собрали отпечатанные листы и связали их в пачки. Потом выбрались из маленькой комнаты и вновь завалили дверь всеми теми тюками, которые раньше оттаскивали в сторону.

По городским улицам они шли пешком, потому что цокот конских копыт по камням мостовой мог привлечь внимание стражи. Они остановились у дверей булочной и спрятали пачки в таком месте, где булочник легко мог найти их. Утром при дневном свете каждая женщина, купившая хлеб, обнаружит, что он завернут в использованную типографскую бумагу. Тогда в домах бедняков соберется человек двадцать, а то и больше вокруг стряпчего или писаря, а иногда даже местного священника, которому платили мало, а служить ему приходилось много, и который всегда на стороне народа, и будут слушать жгучие слова, написанные Жаном Полем Мареном.

Спустя несколько дней оборванный и замызганный листок попадет в руки властей. Будет большая суматоха, и многие титулованные головы будут встревоженно склоняться над своими бокалами с вином, но толку от этого не будет никакого, потому что полиция до сих пор не могла даже раскрыть механику распространения этих памфлетов, поскольку

ку Жан Поль и Пьер редко использовали одну и ту же тактику. Одну неделю это были марсельские булочники, другую – бакалейщики, потом виноторговцы. И каждый раз люди начинали роптать...

В четыре часа ночи они прискакали в Сен-Жюль и поставили лошадей в конюшню. После этого Жан отправился пешком в сторону Виллы.

Но ему не суждено было туда добраться. Не прошел он и сотни ярдов от дома Пьера, как услышал мужской голос, изрыгавший проклятия, и удары кнута, сопровождающиеся криками боли.

Он побежал на этот шум и увидел, что происходит. Тележка дровосека загородила дорогу большой карете. Торопясь посторониться от скачущих лошадей, поскольку знать всегда мчится, как ветер, дровосек действовал слишком поспешно, его груз сместился, двухосная тележка почти опрокинулась, напрочь перегородив узкую улочку, зажатую между двумя рядами домов.

Жан разглядел все это с первого же взгляда. Ему не нужно было особенно задумываться, чтобы догадаться, что заставило дровосека ехать по улочкам Сен-Жюля в четыре часа ночи. Тот попросту крал дрова из леса своего сеньора, поскольку все леса, где крестьянам разрешалось заготавливать дрова для своих очагов, давно уже были вырублены и выжжены.

Но что привело Жана Поля Марена в ярость, так это то, как

кучер кареты пытался справиться с возникшей ситуацией. Он слез со своего высокого облучка и поощрял конвульсивные попытки дровосека выправить тележку ругательствами и ударами кнута.

Жан сунул руку в карман и вытащил оттуда один из двух пистолетов, которые всегда носил с собой. Он быстро двинулся вперед, шагая бесшумно, пока не оказался совсем рядом, и тогда ударил кучера пистолетом по лицу с такой силой, что услышал, как разорвалась кожа у того на лице, и кучер упал в грязь. Он с ревом поднялся на ноги, но увидел у себя перед носом дуло пистолета.

Жан держал кучера под прицелом и отступал, пока не поравнялся с дверцей кареты. Он рывком распахнул ее и, не заглядывая внутрь, насмешливо произнес:

– Не будет ли господин так любезен, что выйдет из кареты?

Ответа не последовало. Жан заглянул внутрь и увидел, что карета пуста.

Он обернулся как раз вовремя, чтобы уклониться от удара одного из лакеев, стоявших на запятках. Жан Поль выхватил второй пистолет и направил его вверх.

– Слезайте, – скомандовал он, – все слезайте!

Лакеи графа де Граверо спустились с запяток.

“Ну что ж, – подумал Жан, – если я лишен удовольствия заставить графа де Граверо перекладывать дрова, остается удовольствоваться меньшим – заставить делать это его изне-

женных лакеев”.

– А теперь, господа, – вежливо сказал он, – вы будете так любезны, что поднимете тележку нашего уважаемого друга, дровосека...

Лакеи устали на него.

– Альтернатива, – засмеялся Жан, – вряд ли будет столь же приятной. Ибо, если вы откажетесь, вы не оставите мне другого выхода, как, к величайшему моему сожалению, вышибить вам мозги...

Два пистолета оказались достаточно убедительными доводами. Лакеи в своей роскошной одежде: шелковых брюках, вышитых ливреях, треуголках с плюмажами и кружевными воротниками поставили плечи под тележку и стали ее приподнимать. Она медленно встала на колеса. Но часть дров свалилась на землю.

– А теперь, – весело сказал Жан, – дрова!

Они подняли дрова и уложили их на тележку. Дровосек заторопился прочь, лицо его посерело от ужаса.

“Теперь мне следует еще раз отвлечь их, – подумал Жан, – не допустить, чтобы они ускакали и сообщили о происшедшем...”

Он неторопливо подошел к кучеру, который стоял, дрожа. Его роскошное одеяние было покрыто грязью и разорвано, лицо залито кровью от удара Жана.

– Лошади! – приказал Жан. – Распрячь лошадей!

– Но, – задрожал кучер, – мне это будет стоить жизни,

господин разбойник! Мой господин ждет меня, а я уже на полчаса опоздал. Если я еще опоздаю...

Жан смотрел на кучера, но не видел его. В его груди рождалось нечто черное, бесформенное. Оно легло на его легкие, остановило дыхание, протянуло свои тонкие щупальца к сердцу.

– Где, – прошептал он, – твой господин ждет тебя?

– В доме той девицы с рыжими волосами... Пожалуйста, господин разбойник...

– Распрягай! – загремел голос Жана.

Кучер медленно распряг лошадей. Жан поднял левой рукой кнут, все еще направляя другой рукой пистолет на лакеев. Затем, выпрямившись, он хлестнул кнутом по крупам лошадей. Они сорвались с места, помчавшись галопом по узкой улице.

– Вы не будете идти за мной, – медленно произнес он. – С этой минуты убить любого человека, связанного с графом де Граверо, доставит мне удовольствие...

Он стал отступать от них вниз по улице. Оказавшись достаточно далеко, повернулся и пустился бежать. Путь его пролегал вниз по холму. Когда он добежал до дома, он даже не запыхался.

Дверь была не заперта. Люсьена знала, что после своих поездок в Марсель он никогда не возвращался раньше полудня следующего дня.

Под пеплом в потухшем очаге все еще тлели угли. Ему

потребовалось немало времени, чтобы зажечь свечи, руки у него дрожали.

Он стоял, глядя на них. Они оба мирно спали. Он сделал шаг к постели. Второй. Остановился, наклонившись над ними, глаза его ничего не видели из-за обжигающих слез.

Когда он наконец выпрямился, слезы иссякли. Их сменила ярость по поводу собственной слабости. Теперь должно совершиться убийство. Он вытащил оба своих пистолета и очень тщательно прицелился.

Но на спуск не нажал. Не мог.

Лежа в мерцающем свете свечи, она выглядела так прелестно, рыжеватые волосы были в беспорядке разбросаны. При таком освещении она была слишком хороша. Растерянный, он смотрел, как играют свет и тени на ее лице, видел теплые, влажные, чуть раскрытые губы, ощутил совершенство ее тела, ее талии, изгиба бедра, мягких коленей и длинных, цвета слоновой кости и алебастра, ног...

Он отвернулся и, сам не зная, зачем он это делает, бросил полено в почти потухший огонь. От этого звука они сразу же проснулись.

– Я подумал, вы, быть может, хотите погреться, – спокойно сказал он, – хотя бы для того, чтобы привыкнуть к жару. Я слышал, в аду очень жарко...

– Жан! – вскрикнула Люсьена.

Он улыбнулся ей.

– На тебя так приятно смотреть, – прошептал он. – Да-

же сейчас, когда меня должно бы мутить от одного вида... Очень жаль портить такую красоту...

– Марен, – сказал Жерве, вставая, – отпустите ее. Вы ведь, конечно, не будете...

– А я не джентльмен, месье, – засмеялся Жан. – У меня нет чести, вы помните? Вчера, месье, вы отказались сразиться со мной. Как ни странно, у вас есть такое право, господин граф. Вы можете отказаться драться на дуэли с человеком ниже вас по положению, и ваша честь не пострадает...

Он замолчал, все еще улыбаясь.

– Но если содрать с вас ваши роскошные одеяния, вы оказываетесь заурядным человеком. И неплохим экземпляром аристократа... Не волнуйтесь, господин Граверо. Моя честь не зависит от случайности рождения. Она запечатлена в моей душе. Ловите!

Он бросил на постель второй пистолет.

Жерве взял его в руку и с сожалением оглядел себя.

– В таком вот виде?

– Графа беспокоит, что он уйдет из этого мира таким же, каким пришел в него? – насмешливо спросил Жан. – Конечно, это не так импозантно, как быть одетым по французской моде, не так ли? Ладно, подожду, пока господин граф облачится соответственно...

– Жанно, Бога ради! – вырвалось у Люсьены.

– Опера, Комеди Франсез, – прошептал Жан Поль. – Однако ты плохо ведешь дела, любимая, иначе не стала бы пла-

тить авансом...

– Я готов, – сказал Жерве. – Хотя в такой ситуации...

– Мы оба, скорее всего, умрем, – улыбнулся Жан. – Это вас беспокоит, месье? Жаль. Вчера вы могли бы устроить все так, как вам было угодно... Вы готовы?

Он увидел, как расширились глаза у Люсьены. Но взгляд ее был устремлен мимо него.

– Хватайте его! – заревел граф де Граверо.

Жан обернулся. Кучер и трое лакеев ломились в дверь.

Жан вздохнул и поднял пистолет.

– Похоже, – с сожалением произнес он, – мне придется убить кое-кого из вас...

Люсьена услышала, как щелкнул курок в руке Жерве ла Муата. Она успела заметить, как он поднял пистолет, и в ту же секунду бросилась на него. Она опоздала. Но все-таки успела толкнуть его под руку и тем самым спасти Жану жизнь.

Выстрел прозвучал в маленькой комнате оглушительно.

Люсьена увидела грибовидный дымок и вспышку оранжевого огня. Жан Поль Марен дернулся, неожиданно обмяк и повалился на спину. Когда он уже оказался на полу, пистолет выпал у него из рук.

– Вы... вы застрелили его, – прошептала Люсьена. – Вы выстрелили ему в спину...

Жерве улыбнулся.

– А куда же еще, вы хотите, чтобы я стрелял... в пса? –

сказал он.

Руки Люсьены взметнулись, и ее острые ногти едва не вцепились ему в глаза.

И тут Жерве ла Муат, граф де Граверо, которого обучали всем необходимым искусствам, в том числе и тому, как обращаться с женщинами из низких сословий, замахнулся и ударил ее так, что она отлетела к очагу.

– Пошли, – сказал он своим слугам, – лучше всего оставить их здесь... обоих...

Однако в дверях он обернулся и взглянул на Люсьену. Она привстала на одно колено, и отсвет вспыхнувшего огня окрасил ее тело золотистым сиянием. На нее стоило посмотреть.

“Никогда до конца своих дней, – подумал Жерве ла Муат, – не забуду я эту картину...”

Потом он вышел за дверь, неслышно прикрыв ее за собой.

3

Тележка дровосека спускалась по крутой дороге, ведущей к берегу моря. Люсьена забила ее пуховыми матрасами и подушками, и все-таки каждый раз, когда одно из больших колес наезжало на камень, Жан Полю приходилось закусывать губу, чтобы не застонать. Он вышел из состояния полусна и бреда всего неделю назад, но за эту неделю успел обнаружить, как любовно выхаживала его Люсьена. После первого дня, когда местный хирург нащупал расплюсченную пулю и выправил ребро, помешавшее пуле поразить жизненно важные органы, она ухаживала за раненым с исступленной нежностью, запрещая врачу переступить порог ее дома. Она не очень-то уважала докторов, и это ее неуважение было более чем оправданно – весьма сомнительно, выжил ли бы Жан Поль в милосердных руках французских докторов восьмидесятих годов семнадцатого столетия. Люсьена рассудила, что вряд ли полезно пускать кровь человеку, потерявшему больше крови, чем можно было бы допустить, или очищать ему желудок, когда он настолько слаб, что не может сам поднести ложку с супом ко рту...

Это действительно снимает с нее вину? – думал Жан Поль, лежа в тряской тележке и наблюдая, как ветерок развеивает ее рыжеватые волосы. Она спасла ему жизнь после того, как поставила ее под угрозу своей неверностью...

Одно деяние должно искупить другое, но искупает ли на самом деле? Странно... Все мои друзья называют меня философом, а я чуть было не погиб, пытаюсь стать человеком действия. Плохо я приспособлен для этой роли...

Пьер называет меня мечтателем, говорит, что я опьяняю себя словами, но никакое пьянство под этими небесами не может сравниться с отравляющей жаждой действовать решительно, смело, когда наступает время действий...

Люсьена обернулась, сидя на высокой перекладине рядом с дровосеком. Со дна тележки, где он лежал, Жан мог видеть солнечный свет, создающий ореол вокруг ее волос, белые облака, скользящие в нескольких дюймах над ее головой по небу такой синевы, какой никогда еще не было со дня сотворения мира и никогда больше не будет. Эта синева прочерчивалась кисточками сосновых иголок, пляшущих под ветром, голыми ветками дубов и платанов, белыми стволами берез. Все было странным образом преломлено, выдвинулось в перспективе из такого положения, из которого человек редко видит мир...

“Но думается хорошо, – пришло ему в голову, – все располагает к долгим, неторопливым мыслям. Каким должно быть око за око, чтобы посчитаться? Люсьена любит меня и выхаживает, и для меня эта любовь бесценна. Однако, – он улыбнулся, взглянув на нее, – это ведь ты, моя сладкая, начала устанавливать цену за любовь, к тому же по ценам воровского рынка. Ах, Люсьена, Люсьена, то, чего ты хочешь, нельзя

купить, всегда от века это нужно заработать. И пот, и слезы, которые ты вложила, вот мера этой цены... Да если бы сам король вывел тебя на сцену, под огни рампы, которые для тебя желаннее бриллиантов, только твое мастерство, твой талант могут удержать тебя там, и все зависит от того, есть они у тебя или нет, а купить талант – безнадежно”.

Она опять обернулась и плотнее прикрыла одеялом его шею, ибо уже стоял декабрь и было холодно, несмотря на ясное небо. Ее пальцы коснулись его щеки и задержались там, и он с болезненной горечью понял, сколь мало прав имеет он именоваться философом.

Ибо вновь вернулась боль, не острая боль от раны, а другая, ужасная, немислимая, обретающаяся в глубине. Эта боль не была связана с определенным органом тела, а заполняла все его существо. Боль была внутри и снаружи, вокруг, она разрасталась до того, что охватывала уже и небо, сжимаясь до раскаленного острия страдания, которое исследовало и поворачивалось, пока его кровь не устремилась со свистом по венам.

Он удивлялся, почему Люсьена не слышит этого свиста. Для него он был реальным и ясным и отдавался у него в ушах. Этот звук замирал до хныканья испуганного ребенка и усиливался до болезненного, непереносимого воя преступника, умирающего под пытками. Это была страшная, очень страшная, может быть, самая страшная боль на свете. Почти, но не совсем.

Он знал, что самое страшное, и каждый раз, когда боль прикасалась к нему, это страшное возвращалось и жило в его сознании. Самым страшным – тем, от чего он хотел отгородить свое сознание – была память. Но от нее он отгородиться не мог.

Память жила. Она была более живой, чем он. Более живучей, чем несчастное избитое и изломанное нечто, которое он называл своим телом. Память можно было видеть и осязать, память была теплой, мягкой, имела форму и даже запахи. Она была совершенной. Мрачное и прекрасное совершенство.

И благодаря этому предательство Люсьены стало для него двойным осквернением – она осквернила себя, свое тело, которое было источником и храмом его поклонения и воплощало чистоту любви. Он будет жить, есть, дышать, но его смерть, когда она в конце концов придет, окажется ни чем иным, как кульминацией процесса умирания, начавшегося в ту ночь, когда он дрожащими пальцами зажег свечу и увидел, что она спит с графом де Граверо...

“Я ее не брошу, – с горечью осознавал он, – потому что не могу. Я бессилён оставить ее, разве что на пороге смерти. Но то, чем мы будем обладать отныне, будет походить на бесценную вазу, которую бросили на пол и потом искусно склеили, до последнего кусочка, но, Боже, какими уродливыми выглядели эти кусочки при свете...”

Она повернулась, взгляделась в его лицо и то, что она уви-

дела, ее обеспокоило.

– Жанно, – прошептала она, – не думай об этом... Это прошло, кончилось. Понимаешь, мой Жанно? Я... я была ослеплена. Аристократ, знатный аристократ – и такой красивый к тому же, ведь ты меня понимаешь? Я была слабой и глупой. Но когда вы оба оказались перед испытанием, ты вел себя благородно, более того, галантно, дав ему возможность защищать себя, а он...

– Бога ради, замолчи! – закричал на нее Жан.

Она подняла на него глаза, и губы ее задрожали. Потом очень тихо, сохраняя чувство собственного достоинства, она заплакала.

Дровосек с любопытством глянул на нее.

– Нам лучше поторопиться, – проворчал он, – у него опять лихорадка...

Люсьена перестала плакать, удовлетворившись этим простым объяснением. Жан улыбнулся ей, подумав: не так все просто, Люсьена. Ничто в жизни не оказывается простым – или таким, каким мы ожидали и хотели бы его видеть. Наверное, именно поэтому в нашем языке полно ярлыков: аристократы, духовенство, буржуазия, крестьянство, сумасшедшие, святые. Мы должны это упростить, не правда ли? Говорим аристократ и тут же думаем о Жерве Мари ла Муате, его отце, человеке, который отличался от него, как день отличается от ночи. Помню, как плакали крестьяне в ту ночь, когда он умер... Говорим крестьянин и представляем себе

бессловесную забитую скотину, перепачканную землей, пахнущую стойлом, однако Пьер дю Пэн крестьянин, так же как и я буржуа... и сумасшедший... О, да, мы будем и впредь изобретать ярлыки, которые никогда ничему не соответствуют, выстраивать сверхпростые схемы, потому что мы устали от бесконечной боли раздумий, от того, чтобы взвешивать и оценивать каждого отдельного человека на земле, подмечать каждое малозаметное отличие его от всех других людей...

Эти мысли утомили его. Он задремал, но даже в дремоте ощущал тряску тележки, поскрипывание конской сбруи, резкие порывы ветра.

Его разбудило ощущение, что тележка остановилась. До его сознания дошли звуки голосов. Это были знакомые голоса, он знал, что слышал их раньше.

– Non de Dieu!⁶ Да это же молодой хозяин! Месье Марен нанял целую армию полиции разыскать его! Он жив? Благодарение Богу, а не то я бы не перенес такой вести...

Жан лежал с закрытыми глазами, испытывая блаженную усталость от охватившей его слабости, от неожиданного наслаждения тем, что боль совершенно исчезла. Видимо, он опять заснул, потому что, уж конечно, Тереза не могла так сразу возникнуть – нужно было еще проделать путь в целую милю от железных ворот до самой Виллы.

– Жан! – Она выбежала навстречу тележке, голос был громким, напряженным, она задыхалась. – Милосердный

⁶ Черт возьми! (фр.)

Боже, что они с тобой сделали?

Он пытался обрести голос, сказать ей, что ничего не произошло, просто несчастный случай, но слишком устал, и ни один звук не вырвался из его горла, хотя губы шевелились, пытаясь выговорить слова.

– Ты! – прошипела Тереза, голос ее сразу стал хриплым от невыносимого отвращения. – Это ты убила его! Ты, гнусная уличная девка! О, Боже, Боже, сколько раз я умоляла Жана держаться от тебя подальше! В глубине души я знала...

– Что ты знала, сестренка? – выдавил из себя Жан сквозь смех, который звучал в его голосе, подобно сухому тростнику под порывами ветра. – Что Люсьена в один прекрасный день убьет меня? Но она сделает это не так скоро, дорогая сестренка, и уж наверняка не таким жестоким, варварским способом. Она слишком нежна для такого дела, и кроме того, есть более приятные способы...

– Он бредит, – прошептала Тереза. – О, Жан, Жан...

– Это не я, – сказала Люсьена. – Спросите у него, он вам скажет.

Тереза взглянула на нее, и ее черные глаза полыхнули яростью.

– Он солжет, – ответила она. – Ради тебя он солжет. Как лгал много раз и раньше...

– С вами бесполезно разговаривать, – с горечью произнесла Люсьена. – Забирайте его, мадемуазель, забирайте вашего драгоценного братца, который обошелся мне в тысячу раз

дороже, чем он того стоит!

Жан Поль приподнялся, опираясь на локоть, и удержался в этом положении достаточно долго, чтобы увидеть лицо сестры, искаженное гневом, но это усилие оказалось для него слишком тяжелым, и он вновь погрузился в уже знакомое ему теперь ощущение, будто его несет прилив тьмы и он погружается в пучину мрака.

Когда он вновь выплыл к свету и воздуху, то лежал уже в своей комнате и вся семья стояла вокруг его постели.

– Люсьена? – прошептал он.

– Она в тюрьме, – выпалил его брат, – где ей следует быть. Нужно только твое заявление, чтобы мы могли предъявить ей обвинение.

Жан Поль посмотрел на брата, и его рот сложился в гримасу смеха, но чтобы рассмеяться, он был слишком слаб.

– Ты, Бертран, фантастическая личность, – вымолвил он, – просто фантастическая. Ступай и немедленно освободи ее!

– Сын мой, – громко сказал Анри Марен, – мы простили тебе твое безрассудство. Ты молод, в тебе течет моя кровь, так что твоя необузданность естественна. Но эта неуместная галантность лишь следствие болезни. Эта ведьма должна понести наказание, которого заслуживает.

Жан улыбнулся.

– За что наказание, отец? – пробормотал он. – За то, что спасла мне жизнь?

– Спасла тебе жизнь? – вырвалось у Симоны. – Послушай, Жан...

– Уверяю тебя, моя уважаемая и высокочтимая невестка, именно это она и сделала. Она увидела, как убийца прицелился, и ударила его по руке, так что пуля, которая наверняка убила бы меня, изменила направление. После этого она уложила меня в постель и выхаживала днем и ночью, пока жизнь не вернулась ко мне...

– Ручаюсь, это был не первый случай, когда ты лежал в ее постели, – объявила Симона.

Жан взглянул на нее.

– Ты ведь высокородная дама, не так ли? – фыркнул он. – Симона де Сен-Жюст, маркиза де Бовье, и тем не менее ты все равно мелкобуржуазная кумушка!

– Жан, – вмешалась Тереза, – посмотри мне в глаза! А теперь повтори – она спасла тебе жизнь...

Жан Поль серьезно посмотрел на сестру.

– Да, сестренка, – тихо сказал он. – Она спасла мне жизнь, и очень дорогой для себя ценой, возможно даже рискуя собственной жизнью...

Тереза выпрямилась и встретилась глазами с Симоной.

– Он говорит правду, – тихо произнесла она.

– Сама знаю, – выпалила Симона. – Господи, какие же мы, женщины, дуры!

– Бертран, – начала Тереза.

– Хорошо, хорошо, – проворчал Бертран. – Я поеду и

освобожу ее, хотя власти будут считать меня полным дураком и гадать, чем она нас держит.

Жан Поль пристально смотрел на Бертрана, и в его глазах мелькнула насмешка.

– Твои доводы, брат, справедливы, – пробормотал он, – но ведь так было всегда, не так ли?

– Помолчи, Жан, – прервала его Тереза, – тебе нельзя утомляться.

Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше и крепче, но очень хотелось спать. Было так приятно погрузиться в сон, зная, что это сон, а не забытье, слыша, как их голоса становятся жужжанием пчел, шепотом ветра... Он долго спал глубоким сном. А когда проснулся, почувствовал себя ужасно голодным. И это тоже был хороший признак, потому что он ощутил желание поесть в первый раз с того момента, когда Жерве ла Муат выстрелил в него.

Тереза сидела у постели и кормила его горячим супом. У него было чувство, что с каждой ложкой в тело возвращается жизнь. Приятно было ощущать себя живым, вновь владеть всеми чувствами, хотя рана все еще чертовски болела.

В комнату вошел Бертран Морен.

– Она на свободе, – без предисловий объявил он.

– Отлично, – произнес Жан и удивился силе своего голоса. – Бесконечно благодарен тебе, брат мой...

– Можешь не благодарить, – отозвался Бертран. – Я ничего не сделал. Когда я приехал, ее там уже не было. Я остано-

вился около ее дома. Я... я чувствовал, что приличия требуют, чтобы мы принесли ей извинения. Ее уже не было. Мне сказали, что она уехала из деревни...

– Бертран, – спросила Тереза, – но если не ты ее освободил, то каким образом...

В лице Бертрана произошла перемена. Сначала у него задрелся подбородок, потом краска поползла выше, пока не достигла ушей. Они также залились румянцем. Жан мог видеть, как они – почти горят.

– Э... э... один большой вельможа, – забормотал Бертран, – приказал... Похоже, он питает какой-то интерес к этой проститутке...

Жан Поль взглянул на брата. Он долго смотрел на него. Потом захохотал. Это было слабое подобие его обычно сочного баритонального смеха. Теперь раздавался сухой, скрипучий смех, и все они скорее видели, что он хохочет, нежели слышали. Но выглядело это ужасно. Бертран не мог этого вынести. Он повернулся на каблуках и, демонстрируя остатки достоинства, вышел из комнаты.

Лицо Терезы побелело.

– Жан, – прошептала она, – ты думаешь... Но этого не может быть! Жерве уехал из Сен-Жюля больше недели назад...

Жан затих. Он дотянулся и похлопал ее по руке.

– Ничего я не думаю, сестренка, – тихо сказал он. – Думать – это опасное занятие. Легко может довести человека до сумасшествия.

Но еще долго после того, как она ушла в свою строгую девичью комнату, чтобы там окончательно справиться со своим беспокойством, Жан лежал неподвижно, уставившись в потолок.

“Итак, – с горечью думал он, – господин Граверо, опять я вижу вашу руку. И всегда с этим вашим дьявольским везеньем вы наносите удар в нужный момент – как раз после того, как мои драгоценные родственники еще раз продемонстрировали беспримерную глупость Маренов. Господи Боже, как много в жизни связано с этими четырьмя маленькими буквами, составляющими слово “если”... Если бы Тереза поздоровалась с ней по-доброму. Если бы Бертран и отец не стали демонстрировать силу и власть. Если бы пуля пролетела мимо или попала бы точно в цель...”

В соседней комнате Терезе почудилось, будто до нее доносится смех Жана. Но то, что она слышала, не было смехом.

Как ни странно, но после этого эпизода его выздоровление пошло быстрее. Аббат Грегуар утверждал, что это чудо.

– Я насмотрелся, – говорил он, – как люди умирали и от более легких ран. Бог отметил тебя своей печатью, сын мой. Предназначил тебя для больших дел...

– Бог, – насмешливо спрашивал Жан, – или сатана? Кто из них, добрый отец? Я не верю в чудеса! Говорят, дьявол заботится о своих...

И тем не менее это было чудо, которого ни аббат Грегуар, ни Жан Поль Марен не понимали. Было что-то сверхъесте-

ственное в том, что воля человека оказывалась сильнее слабости его плоти и сила поставленной человеком перед собой цели преобладала, вне зависимости от того, добрая это была цель или злая.

Цель же, которую преследовал Жан Поль, была совершенно определенной. Он просто хотел убить графа де Граверо.

Он выжидал две недели, чтобы быть уверенным в своих силах. Для полного выздоровления такого срока было явно недостаточно, но ненависть подгоняла его. Ночью он оделся и прошел к конюшне, вооружившись пистолетами, кинжалом и саблей. Он не разрабатывал никакого плана, но разнообразное оружие, которое он брал с собой, могло пригодиться в любых обстоятельствах. Кроме оружия, он взял с собой булку хлеба, флягу с вином и сыр. Он оседлал Роланда, своего гнедого жеребца, и поехал прочь от Виллы Морен.

К концу следующего дня он добрался до замка Граверо. Хотя до вечера было еще далеко, в большом зале было шумно. Кавалеры со своими дамами выходили и возвращались обратно, и графская стража только салютовала им.

Жан Поль знал, что с наступлением ночи пройти в замок будет значительно труднее. Он посмотрел на свою одежду. Даже если бы вокруг шеи у него было повязано знамя, оно не так привлекло бы внимание стражи, как его скромное одеяние. В кругах гордых и богатых торговцев, представителей третьего сословия, ничто не вызывало такого раздражения, как законы, предписывающие им одеваться только в

коричневое, черное и серое, в то время как знать наряжалась во все цвета радуги. Тонкая, аристократическая внешность Жан Поля выдержала бы испытание, но никак не его добротный костюм из черного сукна. О причёске нечего и говорить. Он носил волосы, ниспадавшие свободно до плеч. А чтобы ему удалось смешаться с толпой, они должны были быть взбиты в причёску Кадоган, с хвостиком, заплетенным бархатной ленточкой, а сзади убраны в маленький бархатный мешочек. Парик был не нужен, потому что после того, как Руссо и другие философы ввели моду на простоту, большинство молодых аристократов отказались от париков, даже пудрить волосы стало не обязательным требованием моды.

Все равно взобраться на высокую стену, усеянную острыми шипами и битым стеклом, в тишине ночи, без единого звука, оставалось большой проблемой. И, даже перебравшись через стену, как он проберется в замок?

Он сидел на коне, нахмурившись.

“Если бы я был соответственно одет, – размышлял он, – если бы я выглядел таким же щеголем, как все они, я смог бы, прогуливаясь, пройти внутрь незамеченным и спрятаться до ночи. Может, я смогу купить подержанный костюм в деревне...”

Однако он тут же отбросил эту мысль. Аристократы обычно отдают поношенную одежду своим слугам. У него хватало денег, чтобы купить костюм, но это означало ждать в лучшем случае неделю, пока портной подгонит костюм по фигуре,

если вообще он сумеет найти портного, достаточно смелого, чтобы взяться шить костюм, который Жан Поль по закону не имеет права носить. Дать взятку – это само собой разумеется, – но все равно остается вопрос времени.

Твои герои, люди действия, сказал он себе, всегда импровизировали... должен быть другой путь...

Такой путь существовал. Он понял это, как только услышал, как поет группа молодых бражников. Все они были сильно пьяны.

Значит, перевел дыхание Жан, все, что мне нужно, это выждать, пока кто-нибудь из них пройдет здесь один. Молись Богу, чтобы он оказался примерно моего роста...

Ему не пришлось долго ждать. Высокий молодой человек отделился от остальных и направился к кустам, расположенным ярдах в двадцати от того места, где сидел верхом Жан. Лицо у молодого человека было зеленое, цель его очевидна.

– Enfer!⁷ – выругался Жан. – Надеюсь, он не испачкает свой костюм!

Он тронул Роланда каблуками, и хорошо вышколенный конь тихо двинулся вперед. Когда они оказались позади молодого аристократа, тот согнулся пополам, его рвало от выпитого вина. Жан Поль выждал, пока тот выпрямился, и достаточно сильно ударил его по голове рукояткой пистолета.

Молодой человек беззвучно повалился на землю. Жан спешил, вознес благодарность своей звезде за адский шум,

⁷ Ад, проклятье! (*фр.*)

производимый остальной компанией, и раздел молодого аристократа донага, сняв с него даже нижнее белье, которое Жану было не нужно.

Полагаю, с ухмылкой подумал Жан, моя жертва немного поразмыслит, прежде чем решится появиться перед дамами в своем первородном виде...

Однако для полной уверенности он связал молодому аристократу руки и ноги тугой виноградной лозой и заткнул ему кляп из своего воротника, оставив изысканный кружевной воротник аристократа для собственного маскарада.

Через несколько минут переодевание было закончено, за исключением аристократических туфель с красными каблуками, которые оказались слишком тесными для немного плебейских ступней Жан Поля, и длинных черных волос на его голове.

Его добротные башмаки сойдут. Что же касается волос, то, без сомнения, в каждой деревне поблизости от замка найдется хороший парикмахер. Жан Поль вновь вскочил на своего жеребца и двинулся в сторону деревни, думая про себя: как человек действия ты, Жан Поль Марен, был не так уж и плох до сих пор.

Насчет парикмахера он оказался прав. Тот, едва взглянув на его богатую одежду, подобострастно засуетился.

– Господину нужно сделать прическу? Конечно! Но это будет нелегкая задача, милорд. Если вы простите мне мою смелость, могу я спросить, давно ли господин делал причес-

ку?

– Не так давно, – весело ответил Жан. – Это был обет, который я дал. И дама только вчера освободила меня от него. Давай, пошевеливайся! Бери ножницы, щипцы для завивки, пудру! Поторапливайся, хозяин замка Граверо ждет меня в замке через час...

– Ах, молодость! – вздохнул парикмахер. – Ах, любовь! Даже в моем скромном положении я понимаю такие вещи. Когда я закончу вашу прическу, господин может быть уверен, что каменное сердце его дамы растает, как снег под полуденным солнцем. Не будет ли господин так любезен сесть?

Руки мастера оказались ловкими и проворными. Не прошло и часа, как Жан Поль был пострижен, причесан, волосы уложены и перевязаны. Затем парикмахер пригласил его пересесть в другое кресло перед аппаратом, выглядевшим для постороннего глаза как позорный столб.

Он таким и оказался. Бросив взгляд на этот аппарат, Жан Поль разрешил заключить свою голову в полукруглую выемку в нижней части аппарата, верхнюю же часть парикмахер тут же спустил, и голова Жана Поля оказалась зажатой. Потом парикмахер зашел с другой стороны с пистолетом в руке.

“Черт возьми, – выругался про себя Жан, – как это я так попался?”

Потом он увидел, что пистолет не обычное оружие, и предположил, что это специальный инструмент парикмахерского искусства. Пистолет был нацелен в голову Жана. Раз-

дался выстрел, и весь мир заполнился облаком превосходной белой пудры. У Жана перехватило дыхание, он закашлялся и стал чихать.

– Тысяча извинений, мой господин, – с трудом выговорил парикмахер, – я должен был предупредить вас, чтобы вы придержали дыхание.

– Будь ты проклят, ты меня совсем задушил! – загремел Жан. – Ты должен быть осторожнее!

– Да, мой господин, простите меня, мой господин, – причитал парикмахер. – Боюсь, что при таких черных волосах, как у вас, потребуется еще несколько выстрелов...

– Тогда валяй, – скомандовал Жан. – Сегодня вечером я должен выглядеть как никогда.

На этот раз он подготовился и задержал дыхание. Когда в конце концов парикмахер поставил перед ним зеркало, Жан Поль поразился. Из зеркала на него смотрел незнакомый ему человек. Молодой принц. Преображение было потрясающим. Ему не придется извиняться за свою внешность ни перед кем, даже перед графом Граверо.

Подъезжая во второй раз к замку после того, как он щедро расплатился с парикмахером, он чувствовал себя так, словно его несло на крыльях музыки. Он не испытывал ни страха, ни волнения. Ибо он был из тех людей, которые, сами того не зная, являются прирожденными актерами. Их склонность к театральному действию настолько инстинктивна, что они перевоплощаются в лиц, чьи роли играют. Трудно представить,

чтобы более высокомерный молодой аристократ въезжал когда-либо прежде в замок Граверо, чем этот буржуа, сын марсельского купца...

Все прошло до абсурда легко. Стража у ворот вообще не обратила на него никакого внимания. Он прошел, смешавшись с толпой, взял бокал вина у кланяющегося слуги, посмеялся остроумию герцога де Граммон и даже рискнул сам пошутить...

Чтобы проверить свою маскировку, он прошел в каком-нибудь ярде от графа де Граверо и отвесил ему изысканный поклон. Жерве Ла Муат посмотрел на него, и в глазах у него на какое-то мгновение мелькнула тревога. Затем он улыбнулся и поклонился в ответ.

– Рад вас видеть, Жюльен, – сказал он. – Пробовали вино?

– Конечно, Жерве, – засмеялся Жан, – но я не прочь повторить... это преступление...

Жерве слабым жестом руки указал на берег, уставленный бутылками и стаканами, и стоящего там наготове слугу.

– Угощайтесь, – предложил он. – Кроме того, там есть и другие развлечения.

С этими словами он опустил руку на талию маленькой накрашенной девицы, сидевшей рядом с ним.

Жан Поль вышел на свежий воздух.

Жюльен! Он рассмеялся про себя. Интересно, кто этот Жюльен? Какое странное везенье! Только бы этот парень не явился сюда!

Однако Жан Полю не суждено было добраться до вина. Он ощутил странное будоражащее ощущение, которое возникает у сверхчувствительных натур, когда за ними наблюдают. Он обернулся и столкнулся лицом к лицу с девушкой лет двадцати, а может, и моложе. Он позабыл свои изысканные манеры, остановился и откровенно уставился на нее.

Она была маленького роста и удивительно хороша собой. Ее волосы, когда они не напудрены, должны быть совершенно такими же, как у графа де Граверо, подумал Жан, потому что ее брови и ресницы были светлыми. Цвет ее глаз напоминал тона Средиземного моря в солнечный день. Губы казались розовыми раковинами, влажными и чуть приоткрытыми. Она смотрела на него с откровенным удивлением.

– Вы, – твердо сказала она, – не Жюльен!

– Конечно, нет, – рассмеялся Жан Поль, – хотя меня в этом и обвиняют. Кстати, кто такой этот Жюльен?

– Жюльен Ламон, маркиз де Сен-Гравер, – сообщила девушка как нечто собой разумеющееся. – Он наш дальний родственник, но мы редко его видим. Однако мой брат выпил больше меня, иначе он мог бы распознать, что вы не Жюльен.

– Ваш... ваш брат? – прошептал Жан.

– Жерве. Вы только что с ним разговаривали. Ведь вы знакомы с Жерве?

– Очень хорошо, – засмеялся Жан. – Могу ли я спросить, как ваше имя, мадемуазель?

– Николь, – сказала она.

– Очаровательное имя, мадемуазель, – сказал Жан, наклонился и поцеловал ей руку.

– А как ваше имя, месье? – спросила Николь.

Жан стал быстро соображать, потом улыбнулся.

– Джованни Паоло Марено, – произнес он, смеясь. – Граф де Роккасекка...

– Итальянец? – серьезно спросила Николь. – Не удивительно, что вы так красивы.

Брови у Жана полезли вверх.

– Для меня большая честь слышать это от вас, мадемуазель, – отозвался он.

– Но вы на самом деле красивы. Даже красивее Жюльена. Вот почему я догадалась, что вы не он. Впрочем, вы в совершенстве говорите по-французски. Знаете, что я думаю? Что вы самозванец, что вы вообще не итальянец. Скажите мне что-нибудь.

– Что именно? – спросил Жан.

– По-итальянски, глупец! Что, по-вашему, еще я имею в виду?

– Я не понял, – засмеялся Жан и повиновался ей, моля судьбу, чтобы она не настолько хорошо знала итальянский, чтобы отличить грубый сицилийский диалект, который он узнал, сидя на коленях у отца, от красивого, журчащего тосканского наречия, на котором он вообще не говорил.

Николь закрыла глаза, слушая его.

– Замечательно! – вздохнула она, вновь открывая их, когда он кончил. – И все-таки это странно. Я хочу сказать то, что вы так хорошо говорите на обоих языках...

– Моя мать была француженкой, – объяснил Жан.

Вся прелесть лжи заключалась в том, что большая ее часть была правдой. Его отец выходец из крошечного сицилийского городка, именуемого Роккасекка, что в переводе на французский означает “сухая скала”. Имя Джованни Паоло Марено было не таким уж плохим переводом его имени Жан Поль Марен, а что касается титула, то у Роккасекки никогда не было сеньора, так что вреда он никому не причиняет.

Успех опьянил его, он еще более осмелел.

– Открою вам еще один секрет, – прошептал он. – Я не был приглашен на этот пир...

– Не были? – невозмутимо повторила она. – Но и большую часть гостей тоже не приглашали, они просто приехали...

Он откинул голову и громко, радостно расхохотался.

– И все-таки, – серьезно произнесла она, склонив голову набок и обдумывая ситуацию, – сделаю-ка я лучше так, чтобы вы не попадались на глаза Жерве. Других он знает и может обнаружить, что вы не Жюльен. Дайте подумать, куда бы я могла вас увести?

– Конечно, в спальню, мадемуазель, – беззаботно предложил Жан.

Он уже успел убедиться, в какой мере ее странное поведение вызвано излишком выпитого вина.

Это предложение она взвешивала с той же прелестной серьезностью.

– Хорошо, – согласилась она наконец, – им никогда в голову не придет искать вас там. Но я должна буду через некоторое время выйти и показаться здесь, иначе Жерве может отправиться меня разыскивать. – Она нашла его руку и слегка сжала ее. – Но я вернусь, – прошептала она, приблизив губы к его лицу. – Понимаете, вы мне нравитесь!

Жан уставился на нее, потом рассмеялся. Было что-то невероятно комичное в идее отплатить Жерве ла Муату его же монетой.

– Подождите, – прошептала Николь. – Мы не должны подниматься наверх вместе. Нас увидят. Я пойду первой, а вы выпейте пока бокал-другой. Потом пойдете наверх... нет! Так не годится. Чем дольше вы здесь останетесь, тем больше риск, что Жерве вас обнаружит... Идите первым. Моя комната на втором этаже, вторая дверь по левой стороне...

Жан еще раз поцеловал ей руку и направился вверх по лестнице. В ее спальне горел камин, и Жан неожиданно понял, как холодно за окном. Он подумал о бедном парне, которого обокрал и бросил голого и связанного в кустах.

“Я не могу оставить его так, – подумал он, – бедняга умрет... Мне не доставляет никакого удовольствия убивать человека, который никогда не причинял мне вреда, даже косвенно...”

Он торопливо оглядел спальню. Комната выглядела пре-

лестно. Все здесь было выдержано в голубом тоне и отделано золотом. Большое зеркало в роскошной раме из резного дерева, в котором он мог увидеть свое лицо в мерцающем свете камина. При этом освещении он более чем когда-либо походил на Мефистофеля. У камина стоял экран из голубого китайского шелка с вышитыми золотыми фигурками, каминная доска и карнизы богато украшены золотым орнаментом. Стулья по моде, введенной при нынешнем короле Людовике XVI, изящные и красивые, с позолотой, проглядывающей из-под голубой краски. Прекрасный хрустальный канделябр не был зажжен, однако множество хрустальных бусинок и висюлек отражали огонь в камине и освещали комнату. Даже полог над голубой с золотом кроватью, достойной самой королевы, был из голубого шелка, подушка и покрывало были такого же цвета.

Жан мог себе представить, как выглядит Николь ла Муат в этой спальне, и эта картина согрела ему сердце. Но прежде всего надо было выполнить задуманное. Он стал открывать все шкафы подряд, пока не нашел постельное белье и не выбрал среди прочего тяжелое одеяло. Потом спустился в холл. Как он и предполагал, там была задняя лестница, ведущая на цокольный этаж.

Он спустился по ней, оказался в буфетной и задержался там в поисках бутылки вина. Обнаружившийся у него воровской талант нравился ему, ему нравились все открываемые в себе таланты. Он был чрезвычайно доволен собой и, если бы

был совершенно трезв, воспринял бы это как предупреждение о надвигающейся опасности. Но он не был вполне трезв.

Он отправился туда, где оставил свою жертву. Бедняга ерзал, стараясь произвести как можно больше шума, чтобы привлечь к себе внимание. Но все ушли в замок, а он находился слишком далеко, чтобы его услышала стража. Жан склонился над ним и тронул за плечо. Молодой аристократ перевернулся, увидел прямо перед собой дуло пистолета и замер.

Жан старательно завернул его в одеяло. Потом выпрямился и посмотрел на него.

– Один только звук, – предупредил он, – и я вышибу вам мозги.

Он вытащил кляп изо рта молодого аристократа. Потом откупорил бутылку вина и влил изрядный глоток ему в глотку. Аристократ поперхнулся, и Жан отнял бутылку.

– Еще! – прохрипел молодой человек. – Я замерз!

Жан терпеливо ждал, пока молодой человек не опустошил бутылку на три четверти. В обычных обстоятельствах он сгорал бы от нетерпения скорее вернуться к прекрасной Николь, но добрая порция вина в его собственном желудке лишила его ощущения времени и сделала на удивление спокойным. Он наклонился, чтобы вернуть кляп на место, но с изумлением увидел, что его жертва уже спит.

Он не торопясь зашагал к дому. Но когда он вышел к дороге, порыв холодного ветра несколько отрезвил его, и он

странным образом вспомнил холодную распорядительность, с которой Николь готовила их первое свидание.

Он подумал, что при той практичности, которую она проявила, она, видимо, и ранее неоднократно хаживала этим путем наслаждения...

Тут он резко остановился, удивившись тому, как неприятно поразила его эта мысль.

– Жан Поль Марен, – твердо сказал он себе, – ты сентиментальный осел!

Но мысль эта все равно огорчала его. Он прошел через холл, направляясь к задней лестнице. Когда он проходил мимо большого зала, то услышал, что шум попойки стал вдвое громче.

“Прекрасно, – подумал он, – нам не помешают...”

Но когда он вновь оказался в спальне, то не нашел там Николь. Он рассчитывал, что она уже к этому времени присоединится к нему, но комната была пуста. Потом услышал – ошибиться было невозможно, – кто-то плакал. Звуки слышались со стороны большой постели.

Он подошел и отодвинул балдахин. Николь лежала лицом вниз, не обращая внимания на то, что мнет накидку из тяжелого прекрасного белого шелка с широким кринолином, украшенную сзади складками и усеянную мелким жемчугом.

– Ушел, – рыдала она, – ушел, и я никогда его не увижу, но я скорее умру! Nom de Dieu, зачем ты вообще явился сюда?

Это несправедливо... я встретила его и говорила с ним, а потом...

Она на мгновение затихла и только всхлипывала.

Жан стоял, глядя на нее, и насмешливая улыбка над самим собой искривила его рот.

Разберись хорошенько, ядовито попрекнул он себя, сколько во всем этом подлинного чувства и сколько виновных паров, разберись прежде, чем окажешься отравленным лестью...

Потом он наклонился и нежно коснулся ее обнаженного плеча.

Она перевернулась и посмотрела на него, глаза ее в отблесках огня, наполненные слезами, казались сапфировыми звездами.

– О! – яростно выкрикнула она. – И давно вы тут стоите и слушаете меня?

– Некоторое время, – пробормотал он и, вновь наклонившись, поцеловал ее, очень медленно, нежно, лаская своим ртом, так что, когда он в конце концов оторвался от ее губ, она застыла в том же положении, в каком он ее оставил, – с запрокинутой головой над выгнутой тонкой шеей, ее рот, мягкий, полуоткрытый, словно она все еще продолжала ощущать его поцелуй, тянулся к нему, а из-под прикрытых век катились по щекам крупные, как бриллианты, слезы.

– Слишком давно! – прошептала она.

Он сел рядом с ней на постель и притянул ее к себе. Она подалась без всякого протеста, и ее тонкие руки простерлись

и обвили его шею.

– Очень жаль, что ты слышал меня, Джо, Джо... О, Боже, не могу как следует выговорить твое имя!

– Называй меня Жан, – прошептал он. – Это одно и то же...

– Жан, мне нравится это имя. – Она прижалась щекой к его щеке и стала смотреть на огонь. – Скажи мне, Жан, – заговорила она, – может ли женщина полюбить мужчину, которого она увидела в первый раз и всего на несколько минут? Или я люблю тебя, или я сошла с ума, а в общем-то это одно и то же.

– Вино помогает, – пошутил он.

– Я... я тоже так подумала, – огорчилась Николь. – Поэтому, когда ты пошел наверх, я вернулась на кухню и приказала служанке приготовить мне целый кофейник черного кофе. И все выпила. Вот почему задержалась. А когда я допила кофе, твое лицо в моем сознании стало еще яснее, чем раньше, и я поняла, что виновато не вино. Я поднялась сюда и обнаружила, что ты ушел...

Она неожиданно вздрогнула, вспомнив все.

Он повернул ее к себе, увидел, как она в ожидании откинула голову, глаза ее закрылись, рот... и вдруг понял, что все идет не так. Это была не та месть, которую он задумал. Все оказалось сложнее, и убийство тоже задумано опрометчиво, потому что еще несколько минут, и он будет не способен его совершить.

Он целовал ее неистово, давя ртом ее губы, причиняя ей боль, которая таилась в нем, так, что она замерла от удивления, пытаясь отстраниться от него, но он прижимал ее яростно, чувствуя себя мошенником, испытывая безграничную ненависть к себе; она снова прильнула к нему, страстно целуя, вонзая ногти в парчу его краденого камзола; наконец он просунул руку в этот ворох шелка и кружев, скорее со злости на шутку, которую сыграла с ним судьба, чем из страсти, пока не добрался до ее тела, и стал грубо тискать ее, как какую-нибудь простую крестьянку.

Он слышал ее прерывистое дыхание, однако она не делала попыток остановить его. Она высвободила рот и принялась шептать ему на ухо:

– Жан, мой Жан, мой самый дорогой, пожалуйста, Жан, о, мой дорогой, пожалуйста, послушай меня: я не буду останавливать тебя, я не могу остановить себя я... я... Боже, помоги мне, я так хочу этого. Только послушай, дорогой... пожалуйста, Жан... Жанно, послушай меня...

Это имя остановило его, это нежное уменьшительное “Жанно” – так всегда звала его Люсьена. Он выпрямился и сел, глядя на нее, растрепанную, с голыми руками и ногами, опухшим ртом и заплаканным лицом. Она стремительно поднялась с постели и снова с плачем обняла его:

– Не отпускай меня! Никогда не отпускай меня... о, Жанно, Жанно, я сошла с ума, я больна от любви к тебе! Я не хотела, чтобы это случилось вот так... Я думала, что, когда

я наконец полюблю мужчину, это будет навсегда, что будут клятвы перед священником и на виду у людей... Я никогда не хотела грешной, постыдной любви, но, Жан, любовь моя, Жанно, сердце мое, душа моя, если это все, чем я могу быть для тебя, – тогда возьми меня!

Он оцепенело сидел, глядя на нее, ощущая в сердце торжество смерти и шевелящийся хаос.

– Ты хочешь сказать, – резко произнес он, – что никогда не знала мужчины?

Ее глаза застыли, но, когда она заговорила, голос ее звучал нежно.

– Конечно, нет, Жан, – сказала она и потом продолжила: – А ты именно так обо мне подумал?

– Да, – передразнил он ее, – именно так я и подумал...

– О, – прошептала она, и на глаза у нее вдруг навернулись слезы, – я... я заслужила это, наверное. По тому, как я вела себя там, внизу. Я старалась выглядеть смелой. Сейчас модно казаться смелой...

Она не лгала, и он знал это. Он внезапно поднялся и какое-то мгновение стоял, вглядываясь в нее.

“Все пропало, кончилось, – с горечью подумал он, – все, что я хотел совершить. Я не могу сделать ее орудием мести, не могу, воспользовавшись ее чувством, нанести удар Жерве ла Муату, а затем бросить ее раздавленной. И теперь, о, Боже, в твоей несказанной милости, пожалей меня, я не могу убить его, рожденного тем же чревом, что и она!”

– Прощай, – произнес он наконец.

– Прощай? – как эхо, переспросила она. – Даже не до свидания?

– Нет, маленькая Николь, – прошептал он. – Не до свидания, именно прощай. Ибо это невозможно...

Она спрыгнула с постели и схватила его за плечи, прижалась к нему, целуя его рот, шею, глаза и шепча:

– Почему? О, Жан, почему? Скажи мне... скажи мне... скажи, Бога ради, Жанно, почему?

– Я солгал тебе, – сказал он, и голос его был ровным, сдержанным, почти спокойным. – Я не итальянец и не аристократ. Я буржуа и враг твоего брата, нет, не то, не брата, более того, враг всего вашего класса, и я работаю не покладая рук ради его уничтожения. Сама видишь, любимая Николь, дорогая Николь, ты должна забыть меня, – ведь ни церковь, ни государство и, уж конечно, ни твой брат не утвердят брак между нами...

– Забыть тебя? – задохнулась она. – Никогда! Возьми меня с собой. Мы можем куда-нибудь уехать далеко, где никто никогда не слышал о Граверо и...

Он медленно покачал головой.

– Мир не так велик, – прошептал он.

Она отодвинулась, и он увидел два огромных сапфира – глаза казались необыкновенно большими на ее бледном лице. Руки взметнулись, бриллианты на пальцах сверкнули, а пальцы судорожно впились в его одежду.

– Нет, – выдавила она, хриплый голос ее дрожал, – я не могу, не отпущу тебя! Если даже нам придется скрываться днем и скитаться по ночам, питаться коркой хлеба и носить лохмотья, я еду с тобой, Жанно! Ты не можешь отказать мне!

– Маленькая глупышка! – пробормотал Жан. – Любимая, маленькая, романтическая глупышка!

Он наклонился и нашел ее губы, они прильнули друг к другу, забыв обо всем на свете в этом поцелуе, так что не слышали, пока не оказалось уже слишком поздно, грохота распахнутой двери.

Там стоял Жерве ла Муат со шпагой в руке, рядом с ним виднелась закутанная в одеяло фигура, а позади толпа молодых аристократов с обнаженными шпагами.

– Это он, – закричал пострадавший от рук Жан Поля, – это же, о, Боже!

Жерве вытолкал его за дверь, вышел сам и закрыл дверь за собой. Им слышен был его голос, дрожащий и слабый, произнесший:

– Господа, не могу отрицать того, что вы видели собственными глазами, но я убью на дуэли любого из вас, кто посмеет вспомнить то, что он здесь видел!

Наступило молчание, потом другой голос манерно произнес:

– К дьяволу, ваши театральные штучки, Жерве. Никто из нас не проронит ни слова, и вовсе не из боязни вашей шпаги. Я, к примеру, во все дни недели держу в руках это смерто-

носное лезвие чаще вас. Сейчас речь не об этом, ибо на карту поставлена честь всего нашего сословия. А теперь отойдите и позвольте нам разделаться с этим молодцом...

– Нет, – возразил Жерве спокойно, – это мое дело, и только мое. Я не допущу никакого вмешательства...

В спальне Николь очнулась первой.

– Беги! – шепнула она, голос ее стал хриплым от страха. – Беги через окно... ты можешь спуститься... там вьющееся дерево... и... Бога ради, Жанно, беги!

– Нет, – засмеялся Жан, – я, Николь, от него не побегу. На этот раз мы с господином Граверо должны раз и навсегда решить наш спор.

Дверь тихо отворилась, вошел Жерве и прикрыл ее за собой.

– Ну, Марен, – прошипел он, – вы все-таки вынуждаете меня убить вас?

– Марен? – вырвалось у Николь. – Ее брат?

– А ты даже не знаешь его имени, ты, грязная маленькая потаскушка? – прорычал Жерве. – С тобой я разберусь позже, и этот день ты не забудешь до конца жизни.

– Господин граф мог бы тщательнее взвешивать свои слова, – насмешливо произнес Жан. – Приношу свои извинения в этой связи, господин граф, но я должен убить вас сейчас же, мне нечего добавить...

Он спокойно вынул из кармана пистолет и прицелился в сердце графа де Граверо.

– Жан! – всхлипнула Николь. – Умоляю, Жан, не стреляй! Он... он мой брат, ты не должен... ты не можешь...

Очень медленно Жан опустил оружие.

– Выходит, господин граф, – насмешливо произнес он, – мы опять лишены удовольствия убить друг друга. Я говорю вам до свидания и умоляю не ходить за мной следом, иначе мне придется дать вам урок, после чего вы легко можете остаться калекой, по меньшей мере...

С этими словами он решительно повернулся и, сохраняя полное спокойствие, шагнул к окну. Он перекинул одну ногу через подоконник и замер, глядя на Николь.

– Прощай, голубка, – проговорил он, – так-то лучше...

– Нет! – закричала Николь и метнулась к окну.

Она схватила его обеими руками, обнимая, охваченная ужасом и горем, целовала его лицо, глаза... Она была между ним и Жерве, и ее тяжелое шелковое платье с кринолином почти совсем заслонило фигуру Жана, но по лицу Жерве Жан мог догадаться, как выглядела она в этот момент в глазах брата.

У Жерве были почти безумные глаза. Он протянул руку, грубо оторвал Николь от Жана, повернул лицом к себе.

– Николь! – раздраженно проскрипел он. – Бога ради, я...

– Видишь, брат, что происходит? – спокойно прервала его Николь. – Я с великой радостью отдам за него жизнь. Теперь ты должен отпустить его. Потому что если ты убьешь его, что бы ты после этого ни сделал со мной – отошлешь меня в мо-

настырь или получишь *lettre de cachef*⁸ от короля и заточишь меня в тюрьму или запрешь здесь, – я умру через час после того, как узнаю о его смерти...

Они все трое слышали за дверью голоса молодых аристократов, выражавших свое неудовольствие задержкой.

Жерве посмотрел на Жана. Он дрожал.

– Ты, подлый бастард, уходи! – прорычал он. – Будь ты проклят, ублюдок, убирайся!

Вылезая из окна, Жан Поль Марен поразился своим издевательским хохотом. Он поторопился смеяться. Потому что когда он выпутался из ветвей вьющегося дерева и прыгнул с высоты десяти футов, то попал в руки поджидавшей его своры конюхов, пажей, лакеев во главе с тем самым кучером, чье лицо он рассек рукояткой пистолета...

⁸ Королевский указ о заточении без суда и следствия (*фр.*)

Как долго это продолжалось, Жан Поль не знал. Он висел в кандалах, в которые были закованы кисти рук и щиколотки ног. Если бы не кандалы, он повалился бы вниз лицом. Глаза его были закрыты, но он оставался в сознании. Струйки грязной воды, которой плеснули ему в лицо, чтобы привести в чувство, стекали с изорванной одежды. Он наконец понял, что не надо после ушатов холодной воды показывать, что к тебе вернулось сознание. Ибо каждый раз, когда он открывал глаза, они опять принимались избивать его.

Лохмотья, в которые они превратили его одежду, прилипли к телу. Но несмотря на то, что он был избит до полусмерти, мысли его не утратили привычной иронии.

Это ведь одежду Жюльена они терзают, подумал он, усмехаясь, моя-то как новая... Мне этот костюм никогда уже не понадобится...

– Да он притворяется, – прорычал главный кучер. – Дайте-ка я поговорю с ним! Сейчас я приведу его в чувство...

Жан услышал приближающиеся шаги. И другой звук – звяканье, похожее на звяканье цепи.

– Наградил меня шрамом? – орал кучер. – Изуродовал мне лицо так, что молодые женщины содрогаются, когда видят меня! Посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда я отделаю тебя, господин Буржуазный Принц!

Он размахнулся цепями и со всей силой хлестнул ими Жана по лицу. Удар пришелся по лбу между глазами, сломал нос и распорол лицо от лба до верхней губы длинным диагональным ударом.

– О! – задохнулся Жан и захрипел. – О, Боже!

– Он теперь не такой красавчик, а, парни? – ухмыльнулся кучер. – Посмотрим, не смогу ли я подправить его личико.

Он снова размахнулся окровавленными цепями. Но прежде чем он успел обрушить их еще раз, его остановил чей-то голос. Чистый, высокий голос, звучавший так спокойно, что только тончайшая грань отделяла его от прячущейся под этим нарочитым спокойствием истерики.

– Остановитесь! – произнесла Николь. – Если ты, Августин, еще раз ударишь его, я прикажу бить тебя кнутом, пока у тебя на спине не останется ни одного дюйма мяса...

– Госпожа, – заворчал кучер, – с какой стати...

– Не твое дело, Августин. Я пришла сюда с разрешения брата. Развяжите его!

– Но... но... госпожа!

– Ты слышал? У меня с собой записка от вашего хозяина, поскольку я была уверена, что ты мне неверишь. Месье Марена не следует пытаться. Совершенно не следует, а в дальнейшем... В обмен на это я обещала брату не оказывать ему помощь в организации побега, хотя теперь это вообще вряд ли возможно, когда я вижу, что с ним сделали...

Августин взял записку и посмотрел на нее. Читать он не

умел, но испытывал свойственное крестьянам уважение к написанным словам.

– Рука моего хозяина, – пробормотал он. – Ничего не понимаю. Но у нас нет другого выхода... дай мне ключи, Жюль...

Жан скорее почувствовал, чем услышал, как повернулся ключ в замках кандалов. Когда цепи перестали его поддерживать, он повалился вперед, но двое лакеев подхватили его и осторожно опустили на пол.

– Отнесите его наверх, – скомандовала Николь, – и уложите в маленькой комнате. После этого отдайте ключ моему брату, как я ему обещала...

Они подняли Жан Поля и отнесли в маленькую комнату в другой части подвала, которая была приспособлена отцом Жерве для одной-единственной цели – запирасть в ней членов собственной семьи в наказание за дурное поведение. Так что комната эта, несмотря на простую обстановку, была вполне комфортабельна. Там имелась хорошая постель, умывальник и даже кресло. В молодости Жерве ла Муат частенько сиживал в этой комнате, размышляя о своих грехах...

Они положили Жан Поля на постель и стояли, переминаясь с ноги на ногу, поглядывая на Николь.

– А теперь принесите воды, горячей, и полотенно для перевязок. Жюль, ты отправляйся и скажи кухарке, чтобы сварила мясной бульон. И принеси бутылку вина, самого лучшего.

А теперь убирайтесь отсюда, вы, злодеи!

Когда они ушли, Жан открыл глаза и даже попытался улыбнуться, хотя при его рассеченном лице это причиняло дьявольскую боль.

– Как тебе, – прошептал он, – удалось все это?

– Помолчи! – ответила она. – Пожалуйста, не пытайся разговаривать. О, Жанно, Жанно, мой дорогой, что они с тобой сделали?

– Сделали достаточно, – усмехнулся Жан, но это усилие привело к тому, что он ощутил в разбитом рту привкус горячей и соленой крови.

Она упала на него, вся дрожа, не обращая внимания на кровь, пот и пятна грязной воды, которыми он был покрыт.

– Ты испортишь платье, – прохрипел он.

– Мое платье! – выдохнула она. – Ты лежишь здесь с совершенно разбитым лицом и говоришь о моем платье! О, Жан, мой Жан, ты был так красив, а теперь... теперь...

Она не могла договорить. Слезы душили ее.

– У меня неприглядный вид, да? – пробормотал он и поднял руку, чтобы погладить ее сияющие волосы, которые были сейчас в своем естественном виде, без пудры. – Это к лучшему, теперь ты освободишься от этого глупого каприза, будто любишь меня...

Николь села на постели и долго всматривалась в него, прежде чем заговорила.

– Да, Жанно, – прошептала она. – Настанет день, когда

я перестану любить тебя. Это будет тот день, когда я лягу рядом с тобой в могилу. Впрочем, даже и не тогда, потому что, если есть правда в учении церкви, я буду любить тебя вечно.

Жан поймал ее маленькую руку своей и крепко сжал.

– Не говори так, – простонал он. – Ты сама не знаешь, что говоришь!

– Все я знаю. Шрам на твоём лице будет для меня символом чести, ведь ты получил эту рану ради меня. Ты всегда будешь прекрасен в моих глазах гордой мужской красотой, как один из Господних ангелов, спустившихся на землю. Я даже думаю, что этому зверю кучеру не удалось добиться своего, ибо никакой шрам не может осквернить ту красоту, что внутри тебя, в твоей душе...

– Не говори больше о красоте, – Жан чуть не плакал, – ты сидишь рядом, ослепляя меня, лишаешь меня рассудка своим присутствием, а у меня нет сил обнять тебя!

– О, Жанно, я... – начала она, но в эту минуту появился слуга с водой и бельем.

Кивком головы Николь отпустила его. Следующий час она была очень занята. Она смачивала водой и отделяла куски одежды от его израненного тела, но, несмотря на эту предосторожность, они кое-где прилипли так, что, когда она их отдирала, проступала кровь.

Однако она непреклонно продолжала свое занятие, ее лицо было бледнее смерти, а Жан терял сознание от боли. По-

том он наконец ощутил прохладу, и это вернуло его к жизни. Он посмотрел на свое тело и обнаружил, что лежит совершенно голый. Он тщетно попытался с помощью рук и ног прикрыться. А она только нежно улыбнулась и продолжала купать его.

– Не смущайся, мой Жан, – нежно сказала она, – теперь ты мой, и твоё тело тоже часть меня. Кроме того, оно прекрасно... или было прекрасным, и будет ещё, когда я тебя вылечу...

Через некоторое время, перебинтованный и смазанный целительной мазью, он лежал спокойно и во второй раз на протяжении нескольких последних недель позволил ухаживать за собой, как за ребенком. Потом он уснул, чувствуя, как обнимают его за шею её руки, а голова покоится у неё на груди.

Когда он проснулся, она все ещё была рядом. Её лечение принесло свои плоды, и он чувствовал себя лучше, хотя и был очень слаб.

– Как же тебе удалось все это сделать? – спросил он. – Если бы твой брат пришел сюда...

– Он не придет, – улыбнулась она, – сейчас он подъезжает к вашему дому, чтобы нанести визит твоей сестре...

– О, Боже! – вырвалось у Жана.

– Не поминай его имя, мой Жанно, – я всегда буду называть тебя так, вижу, тебе нравится это имя. Я... я должна была кое-что предпринять. Я не могла допустить, чтобы ты

умер от пыток... Сегодня утром явилась новая толпа кредиторов. Я сказала Жерве, что если он убьет тебя, то в ближайшее время вряд ли может надеяться поправить свои дела, даже женившись на твоей сестре Терезе. К тому же я дала ему понять, что в его власти ускорить события, если он поедет к ней и предложит акт милосердия в отношении тебя в обмен на немедленную женитьбу...

– Снисхождение! – простонал Жан. – Такой ценой!

– Она любит его, Жан, – как я люблю тебя. Я... я видела ее письма. Плакала над ними. Мой брат не заслуживает такой любви. Так что ты подвергнешься заключению на непродолжительное время – наверное, на год или на два, – только затем, чтобы Жерве не вступал в конфликт с законом, с которым он не может не считаться, принимая во внимание количество свидетелей твоего безрассудства... Он надеется, что к тому времени, когда ты выйдешь на свободу, ему удастся благополучно выдать меня замуж, но он меня недостаточно хорошо знает, Жанно. Я буду ждать, пока не кончится срок твоего заключения, а если потребуется, еще дольше... А потом мы с тобой уедем в Америку, в колонии Его Величества и будем там жить около той большой реки с непроизносимым названием...

– Миссисипи, – прошептал Жан. – Какая же ты фантазерка, любимая...

– Расскажи мне про Терезу, – попросила Николь. – Какая она?

– Она, – Жан подыскивал слова, – похожа на маленькую птичку. Она очень маленькая, даже меньше ростом, чем ты, и брюнетка, как и я. Мне она кажется очень красивой, но, возможно, я пристрастен к ней...

– Нет, – объявила Николь, – ты всегда говоришь то, что есть, мой Жанно. Я уверена, что полюблю ее. Ведь это она причина вашей ссоры с Жерве или нет?

– Да, – ответил Жан, радуясь, что это только наполовину ложь.

– А в чем дело, Жан? Мой брат из знатного рода и очень красив. Вдобавок она его любит. Почему же ты так настроен против этого брака?

– Потому что он аристократ, – сказал Жан, – а я ненавижу всех аристократов – кроме тебя, Николь, – которые разорили страну и поставили ее на край гибели. И потом, ты это хорошо знаешь, в своих поступках твой брат человек необузданный и весьма неразумный. А хуже всего то, что ему нужна моя сестра только из-за ее приданого, потому что он никогда ее не любил...

– А я тебя люблю. Наверное, и ты меня немного любишь – надеюсь на это, и тем не менее мы не можем пожениться из-за глупости сословных предрассудков. О, Жанно, мне совершенно все равно, что ты делаешь! Разрушь этот мир, каким мы его знаем, если хочешь, лишь бы я могла принадлежать тебе!

– Это очень несправедливый мир, – серьезно сказал Жан.

– Я это знаю, – отозвалась Николь, – но не уверена, что в сердце человека есть место справедливости. А теперь усни, мой Жанно, тебе так нужен отдых...

И Жан Поль Марен закрыл глаза и проспал у нее на руках всю ночь, как невинное дитя.

После этого она приходила его проведать каждый день. А когда однажды не пришла, Жан Поль понял, что вернулся Жсрве. Теперь Жан мог уже ходить, все его раны зажили, кроме самой тяжелой – на лице. Он просил Николь принести ему зеркало, но она отказывалась.

Однако он получил некоторое представление о своем облике, когда на следующее утро после своего возвращения Жерве ла Муат вошел в его комнату.

Жан Поль увидел, как побледнел Жерве. Затем с губ графа сорвался легкий, почти неслышимый свист.

– Ладно, Марен, – сказал он наконец, – думаю, теперь мы в расчете. В следующее воскресенье мы с твоей сестрой обвенчаемся. А ты с таким лицом больше не будешь соблазнять высокородных девиц – могу держать пари, – да и простолюдинок тоже. Мне жаль тебя: ты был довольно красив...

– Что со мной будет? – обратился к нему Жан.

– Завтра тебя передадут королевскому судье по обвинению в проникновении в частное владение и в нанесении телесных повреждений. Ни одно из этих преступлений не влечет за собой смертную казнь, которая полагается тебе за нападение на Гастона де Шалье. Обычный приговор в таких

случаях – от пяти до десяти лет на галерах. Постараюсь вытащить тебя оттуда как можно скорее, как обещал твоей сестре и своей. *Nom de Dieu*, как это тебе удалось околдовать ее! Хотя, конечно, в привлекательности тебе не откажешь. Хочу поздравить тебя с изящно проведенным маскарадом. Я даже подумал, что у кузена Жюльена улучшились манеры...

Улыбка исказила разбитое лицо Жана.

– Благодарю вас, месье, – сказал он.

– Ага, – откликнулся Жерве, – так-то лучше. Полагаю, ты начинаешь понимать всю глупость своих поступков. Когда отбудешь наказание, приходи ко мне, я попрошу Его Величество дать тебе должность, соответствующую твоим бесспорным талантам, – разумеется, в колониях. Таких подстрекателей, как ты, лучше держать подальше от Франции.

Жан вновь улыбнулся.

– Вы мне льстите, месье, – сказал он.

Выходя из комнаты, граф де Граверо, хоть убей, не мог решить, то ли Жан Поль одумался, то ли он сам; граф, оказался мишенью тончайшей насмешки. Но эту мысль он отбросил, как отбрасывал все беспокойные мысли. Такова была привычка его сословия. Привычка, которая приведет в один прекрасный день к роковым последствиям...

Перед началом суда над Жаном граф на полчаса заперся с королевским судьей. То, что он сообщил судье, дало свой результат – Жан Поль избежал предварительного расследова-

ния, которое включало испытание железом или огнем, прободение языка или щеки, битье кнутом до крови и некоторые другие “приятные” процедуры, все еще предусматриваемые уголовным законом Франции в 1784 году и обычно применявшиеся в подобных случаях.

Хорошо зная законы, Жан Поль понимал, сколь многим обязан графу де Граверо. Он пытался убедить себя, что предпочел бы вынести любые пытки, лишь бы не оказаться в долгу у Жерве ле Муата за счет и Терезы, и Николь. Но его краткий опыт, когда он подвергся пытке в руках специалистов, открыл ему границы того, что он может вынести, и он был искренне рад, что избежал страданий.

Спустя полчаса он был приговорен к пяти годам на галерах. Не будь Жан Поль юристом, он впал бы в полное отчаяние, ибо мало кому удавалось выжить и год, сидя за веслами на галере под бичами надсмотрщиков. Но Жан знал, что хотя этот закон и оставался на бумаге, но галеры уже не существовали, худшее, что могло его ожидать – каторга для преступников, хотя и была столь же близка к аду, особенно в той ее части, которая зависела от надсмотрщиков, но все же была в тысячу раз лучше галер, которые она заменила. На каторге люди довольно часто отбывали свой срок и оставались живы, на галерах – никогда.

Жан Поля под стражей доставили в лагерь для арестантов в нескольких лье от деревни и швырнули за изгородь.

Месье Жерад, комендант лагеря, глянул на него и просто-

нал:

– О, Боже, неужели еще один!

– Боюсь, что да, господин комендант, – насмешливо отозвался Жан.

Месье Жерад уставился на него.

– И говорит по-французски, – удивился он, – а не бормочет, как все крестьяне! Как твое имя?

– Жан Поль Марен, – отвечал Жан, – бывший адвокат в Сен-Жюле и Ближних Альпах, инспектор складов фирмы “Марен и сыновья”, а теперь – обычный преступник.

Жерад довольно долго и внимательно разглядывал его. Потом запрокинул голову и расхохотался.

– Будь я проклят! – произнес он сквозь смех. – Ты мне нравишься! А что случилось с твоим лицом?

– Комплимент от слуг ето благородия Жерве ла Муата, графа де Граверо, – ответил Жан.

– Вот подонок! – сплюнул комендант и обратился к стражам, доставившим Жана. – В чем обвиняют этого человека?

– Проникновение в частное владение и нанесение телесных повреждений, – хором ответили они.

Жерад записал что-то в журнале, лежавшем перед ним.

– Ладно, – проворчал он, – отправляйтесь. Теперь он под моим началом...

Он оглянулся вокруг, пока не заметил какого-то грязного оборванца.

– Эй, ты! – заорал он. – Принеси полено! Оборванец при-

нес полено и поставил его

перед комендантом.

– Садитесь, месье адвокат, – сказал Жерад.

Жан сел, с откровенным любопытством разглядывая это странного чиновника. Ренуар Жерад был высоким, худым мужчиной с тонким добрым лицом. Жан подумал, что на всем белом свете нет другого человека, который бы так не подходил для этой должности.

– А теперь, мой мальчик, – весело сказал он, – расскажи мне, что произошло на самом деле. Твоя фамилия Марен. Ты упомянул, что имеешь отношение к фирме “Марен и сыновья”, это означает, что ты один из сыновей. Будучи Мареном, ты можешь купить этого подонка Граверо десять раз и еще потребовать сдачу. Совершенно ясно, что ты проник в замок Граверо не для того, чтобы что-либо украсть. Так какого дьявола ты там делал?

“Меня уже приговорили, – подумал Жан. – И будь я проклят, если передо мной не порядочный человек!”

– Я отправился туда, – рассмеялся он, – чтобы ввести фут холодной стали или унцию свинца в кишки господина графа.

– Очень жаль, что тебе это не удалось, – спокойно заметил Жерад. – Однако все это не добавляет ясности. Ты отправился туда, чтобы убить ла Муата, а препроводили тебя ко мне с детскими обвинениями. Во имя неба, Марен, почему?

– Жерве ла Муат полный банкрот, – объяснил Жан. – Чтобы выпутаться, он обручился с моей сестрой. Ясно, что, об-

реки он меня на смерть, бракосочетание не состоялось бы...

– Понятно, – вздохнул Жерад. – Бедная девочка! Я бы сказал, это вполне достаточная причина, чтобы убить его... А других причин не было?

Лицо Жана стало суровым.

– Он... он обольстил девушку, на которой я хотел жениться, – прошептал он.

– И мою единственную дочь тоже, – с горечью сказал комендант. – Она... убила себя, моя бедная Мари...

– Примите мои соболезнования, господин комендант, – сказал Жан.

– И мои тебе, – ответил Жерад и протянул ему руку.

Жан крепко пожал ее. И оба поняли, что между ними возникла дружба на всю жизнь.

Жан оглядел каторжный лагерь. Он был полон мужчин, женщин и детей, все были грязные, оборванные, изголодавшиеся. Удивляло большое количество беременных женщин.

– К тому времени, когда мы доберемся до Тулона, – сказал комендант, заметив его взгляд, – они все станут преступниками. Это такая система – сажать всех без разбора... Если человек не был преступником, когда попал к нам, к тому времени, когда наступает срок его освобождения, он обязательно им становится.

– Но почему они здесь? – спросил Жан. – Ведь, наверное, не все эти женщины и дети...

– Преступники? Почти наверняка нет. Ты знаешь закон

1764 года?

– Три года, на галерах за попрошайничество, – медленно произнес Жан, – если ты способен работать, и девять лет, если ты вторично попался. На третий раз – пожизненное заключение. О, Боже, да ведь мы живем в варварской стране!

– А они вынуждены попрошайничать, – горестно сказал комендант. – Или попрошайничать, или умирать с голоду. Земле позволяют годами оставаться непаханой, потому что она не может родить достаточно, чтобы хватило оплатить налоги, необходимые на содержание людей, вроде ла Муата в Версале, в праздной и расточительной роскоши. А стоит только крестьянину выглядеть хоть немного преуспевающим или просто быть полным от природы, как они удваивают налоги. А потом бросают его в тюрьму за то, что он выпрашивает корку хлеба, чтобы накормить своих умирающих от голода детей...

– Я все это знаю, – прошептал Жан Поль.

– Делаю, что могу, – продолжал комендант, – но они мне дают недостаточно, чтобы прокормить хотя бы треть арестантов, которых сюда присылают. Но самое жестокое – человеку даже не обязательно просить милостыню. Достаточно, чтобы его просто в этом обвинили – враг или кто-то еще, кому выгодно, чтобы его осудили...

– Но кто может извлекать выгоду из того, что этих несчастных отправят на каторгу? – спросил Жан.

Жерад показал пальцем:

– Видите этих женщин? Большинство из них были уже беременны, когда попали сюда. Их соблазнитель – в основном аристократы, поскольку эти женщины из прислуги – обвиняют их в бродяжничестве и таким образом предотвращают возможные претензии со стороны. Дети? Их обычно обвиняют мачехи, чтобы расчистить путь своему потомству. Обвиняют братья, дети, жены из-за того, чтобы получить какое-то ничтожное наследство... А я должен пытаться накормить их на пять су в день. Во имя Господа Бога, одного этого достаточно, чтобы свести человека с ума!

– А вы не можете освободить их? – спросил Жан. – Насколько я помню, у вас есть такое право...

– Ты же юрист, – проворчал Жерад. – Подумай-ка. Вспомни длинный список условий, при которых они могут быть освобождены.

– Платежеспособный, – начал Жан, – хмурясь от напряжения и усилий перевести туманный язык правовой терминологии в простые слова, – обязан гарантировать попрошайке предоставить ему работу или обещать материально поддерживать его. Вы это имеете в виду, месье Жерад?

– Вот именно, – сердито сказал Ренуар Жерад. – Знаешь, сколько людей было арестовано в первый год действия этого закона? Пятьдесят тысяч. Будь я проклят, Марен, найдешь ты во Франции пятьдесят тысяч платежеспособных личностей? А потом попробуй убедить их гарантировать соответствующее количество попрошаек!

Он насмешливо посмотрел на Жана.

– А теперь, – сказал он, – я должен найти солому, на которой ты будешь спать, и какие-нибудь лохмотья, чтобы тебе не замерзнуть. Но все это только на одну ночь. Завтра мы двинемся к Тулону...

Жан поднялся, но остался стоять в ожидании. Что-то в голосе Ренуара Жерада подсказывало ему, что не следует спешить.

– Мы движемся от одной каторжной тюрьмы до другой, – продолжал комендант. – В каждой мы будем забирать новых арестантов. Но при их непреодолимом стремлении экономить на всем, кроме своих прихотей, они не усиливают стражу...

Глаза Жан Поля пытливо вглядывались в лицо коменданта. Но Жерад продолжал говорить так же вкрадчиво.

– Если бы мы шли по побережью, дело бы обстояло не так плохо. Но мы должны подняться в горы к Авиньону и потом спускаться через Арль и Экс, забирая на каждой остановке новых каторжников. К тому времени, когда мы выйдем из Экса, у меня будет больше арестантов, чем я могу сторожить, даже если бы у меня было вдвое больше охраны... и в этих горах...

Жан отвесил ему церемонный поклон.

– Могу ли я сказать, месье комендант, – засмеялся он, – что вы выдающийся начальник?

– А ты, – сухо улыбнулся Ренуар Жерад, – хороший юрист.

Позор держать такие мозги, как у тебя, под стражей... А теперь марш отсюда, а иначе ты пропустишь ужин.

Жан Поль все равно не стал ужинать. Ужин состоял из воды, черствого хлеба и двух унций соленого сала. Однако, когда он утром узнал, что их рацион всегда одинаков, он решил, что будет съедать его, чего бы это ему ни стоило, потому что в море ему понадобятся все силы.

Они миновали Марсель и горными проходами двинулись к Авиньону. Арестантов гнали как стадо овец. В первый же день перехода одна женщина умерла от выкидыша. Жерад из жалости разрешил идти медленнее, они уже еле ползли, и все равно женщины и дети ужасно страдали. Когда они в первый раз остановились лагерем на ночевку и все дрожали от холода, пытаясь согреться около костров, Жан Поль подошел к коменданту с вопросом:

– Если я напишу письмо, это не будет слишком большим нарушением? Не знаю, что говорят по этому поводу в правилах...

– Насколько мне известно, ограничений нет, – ответил Жерад. – Люди, которые писали этот закон, не верили, по моему, что когда-нибудь найдется преступник, умеющий читать или писать. Так что пиши, мой образованный разбойник. Бумагу, перья и чернила найдешь в моем портфеле около того дерева...

Жан Поль уселся около костра и принялся писать. Вокруг него столпилась небольшая толпа арестантов, которые мол-

ча, с открытыми рта́ми следи́ли за мелька́вшим в его́ руке́ перо́м. Жан Поль́ продо́лжал невозму́тимо писа́ть, будучи́ тве́рдо убе́жден, что ни о́дин из них не мо́жет разо́брать ни сло́ва.

– Я отпра́влю тво́е писа́ймо с дилижа́нсом из пер́вого же большо́го горо́да, кото́рый мы бу́дем прохо́дить, – сказа́л ему́ Жера́д.

Зате́м, взгля́нув на а́дрес, коменда́нт уста́вился на Жан По́ля.

– “Мадемуа́зель Нико́ль ла Муа́т, гра́фине де Гра́веро, замо́к Гра́веро”, – прочита́л он шепото́м. – О, Бо́же, па́рень, ты соше́л с ума́!

– Да, – засме́ялся Жан, – совер́шенно ве́рно. Но, наде́юсь, вы все́ равно́ его́ отпра́вите...

После́ это́го э́пизода́ Жан Поль́ Марен ста́л самы́м попу́лярным чело́веком сре́ди каторжни́ков. К нему́ то и де́ло подо́ходили лю́ди, кото́рых ото́рвали от их лю́бимых, и проси́ли написа́ть им писа́йма. До́брый коменда́нт разре́шил ему́ вы́полнять их прось́бы, он да́же предо́ставил в распо́ряжение́ Жана́ сво́й скла́дной сто́лик. Жан писа́л писа́йма и для стра́жников, кото́рые то́же бы́ли выхо́дцами из наро́да и таки́ми же негра́мотными.

Если́ ра́ньше он счита́л, что зна́ет мно́гое о бе́дах францу́зского кре́стьянства, то те́перь он оку́нулся в самы́е стра́шные глубли́ны. Писа́йма, кото́рые он писа́л еже́но́чно, мо́гли вызва́ть слезы́ да́же у мраморо́ной стату́и. Ра́ньше Жан Поль́ сомне́вался, спра́ведливо́ ли его́ предполо́жение, бу́дто са́мая

богатая в Европе страна в результате плохого правления нищает, но теперь же, после того как он неделю был тайным писцом арестантов, у него не осталось и тени сомнений, более того – его былые раздумья превратились в убеждения...

Горничная расчесывала длинные белокурые волосы Николь ла Муат, когда лакей принес письмо от Жан Поля. Николь равнодушно бросила его нераспечатанным на свой туалетный столик. Ее глаза были красными и опухшими от слез, и меньше всего на свете она собиралась читать письма.

“Где он сейчас? – думала она. – Он, наверное, голоден, и ему холодно... и его несчастное лицо...” При мысли о разбитом лице Жан Поля она не могла удержаться от слез. Она уклонилась от щетки для волос, которой расчесывала ее Мари, и закрыла лицо руками.

– Ну же, ну, моя маленькая, – приговаривала Мари, – выбросьте его из головы. Лучше будет, если он исчезнет из вашей жизни... В конце концов, он человек не вашего круга, и...

– Замолчи! – закричала Николь. – Если Жанно не из моего круга, зачем мне этот круг! Какая мне разница, кто его мать и отец! Он был таким нежным, таким прекрасным... пока они не изуродовали его лицо! О, Мари, неужели ты не понимаешь?

– Понимаю, – ответила Мари, – только...

Николь резким движением заставила ее замолчать. Она взяла в руки письмо главным образом для того, чтобы сте-

реть с него следы слез. Но когда оно уже было у нее в руках, что-то привлекло ее внимание. Спустя мгновение она уже осознала, что именно. Почерк был совершенно незнаком ей. Она получала много писем, обычно это были письма от молодых аристократов или родственников, так что она с первого взгляда могла сказать, от кого письмо. А этот почерк она никогда раньше не видела.

Дрожащими руками она вскрыла конверт, ибо инстинктивно поняла уже задолго до того, как начала читать, от кого это письмо.

Мари стояла сзади у нее за спиной и через ее плечо тоже читала. Мари очень гордилась тем, что молодая госпожа научила ее читать, и старалась не упустить возможности попрактиковаться, поскольку ее знания, столь редкие среди прислуги, придавали ей вес, которого так добивался каждый из прислуги.

Она почти успела дочитать до конца, когда Николь прижала письмо к груди, чтобы скрыть то, что там написано. Мари посмотрела в глаза своей молодой госпоже, отражавшиеся в зеркале. Она увидела две сияющие голубые звезды, расширившиеся от радости. Это были два близнеца-сапфира – несравненно более яркие, чем бриллианты.

Николь вскочила с кресла и запрыгала по комнате. Она сжала Мари в порывистом объятии.

– О, Мари! – закричала она. – Он жив И здоров! Кроме того, я собираюсь... не могу тебе всего сказать. Беги вниз и

скажи Августину, чтобы он седлал мою кобылу. И Бопренса тоже, пусть возьмут лучшее седло моего брата! Потом возвращайся и поможешь мне надеть костюм для верховой езды. Я уезжаю на неделю, а может и больше...

– Куда? – сурово спросила Мари.

– Это не твое дело! Иди, поторапливайся...

– Но когда вернется господин, ваш брат...

– Когда он вернется после своего медового месяца? Не волнуйся. К тому времени я либо благополучно вернусь, либо окажусь так далеко, что ему никогда меня не найти. А теперь хватит болтать, делай то, что я сказала!

Когда спустя полчаса Николь де Муат спустилась вниз, села на свою кобылу Вите Белле, приняла из рук Августина поводья принадлежащего брату жеребца и повела за собой это гордое животное, она совершила одну из классических ошибок, которые подлинные аристократы совершают всегда и везде. Если не считать горничных, с которыми она общалась ежедневно, Николь не воспринимала толпу слуг в замке Граверо как людей.

Иначе ей никогда не пришло бы в голову, что она совершает глупость, приказав заняться подготовкой к своему отъезду главному кучеру замка Августину, который всеми фибрами души ненавидел Жан Поля Марена и к тому же был мужем Мари. Не успела она доехать до первого поворота дороги, как Августин ворвался в ее спальню.

– Куда она поехала? – заорал он на жену. – Взяла Бопрен-

са, послала Жюля и Рене приготовить охотничий домик в Карпентра... устраивает свидание? Не ври мне, ведьма! Конечно, с ним! Будь я проклят! Значит, он сбежал?

– Я... я ничего не знаю, – пролепетала Мари.

– Ах, ты не знаешь! Тогда, может, эта плетка освежит твою память. Вот так! Нравится? Ну так второй удар наверняка облегчит боль от первого...

– Перестань! – взвизгнула Мари. – Бога ради, Августин!

– А мне нравится пороть тебя, – улыбнулся Августин, сгибая рукоятку плети обеими руками. – Ты небось тоже хотела бы быть такой отчаянной, как твоя хозяйка, скакать одной навстречу скандалу. Но это тебя остановит, нет? И это, и это, и это!

– Августин!

– Только если скажешь, куда она поскакала и где его искать! Давай, говори, Мари! Или нет, не надо. Я начинаю входить во вкус!

– Я все скажу! – сквозь слезы выговорила Мари. – Он... он собирается бежать в горах... охрана немногочисленная, и комендант ему симпатизирует. Он хочет перебраться на севере по горной тропе через Гап и Брианон в Италию. Она должна встретить его и снабдить деньгами и одеждой.

– И собственной персоной, конечно! – с насмешкой сказал Августин. – Хозяин щедро наградит меня за это...

– И уж конечно, ты, мой герой, – презрительно усмехнулась Мари, – схватишь его с целой бандой лакеев и доста-

вишь в цепях!

– Точно, – гаркнул Августин. – А кто может помешать мне?

– Полиция. Горная жандармерия. Что будут стоять твои слова против ее слов, с каких это пор во Франции к словам кучера прислушиваются больше, чем к словам аристократки?

Она была права. Августин сразу же это понял. Он остановился, злобно глядя на нее.

– Ах, Августин, – продолжала Мари, стараясь закрепить полученное преимущество, – не лезь ты в это дело. Чем меньше мы суем нос в дела знати, тем лучше.

– Но когда хозяин вернется и узнает, что это я седлал коней, – простонал Августин.

– А ты не знал, куда она направляется. Она сказала, вторая лошадь для ее друга. “Господин, – скажешь ты, – разве я мог послушаться хозяйку?”

Лицо Августина вдруг прояснилось, и Мари поняла, что она говорит слишком долго.

– Кузен моего хозяина, герцог де Граммон! – вскричал Августин. – У него охотничий домик неподалеку от Карпентра, а в эту снежную погоду он наверняка охотится там! Спасибо тебе, ведьма, за твое предупреждение. Поскачу туда один и сообщу новость герцогу. Он пошлет своих слуг. Пусть тогда горная жандармерия возразит ему!

– Но, – всхлипнула Мари, – выставить напоказ такой по-

зор... Думаю, хозяин вряд ли будет...

– А я ничего не выставляю напоказ, – расхохотался Августин. – Герцог был среди тех аристократов, которые ворвались в эту самую комнату и нашли там твою хозяйку в объятиях этой крестьянской свиньи! Аристократизм твоей хозяйки не распространяется на ее моральные устои.

– И ты еще называешь его свиньей! – выкрикнула Мари. – У этого мальчика внешность и манеры принца...

– Теперь уже нет, – ухмыльнулся Августин, – тебе стоит посмотреть на него сейчас!

И он затопал сапогами вниз по лестнице.

“Через час я замерзну”, – думал Жан. И тем не менее он продолжал шагать по глубокому снегу. Если Николь не получила моего письма, я вскоре встречу смерть в этих горах. Глупо держаться тропы. Но у Жерада нет стражников, которых он мог бы послать в погоню за мной. Кроме того, думаю, он был не против того, чтобы я бежал. Он сам внушил мне эту мысль...

Он споткнулся. Стоял уже январь, а здесь, в Альпах, снег начинает выпадать уже в ноябре. Башмаки у него были добротные, а вот одежда давно уже превратилась в лохмотья. Он весь посинел от холода, дыхание вырывалось в морозный воздух клубами пара. Дорога, которой он шел, вела через Карпентра, Гап и Брианон. Эта дорога поднималась вверх до

Гапа, верхней точки, расположенной в трех тысячах футов над уровнем моря. Здесь, ниже Карпентра, было еще не так высоко, но уже очень холодно. Он не хотел думать о том, что будет на перевале через Гап... если он доживет и доберется до него...

К наступлению ночи он начал падать от усталости. И каждый раз ему становилось все тяжелее подниматься. В смерти от холода есть нечто соблазнительное – жертва не испытывает страданий. У Жана не было времени украсть трут, так что он не мог развести огонь. Впрочем, даже если бы у меня и было кресало и кремь, мрачно подумал он, все равно мало шансов зажечь это промерзшее насквозь дерево.

Его единственное спасение заключалось в движении, чтобы кровь продолжала циркулировать по телу. Он колотил себя руками, но эти усилия еще более ослабили его. Свежий шрам, пересекающий лицо, сильно болел.

Он упал, поднялся, снова упал, стал карабкаться с помощью рук и ног, кое-как встал, покачнулся, понимая в глубине души, что у него не хватит сил пройти еще хоть четверть мили. Он стоял так, покачиваясь, и думал: “В мире есть одно несомненное обстоятельство – то, что жизнь вечно подшучивает над нами. То, что она дает одной рукой, она отбирает другой, и всегда забирает больше, чем дала. Я радовался перспективе бегства, и мне в голову не приходило, что я бегу навстречу смерти... Ну что ж, Жан Поль Марен, ты еще раз доказал самому себе, что ты глупец”. Тут он откинул го-

лову и разразился громким насмешливым хохотом, вызвавшим эхо в заснеженных горах...

И этот смех спас его, ибо, если бы не он, Николь никогда не нашла бы его в наступающей темноте. Спустя пару минут она осадила рядом с ним свою кобылу, осыпав его брызгами снега, спрыгнула с седла и очутилась в его объятиях.

Она целовала его грязное, заросшее, полузамерзшее лицо, прижималась к нему, плакала.

– Жанно, мой Жанно, ты мой, я нашла тебя, нашла тебя, и теперь я никогда не отпущу тебя... никогда!

Жан Поль из последних сил оторвался от нее и стоял, держа ее за плечи. Он улыбнулся, она казалась ему прекрасной, как ангел, со снежинками на меховой шапке, запорошенными ресницами и крупными слезами, замерзающими на ее щеках.

– Если ты, – слабо рассмеялся он, – не дашь мне во что-нибудь завернуться и глоток бренди, я буду уходить от тебя... постоянно...

– О, – задохнулась она от волнения, – ты замерзаешь, мой бедный, мой дорогой, а я болтаю...

– Ты продолжаешь болтать, а я продолжаю замерзать, – пошутил Жан.

Она метнулась к своей кобыле и развязала седельную сумку. Из нее она достала великолепную накидку с меховым воротником, меховую шапку и помогла Жану облачиться во все это. Потом вытащила оттуда же бутылку бренди. Жан

с трудом пытался откупорить ее своими полузамерзшими пальцами, но в конце концов добился успеха и сделал большой глоток, чувствуя, как тепло ползет вниз, клубится в желудке, расплзается по всему телу, как внезапно возвращаются к нему силы.

Жан вскарабкался в седло Бопренса, а она стояла рядом, волнуясь, что он упадет, и хотя он и качнулся в седле, но сказалась его привычка к верховой езде. Это ее успокоило.

– Куда мы едем, госпожа? – спросил он смеясь.

– В том направлении, куда ты шел, – отозвалась Николь. – Но мы свернем, не доезжая до Карпентра. Там, в горах, у моего брата есть охотничий домик. Ты... мы, – ее лицо вспыхнуло румянцем, когда она вот так поправила себя, – остановимся там на ночь... – Она замолчала, и легкое облачко от дыхания обволокло ее лицо. Она ехала совсем рядом с ним. – Надеюсь, – прошептала она, – Господь Бог простит мне мои мысли, но Жанно... Жанно... поедem быстрее... потому что, любимый мой, я не могу больше ждать!

Они скакали по заснеженной дороге. “Это сумасшествие, – подумал он. – Ради собственной безопасности я должен скакать всю ночь, чтобы оторваться от преследователей. Но видит Бог, она стоит того, чтобы рискнуть жизнью!”

Она, похоже, угадала его мысли, потому что обернулась в седле и крикнула:

– Брата несколько недель не будет. За тобой некому гнаться, мой Жанно!

К своему удивлению, когда они подъезжали к охотничьему домику, он увидел отблески огня в окне.

– Я послала слуг развести огонь, – спокойно сообщила Николь, – и чтобы оставили там еду и все прочее. Не тревожься, мой Жанно, они уже уехали. Я так распорядилась.

– Ты, – недоверчиво произнес Жан, – доверила свои планы слугам? О, Николь, неужели ты не понимаешь, что выдала нас обоих?

Она взглянула на него.

– Думаешь, они поспешат сообщить эту новость брату? – рассмеялась она. – А как они могут это сделать, мой Жанно, если у него медовый месяц, он уехал, и они даже не знают куда?

– Медовый месяц, – прошептал Жан. – О, Боже!

– Не сиди так, – сказала Николь. – Слезай и помоги мне, о, Жан, поторапливайся!

Они стояли рядом у гудящего огня, маленькая головка Николь покоилась у него на плече. Наконец она выпрямилась и посмотрела на него.

– Хорошо, что я тебя так люблю, – рассмеялась она, – потому что, боюсь, иначе я не смогла бы вынести твоего вида.

Жан запустил руку в свою густую черную бороду.

– У брата здесь есть бритва, – сообщила Николь, – и мы можем растопить немного снега, чтобы была горячая вода. Ты пойдешь за снегом, а я принесу одежду, которую привезла тебе. Потом мы поужинаем, – она наклонилась вперед, в

ее голубых глазах прыгали чертики. – Да, да, мы будем ужинать и выпьем много вина, потому что ты, мой Жанно, едва не умер от голода и очень ослаб, – в ее глазах искрился смех и сияла нежность. – Тебя надо подлечить, – прошептала она, – потому что, во имя всех святых, сегодня ночью тебе понадобятся все твои силы.

С этими словами она отпрянула от него и вышла в снежную круговерть.

Вглядываясь в зеркало, Жан Поль все более и более огорчался. С тех пор как кучер разбил ему лицо, Жан впервые видел свое отражение. С дикой черной бородой он выглядел дьяволом, вышедшим из ада. Его переломанный нос казался изуродованным, и по мере того как он сбрасывал бороду и в зеркале появлялись новые подробности, лицо нравилось ему все меньше. Неровный белый шрам, блее кожи, зигзагообразно пересекал его, как вспышка молнии. Он начинался между глазами, пересекал сломанный нос и прятался в уголке рта, образуя вечную полуулыбку.

И все-таки, как ни странно, все это не испортило его внешности. Новые детали просто изменили ее. Со свойственной ему чувствительностью Жан возненавидел свое новое лицо, но именно Николь нашла ему определение.

– О, Жан, – воскликнула она, когда он вышел из маленькой комнаты умытый, побрившийся, в хорошем костюме ее брата, – как ты изменился!

– Знаю, – с горечью сказал он, – я выгляжу зверем.

Но она подошла к нему, легко коснулась пальцами его шрама и, привстав на цыпочки, поцеловала этот странно улыбающийся рот.

– Нет, любовь моя, – прошептала она, – не зверем, а скорее дьяволом. Странно прекрасный дьявол...

– Прекрасный! – фыркнул Жан.

– Да, да! Ты всегда был самым красивым на свете, и они не смогли уничтожить твою красоту. Они изменили твой облик. Они сделали из тебя Люцифера... Мефистофеля... теперь я даже немного боюсь тебя. Жанно, обещай мне одну вещь...

– Да, любовь моя?

– Не старайся жить, оправдывая это лицо – иначе я тебя потеряю. Нет на свете женщины, которую твое лицо не заинтересует. Они... они все будут думать...

– О чем же, маленькая Николь?

– Они будут гадать, каково это – лечь в постель с сатаной, – прошептала Николь. – Им будут мерещиться ужасные, невообразимые наслаждения, о которых они будут не в состоянии даже рассказать, потому что словами это невыразимо. О, Жанно, Жанно, понимаешь? А теперь посмотри на себя, на свое лицо, которое заставило меня высказать все это!

Жан понял, что пришло время снять напряжение.

– Если ты сейчас же не подашь ужин, – пошутил он, – увидишь, какой я дьявол!

– Да, мой господин, – пробормотала она. – Мой господин, мой хозяин – ты это знаешь... и это навсегда...

Потом было хорошее вино, хлеб и сыр, и большой кусок мяса, от которого они отрезали ломти и жарили на огне. Уже через час Жан почти забыл о каторге, о своих страданиях, обо всем, что случилось с ним. Он вытянулся в кресле перед камином, испытывая полное удовлетворение.

И вот тогда Николь подошла к его креслу и обняла его за шею.

– Пойдем, – прошептала она. – У нас так мало времени, мой Жан, так мало драгоценного времени...

В другой комнате, где Жан одевался и брился, тоже горел огонь. Дрова уже прогорели, но давали еще достаточно света, чтобы он мог видеть ее. Ее тело было белым, как снег, с отсветом солнечного заката на нем. Она быстро увернулась от него, зарылась между ледяными простынями и лежала там, дрожа от холода.

– Замерзаю, – прошептала она, – о, Жанно, Жанно, торопись, пока я не умерла от холода... и от желания, – пробормотала она, когда Он принял ее в свои объятия. – О, Жанно, мой Жанно, будь нежен со мной, потому что я боюсь! Будь ангелом, не похожим на дьявола, маску которого ты носишь. Ведь ты не дьявол, мой Жан? Ты не дьявол, не дьявол, ты не...

Рано утром, когда еще не рассвело, Жан Поль тихо встал, не разбудив Николь, и разжег огонь в камине. Однако от этих

звучков она проснулась и приподнялась на постели, а потом вновь легла, глядя на него. Он, улыбаясь, обернулся к ней, кутаясь в накидку, наброшенную на голое тело.

– Скоро будет тепло, – тихо сказал он, – тогда мы сможем встать.

– Жан, – прошептала она, – иди сюда...

Он присел на край постели. Она выпростала из-под одеяла руку и тронула пальцами его лицо.

– Да, – сказала она, и в голосе ее прозвучало нечто, напоминающее благоговейный страх, подумал он. – Да, да, это твое лицо! Запомни, что я говорила тебе вчера вечером, – каждая женщина, увидевшая тебя, будет гадать...

– Каково это, быть в постели с сатаной? – пошутил Жан.

– Да. А я теперь знаю... Помоги мне Господь, я знаю!

В черных глазах Жана вспыхнула тревога.

– Считаешь, я несу зло? – пробормотал он.

– Нет, нет. Я считаю тебя диким и страшным, и более прекрасным, чем можно себе представить, и теперь я действительно боюсь...

– Тебе нечего бояться, маленькая Николь, – нежно сказал Жан. – Я никогда не причиню тебе боли...

– Но ты ее уже причинил, Жан! Ты... ты разрушил меня, так что я больше не та, какой была, а женщина, которой я еще не знала, существо, о котором и не подозревала, что оно живет во мне. Я обняла тебя своими руками и приняла в свое лоно, казалось бы, все просто. Но это не так, потому что с

тобой все непросто, если кто-то будет надеяться... О, Жанно, Жанно, я сгорела от твоей любви! Теперь ты часть меня, моей плоти, сгоревшей в твоём огне до глубины души... никогда уже я не освобожусь от тебя...

– Тише, – шепнул Жан, прижимая ее к себе, лаская ее свевящиеся волосы.

– Что со мной теперь будет, Жанно? – всхлипывала она. – Что будет, когда ты уедешь, а я останусь одна, ждать, когда наступает ночь, а тебя нет рядом? Я... я могу пережить днем, но по ночам, думаю, я сойду с ума – от желания быть с тобой, потребности в тебе, мое тело будет испытывать без тебя голод, мои руки будут болеть от невыносимого желания обнять тебя, Жанно, – так близко, так близко! Мои глаза ослепнут, я никого не буду видеть, не захочу видеть – о, Жанно, Жанно! – я умру...

– Я вернусь к тебе, Николь, – прошептал Жан, – хотя бы из самого ада!

Ему не дано было знать, когда он произносил эти слова, насколько они справедливы.

Она лежала, глядя на него, и грусть в ее глазах таяла. В комнате стало теплее, огонь в камине разгорелся. Жан Поль взялся за край покрывала, которым она укрывалась по самую шею, и стал стягивать его, пока не стянул совсем.

Она не пыталась укрыться, а лежала нагая, наблюдая за его лицом.

– Разве я не прекрасна? – прошептала она. – Скажи, Жан-

но, разве не так?

– Да, – сказал он. – О, Господи, да!

Она протянула навстречу ему руки, похожие в свете огня на две снежные струи.

– Иди ко мне, мой Жан, – позвала она.

Вот так она предала его, потому что, если бы не Николь, они были бы далеки от той минуты, когда герцог де Граммон со своими вооруженными вассалами окружил охотничий домик.

У Жан Поля не было оружия, да оно все равно было бы бесполезно, потому что, применив его, он подверг бы тем самым Николь опасности.

Герцог де Граммон, соблюдая приличия, дал им возможность одеться, потом он отвез Николь в свой замок. Но самое худшее заключалось в том, что он отправил Жан Поля Марена непосредственно в Тулон в закрытой карете, которую сопровождала вооруженная стража, так что шансов бежать у Жана не осталось.

Прошло четыре года, прежде чем Жан Поль увидел дневной свет не через тюремную решетку или из-за высоких стен каторжного лагеря. Четыре года – в аду.

Арестанты копошились вдоль дороги, которую прокладывали как муравьи под солнцем. Вокруг не было ни облачка, ни деревца, которое давало бы тень. Небо стало желто-белым от солнца, синева отступала под напором солнечных лучей, а от скал, которые каторжники крушили молотами, в воздух поднималась белая пыль, неподвластная никаким ветрам.

Арестант номер тринадцать тысяч двести одиннадцать, прозванный каторжниками Сломанный Нос, поднял тяжеленную кувалду, мускулы у него на руках двигались и сжимались в узлы, как большие питоны, и со свистом обрушил ее на скалу. Скала дробилась под этими ударами, и обломки летели во все стороны. А Сломанный Нос расхохотался.

– Будь ты проклят, Нос! – заорал один из охранников. – Прекрати этот дикий смех! Зубы даны человеку для того... Слушай, во имя всех святых, что ты нашел такого, чтобы смеяться?

– Так, кое о чем подумал, – спокойно ответил Сломанный Нос.

В этот момент он вспомнил, как в первый день, когда его привезли в Тулон, старый каторжник сплюнул, глядя на худенького провинциального адвоката с искореженным лицом.

– Этот, – проскрипел старый волк, – не протянет и года... И он оказался прав. Ибо Жан Поль Марен за этот год пре-

вратился в другого человека. Он больше не сутулился, грудная клетка раздалась на восемь дюймов, на два дюйма длиннее стали руки, он мог теперь выдержать удар кулаком в живот от сильного мужчины и не потерять дыхания. Он стал бронзовым от загара, весь, кроме белого шрама, пересекающего его лицо, и красновато-лиловатых букв Т.Ф.⁹, выжженных у него на плече.

Он напряг руки, чувствуя, как играют веревки мускулов под бронзовой кожей. Он часто потягивался так, получая от этого удовольствие.

“Гордишься собой?” – насмешливо спросил он себя. Тебе приятно ощущать, что ты стал сильным зверем, не хуже всех остальных.

Он увидел, как к дороге подошли парни, тащившие большие котлы с едой для каторжников. Потом раздался свисток, арестанты побросали кирки и кувалды и медленно потащились, как-то странно экономя движения, двигаясь скованно, как люди, которым предстояла работа под тропическим солнцем до конца своих дней.

Один из парней стал раздавать жирные, видимо никогда не мытые миски, а другой наливал в них невыразимо гнусное месиво, служившее каторжникам едой.

Жан Поль отер грязной рукой пыль и пот с лица. Потом принялся есть очень медленно, не ощущая вкуса того, что глотал, изредка косясь на солнце. Он ощущал его жар, со-

⁹ Temps Forcat – каторжник на срок (*фр.*)

гревающий струпья на ранах спины в тех местах, где его до крови били кнутом после последней попытки бежать. Это было около года назад, но спина все еще оставалась очень чувствительна к солнечным лучам.

Срок подходит, размышлял он. Сейчас август 1788 года, у людей было достаточно времени, чтобы подумать о том, что такое Генеральные Штаты, и составить список своих жалоб. Да, да, время пришло! Оставим человека действия и вернемся к философу! Ибо сражаться с человеком его собственным оружием – это безусловная глупость, стоившая мне так дорого. Не мускулами, а мозгами! Надо испробовать такое лезвие, которого нет у них в ножнах... Здешние охранники всего лишь орудия в руках знати, но что произойдет, когда они поймут, что единственная цель их существования состоит в том, чтобы обслуживать прихоти и удовольствия других людей и обеспечивать им новые наслаждения?

Уголкем глаза он заметил направляющегося к нему сержанта Лампа, одного из охранников. Жан Поль поднял голову и ухмыльнулся сержанту.

– Когда я выйду на свободу, – любезно сказал он, – а вы, сержант, станете маршалом Франции, возьмете меня к себе ординарцем?

Ламп остановился, лицо его на солнце стало цвета вареной свеклы.

– Не задирай меня, Сломанный Нос, – прорычал он, – не то я проучу тебя прикладом!

Жан улыбнулся. Они оба знали, как мало шансов у Лампа стать даже капитаном. Все должности в армии выше сержанта закреплены за дворянами. Ламп останется сержантом до самой смерти.

– Прошу прощения, мой сержант, – рассмеялся Жан. – Я вовсе не хотел вывести вас из терпения. Слишком жарко, чтобы сердиться. Мозги закипают, а солнечный удар можно получить и без этого. Присаживайтесь и присоединяйтесь к нашему пиршеству. Немного красного вина и, может, грудку фазана? Или мой сержант предпочитает Cote de Veau, saute en Madere?¹⁰

На лицах каторжников появились хитрые ухмылки. Пища охранников отличалась от омерзительного месива, которое сейчас шумно и с жадностью поглощали каторжники, только количеством.

– Будь ты проклят, Сломанный Нос, – рассердился Ламп. – Я тебя...

– Подождите, – вежливо продолжал Жан Поль, – я собираюсь рассказать этим господам, отдыхающим на самом знаменитом летнем курорте Его Величества...

Его слова утонули в хохоте каторжников. Жан поднял руку, призывая к тишине.

– ...одну историю. Или, скорее, притчу. Вам, мой сержант, было бы хорошо послушать. Это весьма поучительная притча, полезная и для могущественных воинов...

¹⁰ Телячья отбивная, мясо в мадере (фр.)

И прежде чем озадаченный сержант успел остановить его, он начал.

– В одной далекой стране, – медленно повел он рассказ, наблюдая за глазами Лампа, – было два племени ослов. Одно племя носило синюю одежду, – он жестом предупредил хихиканье каторжников, – а другое племя серую одежду, коричневую, черную, одежду любого цвета, кроме синего. Но особенность одежды этого второго племени состояла в том, что, какого бы цвета она ни была, она всегда выглядела как лохмотья...

– Это еще что за проклятые шутки? – начал Ламп, но Жан улыбнулся ему.

– Мудрость, мой сержант, – рассмеялся он, – простой здравый смысл или, скорее, ослиный. Слушайте! Во всем остальном, кроме цвета одежды, ослы были одинаковы. Они вопили, как ослы, ели, как все ослы, и даже пахло от них, как от ослов...

Теперь уже никакими своими жестами он не мог остановить хохот каторжников. Ламп хмуро улыбнулся.

– Ври дальше, – разрешил он, – посмотрим, принесет ли это тебе вкус кошачьего...

– Думаю, нет, – ответил он. – Позднее, когда у моего сержанта будет время подумать обо всем этом, он, возможно, даже скажет мне спасибо. Но самое странное в этих длинноухих существах заключалось в том, что, будучи ослиами, они не знали, что они ослы. А хозяева земли возложили тяжелое

бремя на оборванных ослов и очень хитро поставили синих ослов сторожить тех, кто работает.

Искра понимания мелькнула в глазах Лампа.

– Естественно, это нравилось синим ослам, потому что они таким образом чувствовали себя значительными. Но кормили их не лучше, чем оборванцев, и, сторожа своих менее удачливых братьев, они тоже, по существу, были арестантами, хотя они этого и не осознавали. Конечно, хозяева земли проявляли по отношению к ним некоторую доброту, например, вместо того, чтобы бить их бичами, хозяева били их только мечами плашмя...

Сам того не желая, сержант Ламп с горечью кивнул головой.

– Проняло! – возликовал Жан и продолжал: – В этой земле появился философ. Он увидел судьбу ослов, и синих, и оборванных, увидел, как хозяева заставляют их работать, бьют их, обрекают на голод, отнимают у них хлеб и соль...

При слове “соль” остановить рев каторжников было уже невозможно. Не было во Франции ничего более ненавистного, чем налог на соль. Даже Ламп разделял их чувства, потому что тоже был из крестьян.

– Вот философ и решил помочь ослам, и, поскольку он был врачом и обладал умением лечить кончиками пальцев, он и начал открывать им глаза. И ослы увидели, что они ослы, и ужаснулись. Синие ослы вспомнили, как их заманили на эту службу: “Давайте, ребята, будете служить в

полку, будете получать суп, рыбу, мясо и салат, – Жан придал своему голосу фальшивую сердечность вербовщиков. – Я вас не обманываю – пироги и вино даются в особых случаях”.

Оборванцы вспомнили своих ослят, умирающих со вздувшимися животами оттого, что они ели отруби с водой, потому что больше нечего было есть.

Жан улыбнулся, глядя прямо в глаза сержанту.

– Потом, – спокойно продолжал он, – они собрались все вместе, чтобы посоветоваться. И каждый осел прокричал свое *cshiers des plaintes et doleances*.¹¹

Он остановился, ожидая горького смеха, ибо король уже обещал созвать Генеральные Штаты впервые после 1614 года и предложил всем трем сословиям – духовенству, аристократам и третьему сословию – представить список жалоб под тем высокопарным названием, которое Жан Поль только что произнес. При этом раздался громовой хохот. Сержант Ламп присоединился к нему.

– Поскольку, – повторил Жан, – каждый осел выкрикнул свой список жалоб и недовольств, их гнев превращался в ураган. Они вспомнили, что их копыта крепки и остры, их мускулы сильны. И тогда... – Он опять замолчал.

– Ну, – ткнул его в бок Ламп, – что было дальше?

– Не знаю, – просто ответил Жан. – Откуда могу я или любой из нас знать это, мой сержант, поскольку мы догово-

¹¹ Жалобы и наказания (*фр.*)

рились, что мы не ослы, а люди?

Ламп уставился на него, на его тяжелом лице застыло напряженное выражение.

– А ну, марш работать! – заорал он. – А ты, Сломанный Нос, еще будешь иметь дело со мной!

Однако, когда он уходил, до него донесся, перекрывая стук кувалд о скалы, взлетающий ввысь хохот Жана.

Спустя три дня Ламп отозвал Жана в сторону.

– Послушай, Нос, – проворчал он, – я думал о той истории, которую ты рассказал. И будь я проклят, если это не правда! Расскажи эту историю всем, и ты услышишь, как заревут парни...

Жан слушал, улыбаясь своей сатанинской улыбкой.

– Были тут всякие разговоры, – начал сержант, пристально взглядываясь в Жана, – насчет того, чтобы обменяться мнениями с другими отрядами охраны с тем, чтобы добиваться того, что нам положено. Но, понимаешь, черт подери, мы из того же корня, что эти бедняги-каторжники, и чего нам не хватает, так это грамоты... Конечно, некоторые капралы и большинство сержантов умеют немного читать и даже писать... но нам не хватает слов, Нос, таких четких и правильных слов, какие ты говорил. Все знают, что ты образованный адвокат, так говорят, вот я и подумал насчет тебя. И сказал себе: вот уж давно Сломанный Нос не причиняет нам никаких беспокойств. Немного притих, нашел себя...

– Благодарю вас, мой сержант, – улыбнулся Жан, – это

совершенно правильно.

– Ладно, все в порядке. Вот я и подумал, что, если бы ты выслушал, что думают наши парни, и изложил бы это хорошим стилем... может, я смог бы сделать тебе кое-какие поправки, ну, скажем, облегчить тебе работу. Не слишком, конечно, потому что это может вызвать недовольство у других...

Жан Поль отвесил ему глубокий поклон.

– Сервант, – засмеялся он. – Буду польщен!

– Ладно. Сегодня вечером проведу тебя в казарму. Там будет стол и все, что нужно для письма... Парни будут говорить, а ты будешь записывать все, как надо. Мы постараемся, чтобы это попало в правильные руки.

В правильные или неправильные – это мне знать не дано, частенько думал в последующие шесть месяцев Жан Поль. Это походило на дуэль в темноте с противником, которого не видишь, который ловко ускользает, но и не наносит ответных ударов, зная, что в конце концов мои силы иссякнут...

Но он продолжал свое дело, начиная с последних жарких дней августа и до той поры, когда задул мистраль и ночи стали холодными, как железо.

– Как идут дела, Нос? – спрашивали каторжники. Они знали, чем он занят.

– Думаю, неплохо, – отвечал Жан, но на самом деле он не

знал. Во всяком случае, не все знал.

– Еще трое охранников ушли вчера ночью в горы, – нашептывал чей-то бородатый рот в чье-то рваное ухо, и так эта новость передавалась от одного к другому, пока не дошла до Жана. – Продолжай так же, Нос, ты достанешь их! Бей их по тем местам, где больнее!

– Я-то продолжаю, – говорил Жан. – Но вы слишком уж надеетесь на меня. Этих помоев для свиней, которые они едят вместе с нами, их одних уже достаточно, чтобы сбежать, не говоря уже о побоях со стороны офицеров...

Работавший рядом каторжник предупреждающе толкнул его в бок. Жан поднял голову и увидел направляющегося к нему сержанта Лампа. Рядом с сержантом шагал маленький человек в безупречно чистом, отлично выглаженном мундире, украшенном золотыми галунами.

– Королевский лейтенант! – шепнул сосед-каторжник. – Какого черта ему здесь нужно?

Жан всматривался в лицо господина Жозефа Гаспара, маркиза де Кото, уполномоченного Его Могущественного Величества, надзирающего за тюрьмами.

Сержант Ламп показал на Жан Поля.

– Вот он, – сказал он, – вот этот самый...

Лейтенант Гаспар с откровенным любопытством рассматривал Жана.

– Вот этот грубый злодей? – спросил он.

– Так точно, – отозвался сержант Ламп.

– Его фамилия, если не ошибаюсь, Марен?

Сержант Ламп кивнул.

– Марен, – обратился к нему лейтенант. – Подойдите сюда!

Жан Поль неспешно положил кирку и подошел к королевскому лейтенанту. Дьявольская радость светилась в его черных глазах, а кривой шрам на лице выглядел красноречивее, чем обычно.

Месье Гаспар обнаружил, что оказался в невыгодном положении. Престижу его высокого чина отнюдь не помогало то обстоятельство, что он, чтобы смотреть в глаза Жан Полю, вынужден был задирать голову. Ощущение было неприятным, тем более что этот мускулистый молодой преступник с изуродованным лицом продолжал улыбаться, глядя на него.

– Какого дьявола, чему это ты ухмыляешься? – выпалил лейтенант.

Жан заулыбался еще шире.

– Тысяча извинений, господин, – сказал он, – но с этой улыбкой я ничего не могу поделать. Это печать, наложенная теми, кто схватил меня...

– Вижу, – сказал месье Гаспар. Однако он чувствовал, что каким-то непостижимым образом его достоинство оказалось униженным. Он нахмурился, пытаясь придать лицу суровое, официальное выражение.

– Ты, конечно, удивляешься цели этого визита...

– Я никогда ничему не удивляюсь, – улыбнулся Жан. – Это

бесполезное занятие. Однако, если ваша милость соизволит огласить причины столь неожиданной чести...

– Черт тебя возьми, – заорал месье Гаспар, – перестань разговаривать по-книжному! Говори привычным тебе языком. Это жеманство на меня действует.

– А он всегда так разговаривает, ваша милость, – заметил Ламп.

– Кто, – спросил месье Гаспар, – научил такого ничтожного злодея, как ты, разговаривать, как воспитанные господа?

– Моя мать, – ответил Жан, – она получила благородное воспитание. А после нее профессора Лионского лицея, потом профессора Парижского университета, где я изучал право. Боюсь, вашей милости придется терпеть педантичность моей речи, поскольку я не знаю, как иначе выражать свои мысли.

Месье Гаспар посмотрел на сержанта Лампа.

– Это многое объясняет, не так ли? – проворчал он. – Эти крестьяне в Сен-Жюле не такие дураки, как я предполагал.

– Вряд ли, ваша милость, – сказал сержант Ламп.

Лейтенант некоторое время изучал Жан Поля.

– Сегодня, – сказал он, – я получил письмо, подписанное этим мошенником, именующим себя Пьером дю Пэном.

Глаза Жана вспыхнули.

– Вижу, ты его знаешь, – сказал месье Гаспар.

– Да, господин, – пробормотал Жан.

– Выходит, жители деревни Сен-Жюль оказали тебе исключительную честь, избрав своим представителем в Генеральные Штаты. Теперь я вижу, ты не так уж плохо подходишь для этой роли. Хотя, что бы ни имел в виду Его Величество, созывая это древнее собрание, он, конечно, не допускает и мысли, чтобы деревенские дурачки пытались послать клейменого преступника решать государственные дела...

– А почему бы нет, ваша милость? – весело спросил Жан. – Если вы сами допустили, что клейменный каторжник не так уж плохо подходит для этой роли?

– Будь я проклят! – выругался лейтенант. – Я приехал сюда не для того, чтобы вступать с тобой, Марен, в правовые дискуссии! Меня привело сюда любопытство, я хотел увидеть, как это человек может привлекать к себе такое внимание, находясь за тюремной решеткой. Но я думаю, лучше мне предупредить тебя. Ты будешь самым охраняемым арестантом в этой тюрьме. Каждая попытка бегства будет пресекаться сразу же и жестоко. Mon Dieu¹², до чего докатилась Франция!

– Могу я попытаться рассказать вам об этом, ваша милость? – улыбнулся Жан.

Месье Гаспар уставился на него. Затем в его маленьких голубеньких глазках промелькнул огонек.

– Ну, почему же, Марен, – сухо произнес он, – было бы очень поучительно узнать, чего недостает Франции, из твоих

¹² Мой Бог (*фр.*)

уст.

Жан Поль не обратил внимания на насмешливую ухмылку в голосе лейтенанта. Он смотрел мимо месье Гаспара – сквозь него.

– Мистраль, – заговорил он мягко, – это странный ветер, который поднимает все темное в душе человека. Давно уже этот ветер дует над Францией, и он все усиливается. Скоро обрушится ураган...

– Сумасшедший! – выкрикнул месье Гаспар.

– В мистрале звучат голоса, – продолжал Жан, – голоса людей, которые теперь собираются по всей Франции и произносят слова, за которые еще два года назад отправляли на виселицу. Голоса крестьян, собирающихся в своих маленьких городках – вроде Сен-Жюля, а провинциальные адвокаты, вроде меня, слушают и записывают бесконечные списки их горьких бед. И когда эти беды облекаются в слова, те слова становятся пламенем, и ветер недовольства подхватывает их и разносит, как искры, по всей стране.

Он замолк, улыбаясь королевскому лейтенанту. Но месье Гаспар не сделал попытки остановить его.

– Ветер усиливается, ваша милость, превращается в ураган. Заседают провинциальные ассамблеи, о которых в большинстве мест столетиями не слышали. Народ узнает факты, видит горы налогов, выраженных в холодных цифрах. Люди узнают, что они, умирая от голода, платят налоги за всю страну, а аристократы и церковь избавлены от уплаты налогов, –

люди, которые за последние шестьдесят лет каждую плохую зиму вынуждены есть кору деревьев, отбирать для себя корм у скота, люди, свыкшиеся со своим несчастьем, ибо каждый третий ребенок умирает в раннем детстве от множества болезней, которые можно, ваша милость, назвать одним словом – голод...

По мере того как крепчал голос Жана, кирки и лопаты замолчали, но ни сержант Ламп, ни месье Гаспар не замечали этого. Они смотрели на Жан Поля Марена, слушали слова, вырывавшиеся из его разорванного рта.

– Сейчас в этом ветре слышится ворчание, – продолжал Жан, – озлобление звучит в этой буре. Король, бедный глупый государственный муж, разрушил свою неприкосновенность самым призывом излагать жалобы. Эти жалобы вырастают в горы бумаг, а поднимающийся вихрь народного гнева подхватывает их, так что они покроют всю Францию, словно снег... Париж полон дезертиров из армии. Я слышал, что и из Корпуса охраны вашей милости тоже дезертируют. В Марселе бунты, повсюду разгорается жакерия. То там, то здесь поджигают замки аристократов. Такова Франция сегодня, господин маркиз. А происходит все это из-за того, что чаша терпения народа переполнилась, и люди больше не могут терпеть...

Он улыбнулся королевскому лейтенанту своей изуродованной улыбкой.

– Даже среди вашего класса, ваша милость, растет недо-

вольство, потому что, конечно же, храбрым людям, таким, как ваша милость, должно надоеть, что справедливые награды за почетные шрамы, полученные во имя короля, перехватываются надушенными бездельниками в Версале.

Месье Гаспар обратился к сержанту Лампу.

– Бросьте этого безумца в карцер! – завопил он. Потом повернулся на каблуках и заспешил прочь.

Была ночь. Жан Поль мог утверждать это. Сейчас он не мог разглядеть свои пальцы, как бы близко ни подносил руки к глазам. Днем он еще мог видеть очертания предметов. Сквозь щели в крышке ямы просачивался слабый свет. Он полагал, что сидит здесь два дня и пошел уже третий. Начинаясь третья ночь. Но здесь было трудно следить за течением времени. Люди, брошенные в яму, теряли счет дням, а те, кого держали здесь слишком долго, сходили с ума.

С ним этого не случится, если он сам поможет себе. В первый день он провел много часов, вспоминая свое прошлое – Люсьену, Николь. Потом ему пришло в голову, что думать о Николь, вспоминать ее, вряд ли лучшее средство сохранить разум. Поэтому он стал обдумывать планы своей будущей политической деятельности.

Газета – вот правильная идея. Когда он будет в Париже и Пьер вместе с ним, он сможет формировать сознание людей, властвовать над их умами, как сумел влиять на сержан-

та Лампа и других охранников. Вот прямой путь обрести власть. А уж когда он утвердится...

Николь. О, Боже на небесах! Ла Муат мог уже выдать ее замуж или запереть в монастыре. Она могла забыть меня. Женщинам свойственно забывать. Их ум и сердце не постоянны. Взять, к примеру, Люсьену...

К черту Люсьену, подумал он. Потом запрокинул голову и разразился хохотом.

И звучание его хохота подсказало ему, что произошли изменения. Хохот рвался вверх свободно, не отталкиваясь более эхом от железной крышки, прикрывающей единственный вход или выход из ямы. В следующую минуту он почувствовал на лице прикосновение холодного ночного воздуха.

Он встал на ноги, вспотев от волнения. Услышал металлический скрежет железной крышки, которую двигали. Потом увидел благословенное мерцание звезд.

– Нос!

– Здесь я! – рассмеялся он. – Вы думали, я вышел на прогулку?

– Веревку, – прошептал голос наверху. – Спускаю веревку. Держи!

Он бесконечно долго искал в темноте веревку. Потом неожиданно она коснулась его лица. Он поймал ее и дернул. Тогда его стали вытягивать наверх. Грубые руки подхватили его и вытащили.

– Вот тебе мешок, – сказали ему. – В нем хлеб и сыр. И

еще бутылка вина. Подарок от сержанта Лампа...

– Ламп! – ахнул Жан.

– Да. А откуда, ты думаешь, мы достали веревку и еду? Охранники оставили все это там, где мы могли найти. Мешок наполовину набит бумагами, которые они хотят, чтобы ты представил Штатам...

– Вы хотите сказать, они помогают мне бежать? – задохнулся от волнения Жан.

– Не все. Это три охранника, выходцы из Сен-Жюля. Один из них говорил нарочито

громко, чтобы мы могли слышать его: “Если Марен хорош для моих односельчан, то он хорош и для меня!” И Ламп с ними. Он ничего не сказал нам впрямую... просто устроил все... Дверь камеры не заперта. Внешняя дверь тоже. Мешок, веревка и эта палка лежали там, где мы могли найти их. И замок на крышке ямы висел так, как будто закрыт, а на самом деле не защелкнут...

– Спасибо им! – сказал Жан.

– Скажи спасибо себе, Нос, твои речи их убедили. А теперь поторапливайся. Тебе лучше оказаться подальше отсюда, когда рассветет. Не думаю, что они будут гнаться за тобой – во всяком случае, не там, где, как они думают, можно найти тебя.

– Спасибо, друзья, – сказал Жан. – Вы даже не знаете, как я вам...

– Заткни свою пасть, Нос, и поторопись. Нам твои благо-

дарности не нужны. Просто когда будешь в Париже, скажи про нас...

Они всей кучей подошли к стене. Жан остановился и крепко пожал каждому из них их мускулистые руки. Потом они подсадили его на стену и передали ему мешок и палку. Жан перебросил все это за стену.

– До свидания, друзья! – прошептал он и прыгнул.

Он прижался к земле, прислушиваясь. Он не имел никакого представления о том, сколько сейчас времени, а это ему было необходимо. Как все арестанты, он знал примерно, когда стража совершает обход. При каждой из своих попыток побега он представлял себе промежутки в их обходах, так что оказывался довольно далеко от каторги, когда они ловили его. Но сидение в яме нарушило его представление о времени. Он не знал, где сейчас находятся охранники.

Самое плохое, что он оказался не на той стороне тюрьмы. Он думал пробираться вдоль берега моря к Марселю и Вилле Марен. Это был самый короткий путь и при обычных обстоятельствах самый опасный. Но судя по тому, что рассказывали каторжники, помогавшие ему бежать, обстоятельства теперь стали совсем необычными.

Надо рискнуть, решил он, и двигаться в темноте. Решение обойти стены тюрьмы, чтобы выйти к морю, вместо того чтобы сразу уходить в горы, по крайней мере удваивало риск натолкнуться на охрану. И будь я проклят, но здесь нет ни скалы, ни куста, за которыми я мог бы спрятаться. Придется

бежать и молить Бога, чтобы охранники прошли мимо.

Он шел очень спокойно, ступая как кошка. Это спокойствие достигалось огромным напряжением нервов. Чтобы идти спокойно, нужно было идти медленно, а инстинкт требовал бежать и как можно быстрее. Жан дрожал, а сердце его стучало в темноте как барабан.

Когда это случилось, у него не оказалось времени ни на что. Двое охранников почти столкнулись с ним, выйдя из-за угла, так что он даже не мог заранее увидеть свет из фонаря до того, как они оказались прямо перед ним. Мускулы его ног напряглись. Он уронил мешок, каблуки его башмаков вонзились в землю, но он сдержался. Бежать было равносильно самоубийству. Здесь, на этом плоском пространстве, самый плохой на свете стрелок попадет ему в спину раньше, чем он пробежит пять ярдов. Он остановился, выжидая. Когда они были непосредственно перед ним, он очень спокойно сказал:

– Добрый вечер, господа.

Дула мушкетов уперлись ему в грудь. Один из охранников поднял фонарь и осветил лицо Жана. Жан стоял, обливаясь холодным потом.

Они ничего не сказали в ответ. Один из них посмотрел на другого. В свете фонаря Жан мог видеть, как тот медленно ухмыльнулся.

– Могу поклясться, что слышал какой-то шум, – громко произнес он. – А ты, Рауль?

Второй охранник посмотрел на Жана и подмигнул левым глазом.

– Я ничего не слышал, – решительно ответил он. – От всех этих политических разговоров ты, Эбер, стал совсем нервным. Пошли, нам нужно закончить обход. А то ведь некоторые из этих чертей могут подумать, что сегодняшняя ночь подходящая для побега...

Они закинули свои мушкеты за спины и обошли Жана, оставив его стоять.

Какое-то время он чувствовал себя буквально без сил и не мог пошевелиться. Когда же наконец тронулся с места, то смело зашагал по направлению к морю. И только когда уже был на расстоянии по крайней мере одного лье от тюрьмы, он остановился и позволил себе расхохотаться.

Рано утром он сидел на берегу моря и жевал корку хлеба. “Предстоит идти дней пять, – подумал он, – возможно, шесть. И у меня нет ни единого су, чтобы оплатить проезд на дилижансе. Даже если бы у меня были деньги, при том, как я одет, мне придется ехать в *carosse*¹³, и будь я проклят, если это будет быстрее, чем идти пешком... Если мне удастся миновать Марсель, я смогу добраться до замка Граверо дня за два-три...”

Он поднес руку к лицу, пощупал свою густую черную бороду и медленно покачал головой. В таком виде – нет. С бородой, когда от него пахнет как от козла, а выглядит он как

¹³ Карета (*фр.*)

черт, вылезший из ада, – нет. Такое лицо, как мое, нужно хорошенько выбрить, необходим приличный костюм, чистый воротник. В прошлом Николь была погружена в романтический сон. Но никакой сон не может тянуться так долго. Для нее это будет слишком тяжелое потрясение...

Он медленно поднялся и зашагал не слишком поспешно, но и не очень медленно, предвидя, что идти придется весь день. К полудню он уже шел не один. Дорога была забита бродягами, мужчинами, женщинами и детьми, все такие же грязные и оборванные, как и он. К концу его запас хлеба и сыра, которого должно было хватить до конца путешествия, иссяк: он не мог видеть голодные глаза детей.

На второй день он свернул с дороги и пошел полями.

“Если у меня нет еды, чтобы дать им, – подумал он с горечью, – я по крайней мере не обязан смотреть, как они умирают с голоду”.

Однако к концу дня он понял, что ему самому грозит голодная смерть. Продвигаясь лесами и заброшенными полями, оставленными хозяевами и стоящими необработанными, ибо даже при самом благоприятном урожае поля не могли вырастить столько, чтобы хозяин мог оплатить налоги, он чувствовал, как убывают его силы. Если бы остановиться, передохнуть, голод и жажда не так мучили бы его, но он был одержим, его гнала вперед ярость.

Он должен вернуться в прошлое, должен связать воедино порванные нити своей жизни. Он должен найти Николь и

после этого занять свое место в преобразовании нации. Он ощущал, что возвращается к жизни, воскресает для жизни.

Он шагал все быстрее и быстрее, хотя его пустой желудок требовал пищи, а язык распух от жажды.

Впрочем, жажда мучила его недолго. На пути ему попадались ручьи, из которых можно было напиться. Но к наступлению ночи боль в желудке стала непереносимой. Голод гнал его вперед, хотя он шатался от усталости как пьяный.

Он уже готов был сдаться, лечь и уснуть, чтобы не чувствовать голод, когда увидел первые огни деревни. Сначала ему попался замок владельца этой деревни, но он знал, что здесь лучше не просить еды. В лучшем случае стражи сеньора прогонят его от дверей палками, в худшем могут отдать в руки жандармов, согласно закону о бродяжничестве. А я, сухо улыбнулся он про себя, уже хлебнул тюрьмы вдосталь.

Он шел мимо деревенских домов. По их виду он предположил, что здесь живут зажиточные крестьяне, а может, эти дома принадлежат буржуа, разве мало могло быть причин для их покупки. Возможно, поблизости пролегает оживленная дорога или канал, по которым возят товары, и этим объясняется присутствие здесь торгового сословия. Во всяком случае дома были каменные, прочные, добротнo построенные, а судя по свету из окон, жители могли себе позволить траты на свечи.

И все-таки он колебался, прежде чем постучать в какую-либо дверь. Он представлял себе, какое впечатление мо-

жет произвести на его появление на удивленного хозяина дома.

Если бы, размышлял он, заросший бородой разбойник с изуродованным лицом, в грязных лохмотьях постучал ко мне в дверь, я схватился бы за пистолет прежде, чем успел бы открыть рот. Лучше идти дальше – искать более удаленный дом, чтобы, если они начнут кричать, у меня оставался шанс убежать.

Через несколько минут он обнаружил то, что искал, – дом, стоявший в стороне от дороги, более внушительный, чем остальные. Он направился по дорожке к входной двери, когда вдруг она распахнулась и из нее выбежали трое мужчин. Они пустились бежать, но бежали неуклюже, потому что были нагружены множеством вещей.

Жан шагнул вперед и занес свою тяжелую палку.

“Повезло! – ухмыльнулся он. – Я заработаю еду и даже деньги, если моя догадка верна... Хозяева будут, благодарны мне за все, что я им верну из того добра, которое уносят эти воры...”

Он вышел на дорожку, обрушивая на их головы глухие удары своей дубинки.

– Жандармы! – завопил один из воров. – Бежим!

Жан отступил, чтобы пропустить их, ибо добился всего, что ему было нужно. Бандиты, опасаясь, побросали все награбленное.

Жан остановился и подобрал кое-что из брошенного. Сре-

ди этих вещей нашелся кошелек, приятно увесистый. Он взял его и столько вещей, сколько мог унести в руках, и пошел к двери. На его стук никто не ответил.

Наверное, хозяев связали, решил он. Тогда он плечом открыл дверь и вошел внутрь. Свечи еще горели, но дом выглядел пустым. Жан Поль двинулся дальше, но никого не увидел, пока не дошел до столовой. Хозяин дома, крепкий буржуа, лежал на полу в луже собственной крови. Один из бандитов раскрыл ему голову железной решеткой для дров в камине. Его жена лежала неподалеку от него. Она погибла от удара ножом. Из ее раны вытекло совсем немного крови.

Жан Полю подумалось, насколько изменили его годы, проведенные в тюрьме. Раньше бы мне от такой картины стало бы плохо, а теперь... теперь мне нужно сделать свое дело.

“Прежде всего еда. Кладовая этого буржуа оказалась весьма богатой. Жан уселся на кухне в нескольких ярдах от трупов убитой супружеской четы и съел холодную курицу с хлебом и зеленым горошком, запивая это хорошим вином. Потом он вышел из дома и собрал украденное бандитами. Среди вещей была и приличная одежда. Жан примерил сюртук убитого, он пришелся ему впору, потому что убитый буржуа был плотным мужчиной, короткими оказались только рукава.

Единственный огонь в доме горел в камине в столовой, где лежали трупы. Разжигать другой огонь у него не было времени. Он повесил над очагом котел с водой и, пока она

грелась, снял с себя все лохмотья. Потом тщательно вымылся и воспользовался бритвой хозяина.

Когда он покидал дом, проделав за час все, что было необходимо, его шансы на дальнейшее благополучное бегство сильно выросли. Теперь он был прилично одет, если, конечно, никто не обратит внимания на то, что рукава короткие, а штаны широковаты и тоже короткие. Ему повезло: ноги убитого были больше его ног, так что башмаки оказались вполне подходящими. В кармане у Жана звенело достаточно золота, чтобы оплатить проезд на самом быстром дилижансе, а также чтобы покупать еду и платить за ночлег во время всего путешествия. Вот шляпа покойника была мала, но он лихо заломил ее на одно ухо, зная, что путешествовать без шляпы – значит привлекать к себе внимание. Денег он взял не больше, чем ему понадобится, чтобы добраться до дома.

Он решил, что впоследствии осторожно выяснит ситуацию и вернет вещи наследникам, если такие имеются... потому что, каковы бы ни были его грехи, воровства среди них до сих пор не числилось.

Еда и вино взбодрили его, так что он шел всю ночь, пробираясь к большой дороге, с которой раньше свернул. Как раз перед рассветом он дошел до большого города, расположенного у самой дороги.

Он остановился, не доходя до города, завернулся в теплую накидку, взятую у убитого, улегся в поле и спал, пока не взошло солнце. Проснувшись, он выждал еще два часа, чтобы

войти в город не слишком рано и постараться там выяснить все, что ему нужно.

Удача не изменила ему. В полдень он уже с большим комфортом ехал в быстром дилижансе. Через полтора дня он уже был в Марселе. Он нанял лошадь и отправился верхом к Вилле Марен, добравшись туда через два часа после наступления темноты.

Вилла стояла неосвещенная. Жан поднял бронзовый молоточек и сильно ударил им. Потом еще раз. Потребовалось пять минут ожесточенного стука, прежде чем появился слуга.

Державший зажженную свечу слуга задрожал, увидев его лицо.

– Позови хозяина, – скомандовал Жан. – Скажи господину Анри Марену, что его приехал повидать друг.

– Но... месье... – стал заикаться слуга, – месье Марен умер два года назад. Упокой, Господи, его душу...

– Аминь, – прошептал Жан, и комок застрял у него в горле. Несмотря на все противоречия, существовавшие между ними, он любил своего шумного суетливого отца.

– Ну, а месье Бертран? – пробормотал он.

На слугу явно произвело впечатление, что гость знает членов семьи по именам.

Когда Бертран в конце концов появился в ночной рубашке и колпаке, Жан был поражен – его брат выглядел уставшим и постаревшим.

Бертран устался на пришельца, явно не узнавая его.

– Кто вы, дьявол вас возьми? – проворчал он.

– Ну, Берти, – рассмеялся Жан, – разве так приветствуют брата?

Именно этот смех помог Бертрану узнать его.

– Жан! – задохнулся он. – О, Боже! Что они сделали с твоим лицом?

– То, что смогли, – сухо сказал Жан. – Однако, Берти, ты мог бы и пригласить меня войти...

– Ну, конечно, конечно, заходи, – нервно выговорил Бертран. – Я... мы отказались от всех попыток... мы изо всех сил старались освободить тебя, но...

– Знаю, – серьезно сказал Жан, – власти, которые нельзя беспокоить такими пустяками.

Он прошел мимо брата в холл, теперь уже освещенный, так как старый слуга, пока они разговаривали, зажег канделябры.

– Бог мой! – вздохнул Бертран. – Как ты изменился...

– Я знаю, – отозвался Жан. – Расскажи мне об отце.

– Он... он рухнул сразу же после того, как тебя взяли, – горестно сказал Бертран. – Думаю, он любил тебя больше, чем признавался даже самому себе. Вероятно, больше, чем всех нас вместе взятых. Он все повторял, как ты похож на мать. Он истратил целое состояние, пытаясь освободить тебя. Деньги они брали, а потом отделялись извинениями. Потом, когда Тереза уехала от нас, а все его усилия оказались

тщетными, его сердце не выдержало. В последнее время он даже забросил торговые дела...

Бертран смотрел на брата, и в его маленьких глазах явно проступали печаль и гнев.

– Черт тебя возьми, Жан! – со страстью вырвалось у него. – Я все думаю, стоишь ли ты того? Потому что, что бы ни болтали на латыни эти дурачки доктора, отец умер от разбитого сердца...

Жан посмотрел на Бертрана, глаза его улыбались.

– Ты мог бы избавить меня от этого, Бертран, – наконец выговорил он.

– Прости, – пробормотал Бертран. – Это потому, что мы так много пережили... Но ты, конечно, тоже. Ты, должно быть, голоден. Я скажу Мари...

– Нет, спасибо, – тихо сказал Жан. – Сейчас я не могу думать о еде. Завтра, может быть. Все, что мне сейчас нужно, это постель, хотя сомневаюсь, что могу заснуть...

Бертран подозвал старого слугу.

– Проводи месье Жана в его старую комнату, – сказал он. Потом обратился к Жану: – Увидишь, там все осталось по-прежнему. Отец на этом настаивал...

И вот тогда он увидел слезы в глазах Жана.

О, Боже, подумал он, у него после всего, что он пережил, есть еще сердце.

Однако прошла целая неделя, пока Жан смог отправиться в замок Граверо. Задержало его простое обстоятельство

– ни один старый костюм не налезал на него. Плечи его раздались так, что не вмещались ни в один сюртук. От разработанных мускулов рук и ног рукава и штаны просто лопались. А на портного не действовали никакие уговоры. Старик был прежде всего мастером до мозга костей и категорически отказывался торопиться.

Эту неделю ожидания Жан Поль был чрезвычайно занят. Днем и ночью он запирался с Пьером дю Пэном и другими представителями местных крестьян. Эти заседания в домашнем халате, как он, смеясь, называл их, осложнялись тем, что им приходилось в процессе записей и их редактирования все ужимать. Жалобы жителей Сен-Жюля оказались столь многочисленными, что эти тетради заняли целую полку. К счастью, в них многое повторялось, хотя частенько жалобы излагались так, что требовалось довольно долго в них разбираться, чтобы обнаружить, что речь идет об одних и тех же вещах. Но Жан был хорошо подготовлен для такой работы. Он писал даже лучше, чем говорил, и врожденное чувство формы помогало ему превратить жалобы Сен-Жюля в требуемый документ, отличавшийся к тому же превосходным стилем.

Вскоре он, однако, понял, что на то, чтобы довести этот документ до совершенства, потребуются недели, а возможно, и месяцы. Король все еще не объявлял дату первого заседания Генеральных Штатов, так что Жан надеялся, что время у него будет.

Но когда его туалет был готов, никакие политические дела не могли удержать его. Он встал рано утром и оделся особенно тщательно. Он надел хороший коричневый сюртук с кисточками и такого же цвета штаны. Отличные английские ботинки для верховой езды из темной кожи закрывали ноги почти до колен. На шею он повязал платок из белого шелка. А вот чтобы привести волосы в порядок, потребовалась помощь лакея. За время, которое он провел в тюрьме, пудра совершенно вышла из моды, кроме того, Жан всегда терпеть ее не мог. Его собственные черные волосы, постриженные по моде Кадоган, выглядели прекрасно.

Поскольку уже было холодно, он надел английский редингот с четырьмя или пятью пелеринками на плечах и на спине. Перчатки и шляпа с низкой тульей и плоским верхом, ставшая модной во Франции благодаря американскому послу доктору Бенжамену Франклину, завершали его туалет.

Он оглядел себя в зеркало и остался доволен. Одет он был не кричаще, но достаточно богато. Этот туалет даже смягчал впечатление от его изуродованного лица. На самом деле он испытывал смутную уверенность, что впечатление будет еще сильнее. Когда он ходил в лохмотьях и шрам выглядывал из-под грязной нечесаной бороды, он придавал ему разбойничий вид. Но по контрасту с его джентльменской внешностью, при тщательно причесанной шевелюре, его необычное лицо представлялось интересным, даже пикантным.

Таким увидела его однажды Николь, подумал он. Дай Бог,

чтобы она и сейчас так считала...

В замке Граверо он с облегчением узнал, что Жерве ла Муат в Версале. Его это не удивило. Большинство аристократов, обладавших хоть каким-то положением, продолжали разоряться в омуте придворной жизни и искусственном раю Людовика XVI. Не удивило его и то, что Тереза оставалась в замке. В Версале любая жена оказывалась лишней, а незнатного происхождения – тем более...

Но когда он увидел сестру, спешившую ему навстречу с распростертыми худыми руками, гнев и печаль овладели Жаном. Вид Терезы потряс его. Она выглядела жалкой. Ее черные глаза казались неестественно большими на худеньком лице, а синие круги под ними, знак горя и боли, оттеняли их еще сильнее. Даже с другого конца холла он мог видеть ее выступающие скулы, жилистую шею. Мгновение спустя он уже знал, в чем дело. Смерть. Эта женщина, эта незнакомка, которая была его сестрой, умирала.

И от той же болезни, мрачно подумал Жан, которая унесла отца. О, Боже! Я заставлю его заплатить за все!

Не доходя футов пяти до него, Тереза остановилась. Жан мог видеть, как дрожит у нее подбородок.

– Твое лицо! – вырвалось у нее. – О, Жан, твое лицо!

И она бросилась к нему, прямо в его объятия.

– О, Жан, Жан, Жан, – всхлипывала она, – мой бедный, мой дорогой, что они с тобой сделали?

– Кроме лица, ничего, – тихо сказал он, – а это не имеет

такого уж значения. Вопрос, сестренка, в другом. Что случилось с тобой?

Сидя в *petit salon*¹⁴, она рассказала ему. Медленно, с большими паузами, подыскивая нужные слова.

– Жерве не груб, во всяком случае, физически. Поверь мне, Жан. Он... он никогда не ударил меня, никогда не обращался со мной иначе, как с величайшей учтивостью. Да, это, наверное, правильное слово. Учтивость, граничащая с церемонностью. О, Жан, Жан, я чужая для моего мужа – не жена!

Жан подождал, пока она справится со слезами.

– Я... я хочу детей. Не думай обо мне, что я бесстыжая, Жан, когда я говорю такие вещи. Но ты мой брат и светский человек. Чтобы... чтобы иметь детей... нужно...

– Нужно проделывать некоторые вещи, – мягко продолжил за нее Жан, – которые между женатыми и любящими людьми естественны, замечательны и прекрасны в глазах Бога... и Жерве... не делает?

– Нет, не со мной, во всяком случае! Я вижу его с перерывами в три месяца, шесть месяцев, последнее время с перерывом в год. В редких случаях, когда у него не оказывается более интересного партнера и он снисходит до того, чтобы спать со мной, он прибегает к приемам, чтобы предотвратить зачатие. Он никогда не бывает со мной недобр. Он искренне удивился, когда я упрекнула его насчет его актрис, танцов-

¹⁴ Будуар (*фр.*)

щиц – например этой Люсьен, Жан, – он по-прежнему видится с ней. Все эти годы она, как ни одна другая женщина, владеет его сердцем. Думаю, она очень умна. Ни с кем другим его отношения не тянулись так долго...

– Да, она умна, – мрачно сказал Жан. – Продолжай...

– Беда в том, что я... я люблю его, Жан. В моих глазах он, как и раньше, обаятелен и прекрасен. Думаю, у нас нет детей, потому что он не хочет иметь наследника от женщины наполовину незнатного происхождения. Кроме того, есть проблемы с деньгами... он растратил мое приданое за год, а потом и все, что мог одолжить или выжать из отца и Бертрана... Я в конце концов положила этому конец. Это было после того, как я выяснила, что все его обещания освободить тебя – не больше чем обещания. Мы рухнули под горой долгов, Жан. Я не могу больше ездить за покупками, так как не могу выдерживать угрюмые взгляды, а порой наглое пренебрежение со стороны торговцев. Если бы я время от времени не расходовала деньги, которые мне тайком присылает Бертран, чтобы я могла расплачиваться с некоторыми долгами, я ходила бы голая и голодная...

– Оставь его! – зарычал Жан. – Уедем домой и будешь жить с нами. Всего, что ты рассказываешь, достаточно, чтобы добиться расторжения вашего брака папой римским. Тогда ты сможешь выйти замуж за какого-нибудь хорошего человека, который...

– Нет, Жан, – прошептала она, – нет, брат мой. Я никогда

не оставлю моего мужа, только моя смерть...

– О, Боже на небесах! – вырвалось у Жана.

– Не богохульствуй, Жан, – тихо сказала Тереза. – Ты знаешь, я этого не люблю. Кроме того, ты еще не спросил меня про Николь...

У Жана перехватило дыхание, и глоток воздуха застрял где-то в горле.

– Ты... ты знаешь? – в конце концов выдавил он из себя.

– Она рассказала мне. Я думала, что знаю тебя. Это было так очевидно, потому что ты мой брат. Однако, слушая ее вновь и вновь, я удивлялась, как этот человек или дьявол мог возбудить такую любовь?

– Где она? – прошептал Жан. – Я поеду...

– Нет, Жан. Нет, мой дорогой. Ты не должен ехать к ней. Понимаешь, мой бедный брат, она замужем. Замужем за хорошим человеком, который уважает и любит ее. У них... двое детей. Мальчик и девочка, Жан! Не смотри на меня так! О, Жан, Жан...

Но он уже запрокинул голову, и из его уст вырывались раскаты сатанинского хохота.

Она смотрела на него.

– Ты... ты можешь смеяться... над этим?

– Над этим, – пробормотал он, – над собой, над всем миром. “Как этот человек или дьявол, – передразнил он ее, – мог возбудить такую любовь?”

– Но она любит тебя, – сказала Тереза. – Она в этом от-

ношении лохожа на меня. Она будет любить тебя до конца своих дней. Вот почему я прошу тебя не видеться с ней. Не надо делать ее жизнь тяжелее, чем она есть...

– Тяжелее? – усмехнулся Жан. – Быть замужем за хорошим человеком, который любит и уважает ее? Которому она родила двух детей?

– О, Жан, почему вы, мужчины, так глупы? Ее заставили выйти замуж. Если бы Жерве позволил ей выбрать между замужеством и монастырем, я знаю, она предпочла бы постриг. Но он не дал ей такого шанса. Единственное, что он ей разрешил – это выбирать из числа ухаживавших за нею...

– И кого же она выбрала? – прошептал Жан.

– Дальнего родственника, Жюльена Ламона, маркиза де Сен-Гравер.

– О, Боже, – выдохнул Жан. – Мой двойник!

– И знаешь, что еще? Когда я увидела его в первый раз, я сразу поняла, почему она выбрала его. Это поразительно, как он похож на тебя. Дети, особенно мальчик, вполне могли бы сойти за твоих. Я... я очень люблю Жюльена. Молю Господа, чтобы Жюльен никогда не узнал, почему она так настаивала, чтобы их первенца назвали Жан...

Жан встал.

– Я должен увидеть ее, – сказал он. – Не хочу причинять ей неприятности или заставлять ее повторять клятвы – хотя она давала эти клятвы. Но я люблю ее, сестренка, люблю всем сердцем. Люблю больше самой жизни. Ты должна

понять это. Возможно, я никогда больше ее не увижу. Но я должен увидеть ее, Тереза. Должен.

– Я знала, что ты это скажешь, – вздохнула Тереза. – Они живут неподалеку отсюда. Николь просила Жюльена купить дом поблизости, чтобы она могла навещать меня. Она единственный и настоящий друг, какой у меня есть. Мы... мы утешаем друг друга.

Она замолчала, глядя на него.

– Поезжай к ней. Жюльена нет дома – он в Версале. Он не хотел ехать. Думаю, она время от времени отсылает его, чтобы иметь возможность спокойно помечтать о тебе. Жан, Жан, я спрашиваю себя, заслуживаешь ли ты такой любви?

– Я тоже задаю себе этот вопрос, – отозвался Жан. – Расскажи мне, как туда проехать.

Час спустя, ожидая в другом холле, он не мог разобраться в своих мыслях, так стучало его сердце. Он слышал детские голоса, и при мысли об их зачатии тысячи мучительных смертей раздирали его сердце. Потом раздался ее ясный, мелодичный голос:

– А теперь, мои любимые, спать. Мама скоро вернется, как только посмотрит, что там за странный господин...

После этого она спустилась в холл и замерла. Одной рукой она схватилась за горло и застыла так. Кровь отхлынула у нее от лица. Побелели даже губы.

“О, Боже, Боже, только бы она не упала в обморок”, – подумал Жан, потом очень медленно улыбнулся.

– Теперь, когда вы увидели этого странного господина, мадам маркиза, – пошутил он, – вы можете вернуться к своим маленьким любимым детям...

– Жанно! – вырвалось у нее. – О, Жанно, Жанно, Жанно... Они ведь говорили, что ты умер!

С этими словами она пробежала через весь холл и оказалась в его объятиях.

И тут Жан понял, что за всю жизнь никто его не целовал так. И никогда не будут целовать, проживи он хоть тысячу лет...

Он осторожно отвел ее руки и слегка отодвинулся от нее.

Она повисла у него на руках, лицо ее было блее смерти, слезы текли по щекам, все лицо оказалось мокрым, и крупные слезы сверкающими бриллиантами стекали с подбородка, образуя на шее ручейки. Он чувствовал, как она дрожит. Поэтому, когда он ее отпустил, она беззвучно упала на пол и осталась лежать, сотрясаясь в рыданиях.

Он помог ей подняться по лестнице в спальню. Там он уложил ее на постель и сел рядом.

Она с трудом подняла руку и водила ею по его лицу, словно для того, чтобы удостовериться, что это на самом деле он. Ее прикосновения были легки, как ветерок, но они разрывали ему сердце.

“Еще мгновение, и я тоже начну плакать, – мысленно застонал он, – а это будет плохо, очень плохо”.

– Я не говорила Терезе, – прошептала она, – я решила, что

у нее хватает огорчений. Жерве сказал мне об этом шесть месяцев назад. Вот почему я отослала Жюльена, чтобы никто не мешал мне спокойно пережить свое горе. Если бы не дети, я сошла бы с ума... или умерла тоже, как говорил мне о тебе Жерве...

– Действительно, было бы лучше, если бы Бог прибрал меня! – вырвалось у Жана.

– Нет, Жанно, нет, мой любимый, моя единственная любовь. Это счастье, быть живой и в том же мире, что и ты, но знаешь, что я не свободна уйти с тобой, как я хочу – а я хочу этого, Жанно, так хочу, так хочу! – из-за детей. Ты понимаешь меня, мой Жан, это тяжкая участь...

Она смотрела на него, и глаза ее сверкали.

– Однажды я принадлежала тебе, – прошептала она, – и я могу опять быть твоей... сейчас, сегодня ночью. Жюльена нет...

– Нет, – хрипло произнес Жан. – Бога ради, нет!

Ее руки так нежно касались его лица.

– Почему нет, мой Жан? – прошептала она.

– Тереза сказала, что он хороший человек, он любит тебя, он добр к тебе. В моей жизни было достаточно предательства, маленькая Николь. Не могу этого объяснить, – шептал он, – но то, что существует между нами, нельзя испачкать вот таким способом...

Она улыбнулась ему.

– Но я люблю тебя, а не его, – сказала она. – Я... я не мо-

гу освободиться от чувства, что мои дети незаконнорожденные, потому что они не твои!

Он вдруг встал. Это было резкое, почти судорожное движение.

– Это было давно, Николь, – сказал он. – Что будет, если мы освежим нашу память? Ты хочешь, чтобы я уехал отсюда с твоим клеймом в сердце, чтобы каждый раз, просыпаясь, я умирал от любви к тебе? Та ночь кажется теперь смутной, хотя забыть ее я не могу. Но сейчас, Николь, Николь, неужели ты хочешь, чтобы мой ум и мое сердце оказались прокляты, как мое лицо?

Она закрыла глаза и затрясла головой так, что слезы из-под прикрытых ресниц брызнули в разные стороны.

– Не понимаю тебя, – всхлипнула она. – Я знаю только одно: если ты сейчас уйдешь от меня, я умру...

Он подошел и стал нянчить ее в своих больших руках, как ребенка, очень ласково целовал ее, нежно и без всякой страсти. Он чувствовал, как успокаивается ее дыхание. Она уперлась руками в его грудь и мягким движением отодвинула его прочь.

– Ты прав, Жанно, – прошептала она. – А теперь уходи... уходи скорее, пока я еще мирюсь с этим!

Через четыре часа в Марселе Жан Поль Марен был так пьян, как бывают пьяными аристократы. Он выпил огромное количество вина, пытаясь притупить свои чувства, стараясь облегчить то, что никогда уже в его жизни нельзя будет об-

легчить, – смерть в своем сердце. В конце концов под утро он, шатаясь, вышел из последнего aubeye¹⁵ и стал пробираться к платной конюшне.

Он пересекал площадь, когда неопрятная жрица греха стала приставать к нему. Она тронула его за плечо и прошептала:

– Ночь любви, мой господин? Вы выглядите одиноким...

“Одинокий? – подумал Жан. – Я умирал от одиночества, я погиб от одиночества. Но не от того одиночества, которое ты можешь облегчить... Мое одиночество, бедная roule¹⁶, не имеет цены, и избавление от него нельзя купить за все золото, какое когда-либо было добыто в мире...”

Он обернулся к ней с пьяной добротой, собираясь дать ей франк или два, и она увидела его лицо.

Она замерла, глядя на него. Ее усталые воспаленные глаза смягчились.

– Пойдем, – нежно сказала она. – С твоим несчастным разбитым лицом тебе всегда приходится покупать любовь... на этот раз ты получишь ее бесплатно... пойдем, мой раувге¹⁷. Во имя всех святых, как они должны были мучить тебя!

Жан покачивался, глядя на нее.

– Спасибо, – сказал он. – Ты добрая. Но сегодня я менее всего нуждаюсь в любви...

¹⁵ Кабак (фр.)

¹⁶ Птичка, девка (фр.)

¹⁷ Бедный (фр.)

– Тогда в другой раз, – пробормотала она. – Я всегда здесь и если...

– Нет, – сказал Жан и пошел прочь.

Он шагал по едва освещенным улицам, думая: “Полюбуйся на свою судьбу, Жан Поль Марен! Потерять единственную в мире женщину, способную любить тебя, и быть обладателем лица, которое вызывает жалость даже у проститутки...”

Пошатываясь, он шел по направлению к конюшне. Его удивило, почему вдруг свет фонарей стал размываться. И когда он поднес руку к глазам, чтобы протереть их, его пальцы стали мокрыми.

– О, Боже! – прошептал он.

Он прислонился к стене какого-то дома и стоял так, плача. А утро подкрадывалось мягкими лапками миллионов маленьких серых котят...

Теперь он был свободен. Беда заключалась в том, что он очень уставал. Он мог работать день напролет под палящим солнцем, но то, что ему приходилось делать между пятнадцатым и двадцать пятым февраля 1789 года, истощало все его силы. Сидеть в кабинете королевского адвоката Сен-Жюля по одиннадцать-двенадцать часов в день, выслушивая претензии бесконечной вереницы крестьян, рассказывавших о своих бедах, было не так тяжело физически, но все это отягощало душу и давило на нервы, создавая такое напряжение, что, казалось, еще немного, и он рухнет под их грузом.

Приходя вечером домой, ослепший от усталости, с раскалывающейся головой, он не мог заснуть. Лежа в постели и уставившись в потолок, он все еще слышал их голоса:

– Я заплатил все, что положено, сеньору. Заплатил за то, что молот зерно на его мельнице. Платил за то, что переезжал со своим урожаем через границы прихода, за то, что проезжал по мосту, и не один, а сотни раз. И бейлифы приезжали обыскивать мой дом в поисках соли...

– Потом пришла зима. Даже после не очень суровой зимы мы голодаем. А в прошлом году, говорят, Сена замерзла от Парижа до Гавра. У моей жены умер только что родившийся ребенок, и это было милосердие Божие. Видеть еще одного ребенка, плачущего от голода, – я бы сошел с ума от этого!

– Заколол быка на мясо. Когда пришла весна, моя жена и сын запряглись в плуг. Остальные дети? Умерли, ваша честь. В марте мы замочили отруби, чтобы накормить детей. У них вздулись животики, потом начался кровавый понос... Потом они умерли в судорогах от того, что ели корни, древесную кору и жмых...

– У меня было припрятано немножко золота. Но страна полна голодных, отчаявшихся людей, во главе их становятся беглые каторжники, бандиты из Италии. Они ворвались в мой дом. Они сунули ноги моей жены в огонь. Когда она начала кричать, я отдал им золото...

– Моя дочь торгует своим телом на улицах Марселя. Сын стал вором, скрывается в горах. Он принес мне несколько унций очищенной соли вместо той серой грязи, которую мы только и можем купить. Кто-то донес на меня. Наверное, друг, с которым мы делили хлеб. Бейлифы оштрафовали меня на все деньги, которые я скопил за целых пять лет. Я слишком стар, ваша милость, чтобы начинать все сначала.

– Мы бросили дом, мебель, землю и отправились бродяжничать. Пусть они все забирают! Налоги съели нас со всеми потрохами. А раз у нас нет ничего, значит, и налоги платить не надо...

О, Боже, стонал Жан, перебирая в памяти все эти жалобы. Но в конце концов он закончил эту работу – все жалобы и недовольства прихода Сен-Жюль были собраны. Он сформулировал требования народа: чтобы были уничтожены при-

вилегии; чтобы налоги взимались со всех в соответствии с доходами; чтобы было разрешено отстреливать дичь, опустошающую поля; чтобы было разрешено рубить лес, не платя за это сеньору; чтобы крестьяне могли владеть мельницами, которые мелют их зерно, прессами, что давят виноград, не платя за это налог; чтобы люди имели право собираться и передавать свои требования избранным ими представителям; чтобы было покончено с принудительными работами по ремонту дорог; чтобы отменена была церковная десятина; чтобы крестьянам вернули обширные церковные земли; чтобы люди могли покупать соль и потреблять ее столько, сколько им надо, и не платили за это налог; чтобы они избирали чиновников, особенно тех, кто имеет дело с налогами, и смещали их, если выяснится, что они берут взятки...

Все эти требования и еще сотни других Жан Поль Марен изложил своим ясным и выразительным стилем, создав документ, не уступающий тысячам cahiers, которые будут представлены Генеральным Штатам. Теперь ему оставалось только сесть в почтовую карету до Парижа, поскольку двадцать четвертого января король объявил, что назначает первое заседание Генеральных Штатов на май.

Жан Поль заранее заказал хороший черный костюм, в котором предписывалось королевским указом явиться представителям третьего сословия. Кроме того, он превратил все доставшееся ему наследство в золото, поскольку не собирался никогда больше возвращаться на Лазурный берег. Но с

отъездом он все тянул. Усталость, объяснял он сам себе, но было кое-что еще.

В нескольких лье отсюда, за Марселем, сидит женщина – наверное, плачет, уложив спать детей, которые должны были быть его детьми, но не стали. Женщина, о которой он грезил и во сне, и наяву. Женщина, которую он желает с такой страстью, которая близка к реальной, физической боли.

– Николь, Николь, – бормотал он в темноте, – голод бывает не только от отсутствия хлеба. И если человек умирает от этого голода медленнее, то тем не менее все же умирает...

Я должен поехать и попрощаться с ней, думал он, держа в руке письмо Пьера дю Пэна. Это письмо устраняло последние отговорки.

Он еще раз при свете свечи перечитывал письмо.

“Без труда нашли две квартиры на таком расстоянии одна от другой, чтобы можно было ходить пешком, хотя Париж перенаселен. Конечно, решили дело твои деньги. Имея достаточно денег, в Париже можно найти все. Марианна занята уборкой и твоей квартиры, и нашей. Обе квартиры очень скромные, но, думаю, подходящие. Твоя расположена над мебельной мастерской в Сент-Антуанском предместье, – отсюда видна Бастилия, которая одним своим видом утверждает человека в решимости свергнуть всякую тиранию...”

За исключением, подумал Жан, тирании безнадежной любви...

“Наша квартира, – читал он дальше, – находится в том же

округе. Под ней на первом этаже установлен печатный станок, который я уже наладил. Я нанял странствующих печатников, купил все необходимые материалы. Жду только твоего приезда, чтобы приступить...

Хочу предупредить тебя, чтобы твои туалеты не выглядели слишком нарядно. Парижская толпа с каждым часом становится все злее. Быть хорошо одетым достаточно, чтобы тебя обругали, поскольку хорошая одежда связывается, в представлении улицы, с аристократами и эксплуататорами, причем под последними они разумеют любого богатого буржуа. Не далее как вчера я видел, как старика лет семидесяти заставили встать на колени и целовать землю перед бюстом Неккера, о котором он отозвался пренебрежительно...

Толпа не раз заставляла меня усомниться в правоте нашего дела. Я, к примеру, спрашиваю себя: мудро ли ставить на место графа де Граверо шайку разбойников, бородатых, дурно пахнущих, убийц, которые, клянусь Господом Богом, никогда не были крестьянами, а всегда были бандитами, какими они и выступают сейчас?.. Ни одна женщина не может считать себя в безопасности. Я сопровождаю Марианну к булочнику, вооружившись пистолетами. В связи с этим убеждаю тебя взять свои пистолеты и как можно больше пуль и пороху, потому что, я уверен, они тебе понадобятся..."

Письмо было длинное, и Жан не стал перечитывать его целиком.

Завтра, решил он, поеду в Граверо проститься с моей бед-

няжкой сестрой. И оставляю ей письмо для Николь. Потому что я... я не могу! Если я увижу ее еще раз, все – ее брачный обет, все мои клятвы растают, как снег под полуденным солнцем...

Осознаешь ли ты это, любовь моя? Эту смерть, таящуюся в твоём сердце? Безмолвные крики ужаснее тех, которые исторгает несчастный, подвергающийся пыткам, потому что эти немые страдания тянутся бесконечно и спасения от них нет.

Всю мою жизнь семья и друзья были недовольны моими насмешками и моим смехом. Сколько прошло с тех пор, когда я в последний раз смеялся или хотя бы улыбался? Недели – после того как я в последний раз видел ее. Я должен положить этому конец – мы... Во-первых, письмо...

Он встал с постели, нашел чернила, бумагу, гусиные перья, коробочку с песком. Разложил все на столе и сел. Спустя два часа он все так же сидел, уставившись на почти чистый лист бумаги. Там были выведены только два слова: “Моя родная...”

Он взял перочинный нож и срезал кончик пера. Оно с самого начала было хорошо заточено, но рука у него дрожала, так что пришлось затачивать заново. Он окунул перо в чернильницу, но забыл вытереть его острие, так что капли брызнули на бумагу.

– Enter!¹⁸ – выругался он и смял лист. Выбросил его в кор-

¹⁸ Проклятье! (фр.)

зину для бумаг и положил перед собой другой.

Но на этом листе он вообще ничего не написал.

Обычно я легко пишу, подумал он с горечью, но где сейчас легкость моей руки?

Так он сидел перед письменным столом в холодной комнате, и его прошибал пот. Он стоял на пороге какого-то события и почти догадывался, что это будет. Он вспомнил, как Ивер, актер, часто бывавший на soirees¹⁹ у Маренов, ответил однажды на вопрос, испытывает ли он те чувства, которые изображает на сцене.

– Конечно, нет, – засмеялся актер. – Если чувствовать на самом деле, это парализует...

Подлинные эмоции – это страшный накал чувства, которое я испытываю, подумал он, притупляют остроту восприятия. Я даже вижу ее лицо во мраке своего сознания, и не остается слов. И все-таки я должен написать это письмо – должен!

Однако, подобно многим другим, гораздо менее красноречивым людям, все, что он смог написать, было:

“Я люблю тебя и всегда буду любить. Забудь и прости человека, который обожает тебя и подписывается навсегда. Жан”.

Утром он встал и поехал верхом к замку Граверо. Поездка заняла у него довольно много времени, потому что все дороги были забиты крестьянами и бродягами. При виде его

¹⁹ Вечеринки (фр.)

богатой одежды они начинали ворчать:

– Аристократ! Придет время, и мы покончим с такими, как ты!

Однако враждебных действий по отношению к нему не предпринимали. Это еще было впереди. У слуги, открывшего ему дверь, было белое от страха лицо. Он немного успокоился, узнав Жана.

– Что случилось? – спросил Жан. – У тебя такой вид, словно ты увидел призрак...

– Люди, господин, – прошептал дворецкий, – они становятся опасными. Уже были угрозы. Мой хозяин не очень популярен в окрестности. Благодарение Богу, госпожа так добра. Они ее обожают. Боюсь, на нас уже напали бы, если бы не она... Она в маленькой гостиной. Заходите, господин, она всегда говорит, чтобы я не беспокоился и не докладывал о вас.

Жан Поль прошел в маленькую гостиную. На звук его шагов две женщины поднялись с кресел и обернулись к нему. Тереза... и Николь!

Святой Боже, всхлипнул Жан в глубине сердца, почему она оказалась здесь сегодня?

– Жан! – воскликнула Тереза. – Я так рада, что ты приехал... Мы... мы так напуганы...

– Почему? – выговорил Жан, не в силах оторвать глаз от лица Николь.

– Августин, кучер, – ответила Тереза. – Николь говорила

мне, что это он... повредил твое лицо. Он ушел из замка и примкнул к народу. Теперь он подбивает их против нас. Они пока еще ничего худого не делали, но до нас доходят угрозы...

– А что с вашим домом? – спокойно спросил он у Николь.

– Пока ничего, – пролепетала она.

Жан почувствовал, что дрожит. Странно, подумал он, она всего-то произнесла два слова – “пока ничего”, а во мне словно кости размягчаются...

– Думаю, вы преувеличиваете опасность, – улыбнулся он. – Я знаю здешних жителей. Они хорошие люди, многие из них мои друзья...

Он умолк, заметив, как расширились синие глаза Николь, и чувствуя, как они изучают его лицо. С того места, где он стоял, он видел, как расслабился ее рот, слышал ее учащенное, прерывистое дыхание. А когда он взглянул на нее, то увидел в ее глазах невысказанное желание.

И с тобой происходит то же самое, с горечью подумал он. Господи, помоги нам обоим...

– Жанно, – спросила она, и голос ее был высок, напряжен, полузадушен, – зачем ты приехал?

– Чтобы проститься, – ответил Жан.

Она не сдвинулась с места и ничего более не произнесла. Но на расстоянии десяти футов Жан видел страдание на ее лице, видел, как затуманились слезами ее глаза, видел, как она покачнулась, как вперились ее глаза в его, не моргая, го-

воря ему все то, для чего не нужно слов, то, что стоит за словами, выше их...

– Николь, – выдавил он, – пожалуйста, я...

– Бога ради! – всхлипнула Тереза. – Подойди и поцелуй его! Не стой так!

Мгновение спустя Николь была в его объятиях, целовала его лицо, шею, его глаза своими мягкими влажными губами, прижималась к нему, и отстранялась, и вновь припадала, и он ощущал ее соленые слезы.

Он нашел ее рот и стал ласкать губами, чувствуя, как двигаются ее губы, выдавливая приглушенные слова:

– В Париж... я знаю... Тереза сказала мне... чтобы засесть в Генеральных Штатах... но, Жанно, Жанно... я не могу... я не перенесу...

Он прервал этот поток всхлипывающих слов, прижав ее рот с такой силой, которая смела всю нежность, и весь мир завертелся над их головами, исполненный ужаса, чувства утраты, яростью и мукой, пока до него не донесся полузадушенный вскрик Терезы “О, Боже!”, и он освободил Николь и отступил назад.

– Так... так будет лучше, маленькая Николь, – пробормотал он. – Если я останусь здесь, около тебя...

– Я погублю тебя, – просто сказала она. – Мы погубим друг друга.

Она смотрела на него ясными глазами.

– Ты должен ехать, – медленно произнесла она. – Я это по-

нимаю. Страну нужно спасать, и только ты и люди вроде тебя могут сделать это. Но скажи, что вернешься ко мне... скажи это... Нет, нет! Не говори мне о Жюльене! Он на самом деле такой, как говорила тебе Тереза, добрый, хороший и рассудительный... Слишком рассудительный, по-моему, потому что держится за женщину, которая не хочет его. Он отпустит меня, если только ты вернешься ко мне, Жанно... Скажи мне, что вернешься, скажи мне!

– Но как? – спросил Жан. – Как он может сделать это, Николь? Ты вышла за него замуж по своему согласию, ваш брак освящен церковью. У вас дети... Нет никаких оснований для аннулирования брака. Знаешь, как он может освободить тебя, Николь? Только одним путем. Если он умрет. Ты этого хочешь, Николь? Отвечай! Хочешь?

Она посмотрела ему в глаза.

– Да! – яростно выкрикнула она. – Ради тебя, да!

– Николь! – с трудом выдохнула Тереза.

Николь полуобернулась к ней.

– Прости меня, – прерывающимся голосом произнесла она, – я хотела бы сказать, что не это имела в виду. Но я именно это хотела сказать... в тот момент, да. Это жестоко, ужасно жестоко, хуже не бывает. Но понимаешь, Тереза, дорогая, когда дело касается Жана, я уже не отличаю хорошее от плохого. Я не отличаю день от ночи, не знаю, который сейчас час или даже какой год... Знаю только, что хочу его и когда он уедет, я на самом деле умру, но не сразу, а дюйм

за дюймом, медленно, на протяжении месяцев, наверное – пока не умру вся.

Она посмотрела, на Жана, и слабая улыбка затеплилась сквозь слезы на ее лице.

– Только едва ли я и тогда обрету мир, мой любимый. Мне кажется, я стану призрачной женщиной из легенд, которая ищет дорогу при лунном свете, заламывая свои призрачные руки, несомая ветром, призывая тебя... Ты услышишь меня, мой Жан? Ты придешь ко мне в конце концов в царство мертвых оплакивать меня?

– О, Боже! – простонал Жан.

– Уезжай, – бормотала она, – уезжай, мой Жанно, выполни свой долг. Прославь Францию и себя... и меня. Иначе мы не можем поступить, и мы оба это знаем. А теперь поцелуй меня, Жанно, быстро, и уезжай.

Она долго стояла неподвижно после того, как он вышел. Потом очень медленно обернулась к Терезе. Но слова ее были обращены не к подруге.

– Да, – шептала она, – прославь меня, мой Жан. Ибо, думаю, я вскоре обрету право числиться среди тех, кто умер за Францию. Разве я не вырвала сердце из груди и не отдала Франции дыхание, надежду... саму жизнь?

Необходимости спешить не было, но Жан возвращался к Вилле бешеным галопом. Он

подгонял коня хлыстом и шпорами, пока у того не стали заплетаться ноги. И это он, который всегда относился к животным хорошо. Постепенно его настроение изменилось – гнев перешел в нечто похожее на примирение, и это оказалось для коня спасением, потому что иначе Жан загнал бы его.

На следующий день он уже сидел в дилижансе, увозившем его в столицу. Жан Поль Марен был совершенно уверен, что эта глава его жизни закрыта навсегда.

А новая открывается, с радостью думал он, сидя вместе с господином Ревельоном, известным фабрикантом обоев, на веранде кафе Шарпантье у Нового моста. Он познакомился с Ревельоном вскоре после своего приезда в Париж. Фабрикант счел заказ на обои для квартиры депутата Генеральных Штатов достаточно важным, чтобы уделить внимание депутату лично.

Жан обнаружил, что суетливый фабрикант ему очень нравится. Господин Ревельон был воплощением доброты. Самому последнему из своих рабочих он платил двадцать пять су в день – неслыханная в Париже заработная плата. Всю страшную прошлую зиму он держал на работе все триста пятьдесят человек и платил им заработную плату полностью, хотя в действительности они отработывали ее едва ли наполовину. Либерал и филантроп, он был избран в коллегия вы-

борщиков округа Сент-Маргерит. Чем-то он напоминал Жану отца. Да, решил про себя Жан, он мне определенно нравится...

Вино в кафе Шарпантье было превосходное, и вскоре вокруг них собралось целое общество. Ревельона хорошо знали и уважали в квартале, но в центре внимания оказался Жан. Причина заключалась в том, что парижане изголодались по новостям из провинции. Из-за отсутствия вестей оттуда распространялись самые дикие слухи. Жан старался развеять самые страшные из них: нет, он знает, что ни один замок в Провансе не сожжен. Да, в Марселе были бунты, но, к счастью, они прошли. Крестьянские волнения? Да, их много, но все они незначительны...

Разговор взмывался волнами. Вот уж в чем парижане мастера, подумал Жан, так это в разговорах. Интересно, как они проявят себя, когда придет время действовать?

Сейчас он располагал временем на то, чтобы слушать, уточнять все детали картины. Вообще-то картина была тревожной, чтобы не сказать больше. Париж переживал лихорадочный взлет волнений. В каждом квартале вспыхивали беспорядки...

Он как раз собирался спросить Ревельона, какие меры принимаются, чтобы обеспечить общественную безопасность, когда заметил приближающуюся к их столику девочку. Это была маленького роста девочка с иссиня-черными волосами и необыкновенно темными глазами. Она медлен-

но шла между столиками, предлагая увядшие цветы то одному, то другому мужчине. В том, как она двигалась, что-то привлекло внимание Жана. Во всех ее движениях сквозила какая-то нерешительность, странная замедленность. Потом Жан увидел, как один из завсегдатаев купил у нее цветы, и она их протянула ему. И хотя он стоял совсем рядом, она ошиблась и протянула цветы на несколько дюймов мимо его руки. Жан Поль понял, что она слепая.

Он стал пристально смотреть на нее. Ему и раньше доводилось видеть слепых попрошайек, но эта отличалась от них. Когда она подошла ближе, он увидел, в чем отличие. Она была прелестна – совершенно прелестна. Он подверг критическому анализу это свое восприятие, будучи уверенным, что он, вероятно, единственный человек в кафе, способный так подумать. Потому что красота слепой цветочницы была совершенно иной, нежели любой другой женщины, какую он когда-либо встречал.

Ее красоте чего-то недоставало, рассудил он, и было в ней нечто особенное...

– Это Флоретта, – пояснил Ревельон, заметив его взгляд. – Все ее любят, бедняжку, недуг превратил бедную девочку в ангела...

– Вот точно, – громко произнес Жан Поль, – она как ангел. Нет, не совсем как ангел, но она не от мира сего. У нее неземная красота.

– Неземная? – переспросил Ревельон. – Пожалуй, да. Что-

то в этом определении есть. Странно, что я никогда не думал о Флоретте как о красавице. Мне по вкусу более упитанные женщины, а у этой бедняжки одна кожа да кости...

Жан заметил, что она до болезненности худа и одета в лохмотья. Но лицо у нее было как у святой, и в нем не было намека на чувственность. Зато она обладает, подумал он с глубокой жалостью, редчайшими в мире качествами – терпением и подлинной добротой...

– Позовите ее, – попросил он Ревельона.

Фабрикант посмотрел на него и пожал плечами.

– У каждого свой вкус, – констатировал он. – Флоретта, подойди сюда!

Она тут же направилась к ним, ориентируясь на звук голоса.

Когда она подошла, Жан Поль в течение нескольких секунд разглядывал ее, прежде чем заговорил.

– Твои цветы, – сказал он хрипло, – дай их мне, я возьму все.

Она отдала цветы, а он сунул ей золотой луидор – в сто с лишним раз больше, чем они стоили.

– У меня... у меня, господин, нет мелких монет, – ответила она, – я не могу дать вам сдачи...

На него произвело впечатление, как она коснулась кончиками пальцев поверхности монеты. Он улыбнулся, радуясь, что она не может увидеть его изуродованного лица.

– Не надо сдачи, маленькая Флоретта, – сказал он. –

Оставь ее себе и купи теплую одежду.

– О, я не могу! Это слишком много...

– Возьми, возьми, – повторил Жан Поль.

– Господин слишком добр, – проговорила она.

Голос у нее, заметил Жан, высокий, чистый и сладкозвучный, как звуки скрипки, и в нем звучат колокольчики.

– У меня так заведено, – засмеялся Жан. – В каждом городе я всегда встречаю человека, который приносит мне удачу. Здесь, в Париже, моей удачей будешь ты, Флоретта. Ты каждый день бываешь здесь?

– Да, господин, – ответила Флоретта, – здесь или где господин пожелает...

– Тогда стой на углу улиц Сент-Антуан и Сен-Луи каждый день в два часа, – сказал Жан, – приноси с собой букетик цветов – не бутоньерку, – и я буду покупать его у тебя ежедневно... на счастье, маленькая Флоретта, твое счастье и мое...

– Спасибо, господин, – вымолвила Флоретта, – вы очень добры...

– И не забудь купить себе теплую одежду, – напомнил Жан. – А то простудишься.

– Я привыкла к холоду, – улыбнулась Флоретта. – Мне кажется, за всю мою жизнь мне не бывало зимой тепло.

– Святой Боже! – прошептал Жан.

– Но я куплю теплое платье, и плащ, и ботинки. Это будет замечательно – тепло одеться. – Она замолчала, и ее похожее

на детское лицо внезапно выразило волнение.

– В чем дело, Флоретта? – спросил Жан.

– Я подумала, что вы одобрите мой выбор. Но потом я вспомнила, что только случайно могу купить красивые вещи, потому что не вижу, как они выглядят...

– Завтра утром в половине десятого, – сказал Жан, – я встречу тебя на том месте. Потом мы пойдем, и я выберу тебе одежду.

– Вы сами? – задохнулась от волнения Флоретта. – Спасибо вам, господин, тысячу раз спасибо!

– Не стоит благодарности, – улыбнулся Жан. – Значит, до завтра.

– До свидания, господин, – пролепетала она, – и еще раз спасибо...

Жан заметил, что Ревельон внимательно смотрит на него и что доброе, честное лицо фабриканта нахмурилось.

Ревельон был не из тех людей, которые скрывают свои мысли.

– Вы, – проворчал он, – собираетесь совратить эту бедную бродяжку?

Жан окаменел, и лицо его потемнело от гнева, так что шрам вдруг стал выглядеть белой молнией, зигзагом пересекающей лицо. Некоторое время спустя он постепенно успокоился.

– Господин Ревельон, – вздохнул он, – вы никогда не слышали о жалости?

– Простите меня, – отозвался Ревельон, – я, наверное, слишком давно живу в Париже. Видимо, наше упадническое разложение нравов не коснулось провинции. Понимаете, существуют люди с определенным складом ума, которые с удовольствием воспользуются ее слепотой и ее невинностью – ее легче втянуть в безымянный разврат. Я знаю человека, занимающего высокий пост в полиции, с которым я смело оставляю свою жену, но только не девочку десяти лет. Один знатный аристократ держит при себе двадцать пажей, красивых мальчиков нежного возраста...

– Прошу вас! – произнес Жан, чувствуя, что его тошнит от этого рассказа.

– Простите. Вероятно, есть еще Бог, несмотря ни на что. Думаю, не случайно столько бед обрушивается на наш современный Содом, который мы сами создали. Гнев Божий, месье Марен! Еще бокал вина?

– Нет, спасибо, – ответил Жан. – Мне лучше вернуться домой. Тысячи неотложных дел...

Действительно, дел было много. Его дни были заполнены, и это было очень хорошо, потому что не оставалось времени на воспоминания. Он купил Флоретте одежду – хорошую, теплую, удобную, которая выглядела не так уж и красиво, но доставила радость ее доброму простому сердечку. Марианна подогнала ее по фигуре, ибо Флоретта была так худа, что найти для нее подходящую одежду оказалось невозможным. Они воспользовались ношеной одеждой какой-то дамы. Жан

не возражал заказать одежду для своей протезе у портного, весь вопрос упирался в сроки. Если раньше на шитье одежды портному требовалась неделя – десять дней, то теперь из-за трудностей, связанных с приобретением материалов, уходило от трех до пяти недель. За это время Флоретта могла умереть от суровой мартовской погоды.

У них с Флореттой установился определенный ритуал. Каждый день он покупал у нее цветы, платя гораздо больше, чем они стоили. Через какое-то время она перестала протестовать. Она была ему гораздо больше благодарна за его общество, за те несколько добрых слов, которые он говорил ей каждый день, – они для нее были ценнее денег. Он многое узнал о ней. Она была сирота, жила одна. На самом деле она не так уж бедствовала. В парижской толпе всегда находились дамы и господа. Зимой, когда она не могла раздобыть живые цветы, она мастерила искусственные из перьев или бумаги, которую окунала в воск. Старуха-консьержка в доме, где она жила, смешивала ей краски. Но больше денег она зарабатывала, продавая живые цветы...

Ей не нужно было много денег. Она могла прожить на пять су в день, потому что очень мало ела. О том, чтобы купить одежду, не могло быть и речи. Сейчас ей впервые в жизни купили одежду. Ее лохмотья всегда были обносками из гардероба дам. Но поскольку начались беспорядки, знатные дамы перестали появляться на улицах, а так как шить она не могла, ее одежда постепенно превратилась в лохмотья.

Разговоры с ней оказались полезны Жан Полю Марену. Он страдал – вероятно, больше, чем обычные люди. Но разве его страдания могли идти хотя бы в какое-то сравнение с ее страданиями? Он потерял женщину, которая любит его, но когда-нибудь, если рана в его сердце заживет, может найтись другая. Эта же слепая девочка никогда не знала любви, у нее нет дома, нет друзей – и вообще тысячи вещей, которые он воспринимает как должное.

Его тревожило, как много он стал для нее значить. Она начинала улыбаться, когда он еще был в нескольких ярдах от нее, независимо от того, идет ли он один или с людьми. Он спросил ее об этом.

– Я узнаю ваши шаги, господин Жан, – объяснила она. – Шаги каждого человека отличаются от других – вы этого не знаете? Думаю, мы, слепые, слышим лучше, чем зрячие. Наше обоняние тоже острое. Наверное, природа старается заменить нам зрение...

Жан посмотрел на нее.

– И как же я пахну? – засмеялся он.

– Хорошо. Так... так чисто. Вы моетесь мылом с замечательным запахом, кроме того, от вас пахнет вашим табаком, и этот запах смешивается с запахом вашей одежды. У вас очень хорошая одежда, потому что так пахнет только самая лучшая шерсть. И вы не употребляете парфюмерии. Это странно. Большинство благородных господ употребляет...

– А я не благородный господин, – сказал Жан.

– О, нет, вы благородный господин! Наверное, вы не благородного происхождения, потому что вы очень отчетливо выговариваете французские слова, – без всяких штучек, которые так любят аристократы. Но вы говорите замечательно! Ваш голос, как музыка – глубокий и богатый, и в нем совсем нет резкости. Думаю, в вас вообще нет резкости. Вы помогаете потому, что вы добрый, по-настоящему добрый, а не так, как многие, которые, помогая попрошайке, чувствуют себя могущественными и важными господами.

– Я помогаю тебе потому, что ты мне нравишься, – сказал Жан.

– И вы мне нравитесь. Я просыпаюсь по ночам в страхе, что придет день, когда вы уедете из Парижа. Я... я буду так одинока. Наверное, я всегда была одинока, но раньше я никогда об этом не думала... – Она вздохнула. – Странно, я мечтала иметь когда-нибудь друга, настоящего друга, каким вы стали для меня. Думала, это сделает меня счастливой...

– Ну и что, этого не произошло? – спросил Жан.

– Да, конечно! Я удивительно счастлива, но в то же время мне грустно. Понимаете, рядом с этим счастьем все остальное выглядит мрачно – быть одной так долго и думать...

– О чем же ты думаешь, маленькая Фло-ретта?

– Больше всего о вас, – сказала она, и это его тронуло, потому что он знал – в ней нет никакой фальши. – О вас и о будущем, о котором я раньше не разрешала себе думать. А теперь я все время думаю о будущем, и это заставляет меня

грустить. Что будет со мной, когда вы уедете обратно в свой родной город?

– Я не вернусь туда, Флоретта, – сказал Жан. – Я собираюсь остаться здесь.

Он замолк, не договорив того, что собирался сказать, ибо его поразило, как озарилось ее лицо. Он напомнил себе, что она слепая, потому что Флоретта не спускала с его лица своих больших черных глаз, ориентируясь на звук его голоса, но вспомнил он об этом только сейчас. Ее глаза не смотрели в одну точку, так что, если он резко отворачивал голову, она смотрела мимо. Он часто проделывал такие штуки, потому что чем лучше узнавал Флоретту, тем невыносимее казалась ему ее слепота.

Нет в этом мире справедливости, подумал он, увидев, как вновь погрузнело ее лицо.

– В чем дело? – спросил он.

– Я сейчас подумала, что вы, наверное, женитесь, даже если останетесь здесь. А ни одна жена не станет терпеть, чтобы вы тратили столько времени на разговоры со слепой нищенкой...

– А откуда ты знаешь, что я не женат? – поддразнил он ее.

– О, я знаю. Вы разговариваете и ведете себя не как женатый мужчина. Вы слишком спокойны, свободны и не обременены заботами. Женатые так себя не ведут.

– Мадемуазель Флоретта, вы просто *la clairvoyante*²⁰, – рас-

²⁰ Ясновидящая (фр.)

смеялся Жан. – А почему ты так уверена, что найдется женщина, которая захочет выйти за меня замуж, хотя я и не собираюсь...

– Не все женщины дуры, – серьезно сказала Флоретта, – одна из них наверняка поймет, как ей повезло, если она получит вас...

– Повезло? – передразнил ее Жан.

– Конечно. Во-первых, вы очень добры. Во-вторых, вы высокий...

– Какого черта, откуда ты это знаешь?

– Слышу, как ваш голос раздается... выше моей головы. Кроме того, вы сильный. Я чувствую это по тому, как вы ходите, как вы берете меня за руку, когда помогаете перейти через улицу. И еще, думаю, вы очень красивый...

– Красивый! – проворчал он. И вдруг припомнил проститутку в Марселе и странный эффект, который произвело на нее его изувеченное лицо. – А вот тут ты ошибаешься, – засмеялся он. – Я страшен, как смертный грех... нет, даже страшнее...

– Можно, я посмотрю? – прошептала Флоретта и подняла свои тонкие пальчики, чтобы дотронуться до его лица.

– Нет! – вырвалось у Жана. – Бога ради, не надо!

– У меня, – прошептала Флоретта, – у меня чистые руки. Для меня это единственный способ узнать, как выглядит человек.

– Прости, – ласково сказал Жан, – но пусть это будет един-

ственным секретом между нами, Флоретта, – я имею в виду свою внешность. Предпочел бы, чтобы ты не знала...

– Почему? – спросила Флоретта.

– Потому что я на самом деле уродлив, уродливее, чем ты можешь себе представить. Пусть лучше все останется так, как есть. А если ты будешь знать, это может кое-что изменить...

– Нет, не может, – сказала Флоретта, – но если месье предпочитает...

– Да, месье предпочитает, – отозвался Жан. – Au'voir²¹, Флоретта.

– Au gevoir, месье Жан, – прошептала Флоретта. – Вы... вы на меня не сердитесь?

– Нет, – рассмеялся Жан, – я не могу на тебя сердиться, маленькая Флоретта...

– Очень рада, – серьезно сказала она. – Тогда до завтра...

Он сам удивился силе своего внутреннего порыва, когда захотел скрыть свое лицо от Флоретты. “Какое это имеет значение? – спрашивал он себя. – Что изменится от того, будет ли эта бедная слепая бродяжка знать, уродлив я или нет? И тем не менее мне не хочется, чтобы она знала. Категорически не хочу, чтобы она знала. Не поэтому ли я так ценю эту странную дружбу? Вероятно, так оно и есть. Я опустил до того, что ищу теплоты и удовлетворения в обожании этого ребенка – меня греет, что она не может с отвращением от-

²¹ До свидания (фр.)

толкнуть меня, ужаснувшись моего лица. Однако все это зашло слишком далеко, чтобы можно было сейчас же безболезненно положить этому конец. Кроме того, бедная девочка тоже зависит от меня. Впрочем, я не вижу в этом большого вреда – двое несчастных цепляются друг за друга, чтобы противостоять безразличию мира...”

Он был так погружен в свои мысли, что забыл о ступеньке на лестничной площадке и чуть не свалился вниз через сломанное ограждение. Надо сейчас же его починить, я слишком долго откладывал. Он нашел инструменты, купил деревянные бруски в лавке на первом этаже и починил ограждение. Закончив эту работу, он рассмеялся. Сделано наспех. Пригодно только для того, чтобы предупредить в темноте об опасности. Само же оно не выдержит и веса ребенка.

Странно, подумал он, мы, буржуа, совершенно беспомощные люди. Крестьяне обладают силой и сноровкой, которые дает им их труд. Аристократы, если подумать, люди обычно сильные, потому что они занимаются спортом, верховой ездой, военными упражнениями, и только мы, буржуа, обручены с пером и бухгалтерскими книгами, вырастаем бледными, худыми, привычными к работе за письменным столом, совершенно не знакомы с физическим трудом. Я-то сильный, спасибо тулонской каторге, но я умею делать своими руками только две вещи – крушить скалы и писать...

Они с Пьером продвинули дела с газетой. Назвали они ее “Вестник третьего сословия”, и газета с самого начала стала популярной. Выходили и другие газеты, гораздо более популярные, однако все это были экстремистские листки, фактически не газеты, а памфлеты с нелепыми названиями, вроде *La Gloria in Ecelsis du Peuple*, *Le De Profundis de la Noblesse et du Clerge*, *La Semaine Sainte on les Lamentetions du Tiers Etat*²², но все они прибегали к такому высокопарному языку, что выглядели смешными.

Однако слуги, безработные, парикмахеры, торговки рыбой, каменщики, бродяги и преступники, заполнявшие улицы Парижа в эти первые недели апреля 1789 года, буквально пожирали каждое слово в этих листах. Во всех этих памфлетах было одно общее – кровожадность. Уже и во дворце Пале-Руайяль под защитой герцога Орлеанского, занявшего предательскую позицию в надежде получить выгоду от беспорядков, которые он разрешал, а зачастую и оплачивал, с целью занять королевский трон, люди, подобные Камилю Демулену, открыто говорили и писали, призывая пролить кровь.

Как ни странно, сдержанность статей Жан Поля Марена обеспечила ему широкую аудиторию. Людям умеренным просто нечего было больше читать. Пьер и Жан имели хорошую прибыль, потому что их клиенты, как правило, были

²² “К вящей славе народа”, “Из бездны воззвав дворянства и духовенства”, “Страстная неделя, или Жалобы третьего сословия” (*фр.*)

зажиточные буржуа. А Пьер, хитрый крестьянин, настаивал на том, чтобы каждый заработанный ими франк превращать в золото.

Жан много работал. Каждый день он видел Флоретту. А по вечерам сидел в каком-нибудь кафе с Ревельоном и его друзьями, и они разговаривали о политике. Этот неизменный распорядок жизни доставлял ему удовольствие. Так продолжалось до двадцать седьмого апреля. После этого он уже не видел Ревельона.

О беспорядках он узнал в субботу двадцать пятого. Он шел по улице Сент-Антуан и увидел перед обойной фабрикой толпу человек в пятьсот.

– Долой Ревельона! – орали они. – Смерть предателю! Сжечь его фабрику!

Жан подошел поближе.

– Что тут происходит? – спросил он у человека, который был одет несколько лучше остальных.

– Говорят, Ревельон вчера в ассамблее плохо говорил о народе, – ответил тот.

Жан уставился на него.

– Ревельон? – переспросил он. – Я в это не верю. У народа нет лучшего друга, чем он. Что именно он сказал?

Бородатый тип, стоявший рядом, обернулся к нему.

– А тебе какое дело, франт? – зарычал он. – Я скажу тебе, если ты так уж хочешь узнать. Этот жирный кровосос заявил, что рабочий с семьей может жить на пятнадцать су в день!

– Ложь! – воскликнул Жан. – Ревельон мой друг. Я знаю, что он платит рабочим, которые клеют обои, двадцать пять су в день.

– Ах, он твой друг? – заорал бородатый. – Смотрите, друзья! Вот один из друзей кровопийцы! Гляньте на его одежду – держу пари, он проклятый аристократ!

Не успел замереть в воздухе его крик, как вверх взметнулось штук двадцать палок.

Жан стоял, на его лице застыла ледяная улыбка.

– Ты, крыса, – спокойно сказал он, – отребье, дерьмо. Добронься до меня пальцем, и я переломуаю все кости твоего немытого тела.

Буян заколебался.

Жан пошел на него и на двадцать негодяев, стоявших позади буяна. Палки замерли в воздухе. К такому они не были готовы. Им никогда не приходилось сталкиваться с человеком, который не бежит, когда против него двадцать человек.

Когда Жан оказался совсем рядом, он неожиданно протянул вперед левую руку и схватил негодяя за ворот рубашки. Он напряг мускулы и стал левой рукой приподнимать буяна в воздух, пока носки его разбитых башмаков не зачертили по грязи. Потом Жан неожиданно отбросил негодяя в кучу его друзей. Несколько человек попадали на землю. Они стали подниматься на ноги со злобным ревом только для того, чтобы увидеть направленное на них дуло пистолета Жана.

– Не провожайте меня, – вежливо сказал он. – Последнее

время я не охотился на крыс, но всегда увлекался этим спортом. . .

С этими словами он повернулся на каблуках и пошел прочь спокойно, не торопясь. Они не тронулись с места. Он знал, что они не будут преследовать его. Всякую толпу объединяет одно общее качество – трусость.

В воскресенье уличные беспорядки усилились. В понедельник двадцать седьмого народ совершенно вышел из-под контроля. Жан оделся в одежду рабочего и смешался с толпой. Его волновало, что ни в субботу, ни в воскресенье он не видел Флоретту. Он ругал себя за то, что до сих пор не удосужился узнать, где она живет.

Толпа разражалась руганью в адрес каждого проходившего мимо священника. Народ хлынул на Гревскую площадь, неся чучело Ревельона. Они украсили чучело лентой ордена Святого Микаэла, завывали и всячески потешались, потом устроили потешный суд. Чучело было осуждено и тут же сожжено.

– К его дому! – раздались крики. – Сжечь дом этого негодяя!

Они бросились к улице Сент-Антуан. Однако там уже стояла гвардия, преградившая путь к дому Ревельона. Жан сразу понял, что толпа боится ружейного огня. Увидев направленные на них мушкеты гвардейцев, толпа шарахнулась назад, бормоча ругательства. Спустя пять минут они продемонстрировали Жану, насколько опасно в Париже прослывать

другом человека, оказавшегося в немилости у толпы.

Пройдя несколько домов, они остановились. Здесь жил фабрикант селитры, которого Жан частенько видел в обществе Ревельона. Этого оказалось достаточно. За какой-нибудь час они разграбили дом друга Ревельона, свалили в кучу на улице перед домом вещи и мебель и сожгли все имущество ни в чем не повинного человека.

Жан выбрался из толпы и вернулся в свою типографию. Там он просидел всю ночь, держа под рукой заряженный пистолет. Но толпа прошла мимо. В конце концов ему пришло в голову, что они с Ревельоном обычно проводили время в разных кафе в Сент-Антуанском предместье, а большинство бунтовщиков пришли сюда из других районов Парижа. Если не считать его собственной ошибки, когда он при них называл себя другом Ревельона, что, безусловно, было опасно, других поводов опасаться взбунтовавшейся толпы у него не было. Единственное опасение заключалось в том, что кто-то из той группки людей, с которыми он едва не схватился, мог узнать его изувеченное лицо. Случись такое, ему угрожала бы действительно серьезная опасность, но такая вероятность была невелика.

Во вторник происходило то же, что и в понедельник, только еще хуже. Толпа, заполнившая квартал, становилась все плотнее. В ней распространялись все новые слухи, оброставшие при каждом пересказе новыми подробностями. Жана больше всего беспокоило то, что большинство вновь при-

бывающих были солидные горожане, беспощадные в своей убежденности, что они сражаются за третье сословие. Грабители, бандиты, сумасшедшие, всяческие подонки были на самом деле менее опасны, понял он, чем эти добропорядочные решительные люди, сражающиеся за идеалы, хотя и ошибочные.

– Мы погибнем, – сказал Жану один преуспевающий булочник, – если не объединимся...

Теперь бунтующие были лучше организованы. Они ушли в предместье Сен-Марсо, а когда вернулись, то их стало в три раза больше. Жан узнал, что толпа увеличилась главным образом за счет добровольцев, но многие присоединились под угрозой избиения палками.

Ревельон исчез. Он бежал из Парижа ночью. Жан радовался этому. Парижская толпа была готова убить его, даже не дав ему возможности объяснить, насколько абсурдны обвинения против него.

О работе не могло быть и речи. Пьер дю Пэн засел в своей квартире с пистолетами наготове, чтобы защитить Марианну. Жан бродил по улицам, стараясь все увидеть, запечатлеть в своей памяти, чтобы потом, когда город успокоится, записать все.

У сент-антуанских ворот он наблюдал, как аристократы получили первый урок того, каким окажется в будущем их положение. Со свойственным им высокомерным пренебрежением к народным волнениям сотни аристократов и бога-

тых буржуа уехали в то утро из города, чтобы побывать на скачках. Вечером, когда они возвращались, толпа остановила их у сент-антуанских ворот. Здоровенные парни схватили лошадей под уздцы, и у дверей каждой кареты столпились мужчины и женщины с палками и самодельными пиками.

– Вылезайте! – орал они.

Великолепно одетым господам не оставалось ничего другого, как подчиниться.

– А теперь кричите “Да здравствует Неккер!”, – потребовали бунтовщики. – Кричите “Да здравствует третье сословие!” Громче, аристократические собаки! И вы, благородные шлюхи, кричите! Небось днем визжали громче, когда лошадь – ваша фаворитка – отставала от других!

Жан испытывал чувство жалости к этим надушенным и напудренным деликатным созданиям, которых заставили опуститься на колени посреди пыльной улицы. Но потом он тронул пальцами свое изувеченное лицо, и вся жалость испарилась.

Они это заслужили, подумал он. Они давно на это напрашивались...

Он устал от этого зрелища и пошел прочь. И тут вдруг с его лица исчезло напряжение, ибо он увидел Флоретту, переходившую улицу, постукивая своей палочкой по мостовой.

Слава Богу, она в порядке, подумал он и остановился, поджидая ее.

В этом заключалась его ошибка. Потому что какой-то су-

масшедший аристократ, более храбрый или более пьяный, чем его приятели, мчался сквозь это скопление людей и карет; кучер нахлестывал лошадей, желтая карета кренилась из стороны в сторону, задевая стоящие экипажи, копыта лошадей с громким цоканьем выбивали искры из камней мостовой. Жан замер, у него не осталось даже времени, чтобы крикнуть “Флоретта!”, когда обезумевшие взмыленные лошади настигли ее.

Жан бросился наперерез, видя, как ее одежда, хорошее платье, которое он купил ей, сшитое из плотной материи, не рвущейся, как ее прежние лохмотья, распласталось на передке желтой кареты, а сама она, как кукла, повисла между колесами, каким-то чудом не переехавшими ее.

Он бежал быстрее, чем когда-либо в своей жизни. Последние три ярда он преодолел одним гигантским прыжком, его пальцы схватили поводья коренника, а сам он повис на упряжи, пригибая голову лошади с неслыханной силой, в которой слились ярость и отчаяние; другой рукой он схватил поводья второй лошади, поворачивая ее в сторону, так что вся четверка вынуждена была свернуть, карета заскользила и ударилась о стену дома. Он оказался под каретой раньше, чем она остановилась, дернувшись от удара, и вытаскивал из-под нее Флоретту.

Она была без сознания, но жива. Из угла рта вытекали густая струйка крови. Он поднял ее на руки и оказался прямо перед дверцей кареты. Дверца еще не открылась, когда ему

в глаза бросилась рука, открывавшая ее, так что, прежде чем Жерве ла Муат шагнул из кареты, Жан уже был уверен, что это он.

– Посмотрите на дело ваших рук, – сказал он, и при всем спокойствии его голоса казалось, что это шпага, выдернутая из ножен.

– О, Боже! – воскликнул Жерве. – Я не видел ее, я не знал...

Жан открыл рот, чтобы ответить ему, и замер; у него застыла кровь в жилах, перехватило дыхание, комок застрял в горле. Потому что вслед за Жерве ла Муатом из дверцы кареты выглянула женщина. Высокая, вся в драгоценностях, нарумяненная, рыжеватые волосы не напудрены, зрачки карих глаз расширены, как у большой кошки, шагнувшей из света в темноту.

– Люсьена! – задохнулся Жан.

Она всегда была красива. Но тогда ее красота была неприятельской. Париж изменил ее. И поскольку она была одной из тех женщин, настолько совершенных, что даже искусственность украшала ее, она стала более чем красивой. Теперь, подумал Жан, она просто прекрасна...

Он услышал топот бегущих ног, сотен бегущих ног.

– Они ее задавили! – орали бегущие. – Флоретта, бедная, слепая Флоретта! Убить их! Убить этих аристократических свиней!

Жан освободил одну руку от своей жалкой маленькой но-

ши, схватил Жерве ла Муата за плечо и сильно толкнул его в сторону узкой улицы.

– Бегите! – прошипел он. – Бегите оба! Будьте вы прокляты, бегите!

Они в ту же секунду бросились бежать по узкой улочке, раньше чем самые проворные торговки рыбой, каменотесы, бандиты, рабочие, воришки выбежали из-за угла и увидели карету и Жана, стоявшего с Флореттой на руках.

– Где они? – заорали в толпе. – Где? Она мертва?

– Сбежали, – ответил Жан. – Она жива, но умрет, если вы не позволите мне отнести ее к врачу...

Они расступились, давая ему дорогу. Несколько женщин и один или двое мужчин пошли следом за ним. Не успел Жан отойти и десяти ярдов, как до него донесся треск ломаемого дерева, звон разбитого стекла, затем пронзительные крики, исполненные ужаса и боли. Это начали вопить лакеи графа де Граверо.

Он не стал оглядываться. Помочь он ничем не мог. Потом он услышал новый звук, вой, но в нем не было ничего человеческого, и этот вой заставил его обернуться. Он увидел, что происходит. Они убивали даже лошадей.

Марианна сотворила чудеса. На самом деле это она спасла жизнь Флоретте. Она вымыла это бедное разбитое тело, придала рукам и ногам слепой бродяжки удобное положение, влила ей в рот бренди так, чтобы та не захлебнулась, и когда Пьер вернулся с хирургом гвардии, военным врачом, при-

выкшим иметь дело с переломанными костями, тому оставалось только вправить три ребра и сломанную левую руку. Он действовал отлично, с грубоватым мастерством. К ночи Флоретта пришла в сознание и смогла даже съесть немного горячего супа. После этого она провалилась в глубокий сон.

Жан радовался, что даже непрерывная стрельба на улице Сент-Антуан не будила ее. Когда солдаты в конце концов вынуждены были привезти пушку, чтобы разогнать толпу, Флоретта приподнялась, пробормотала что-то во сне, но даже гулкие артиллерийские выстрелы не могли разбудить ее.

За то время, что Флоретта лежала без сознания, толпа разграбила дом Ревельона от крыши до подвала. Они сожгли все, чем владел этот безупречный человек, даже живых цыплят швыряли в огонь. Погромщики выпили все вино до последней капли, какое хранилось в его подвале, а когда оно кончилось, выпили несколько бочонков лака, поскольку были настолько пьяны, что не заметили разницы. Пятеро из них умерли в судорогах.

Когда отряды стражи хорватской конницы, Французская гвардия и Швейцарская гвардия прибыли туда, чтобы спасти тридцать гвардейцев, захваченных толпой, погромщики дрались, воодушевленные ревельоновским бренди. Они вновь и вновь атаковывали солдат. Были убиты две сотни бунтовщиков, более трех сотен ранены. Остановили в конце концов толпу только пушечные ядра.

– Родиться вновь, – прошептал Жан Поль Марен, сидев-

ший у своей постели и разглядывавший спящую Флоретту, – но уже другой – она уже никогда не будет той, какой была...

Затем, повинувшись неожиданному импульсу, он наклонился и слегка коснулся губами ее горячего от лихорадки лба.

“Странно, – писал Жан Поль Марен своему брату Бертра-ну, – с каким трудом человек воспринимает любые перемены. В понедельник четвертого мая Генеральные Штаты открыли свои заседания в Версале...”

Он остановился, взглянув на календарь.

“Это историческое событие застало меня два дня назад в приготовлениях. Они были весьма просты, поскольку я решил не ехать в Версаль. Погода стоит сумасшедшая, и поездки каждый день в это прекрасное обиталище короля не будут полезны для моего здоровья. Кроме того, дела в Париже требуют моего постоянного присутствия. Однако вернусь к существу.”

Мы с тобой, дорогой брат, часто и горячо ссорились из-за моего радикализма. Честно говоря, в настоящий момент мне не остается ничего другого, как униженно просить у тебя прощения и признать, что во многом ты был прав. Я знаю, что это признание удивит тебя, но то, что я увидел в Париже и вне его, привело меня к вынужденному заключению, что низвержение установленного порядка в обществе не такое простое дело...

Зло гнездится в нашем государстве, большое зло, нестерпимое зло. Однако теперь я начинаю задумываться о том, как мы сломя голову бросились осуществлять реформы, – не

подменяем ли мы то зло другим, более тяжким, даже более непереносимым злом. Для людей нашего класса пренебрежение и безрассудство аристократов было постоянным унижением, но, сравнивая сейчас это со скотской глупостью и зверской яростью черни, я напоминаю себе, что, по крайней мере, аристократы облекли свою глупость в изящные вежливые формы.

Короче говоря, твой драчун-брат обнаруживает, что он оказывается в весьма любопытной ситуации, когда во всех округах о нем говорят как об известном умеренном политике, а в некоторых его проклинаят как консерватора. Я изменился, Берти, настолько, что это поражает меня самого...”

Он протянул руку, чтобы обмакнуть перо в чернильницу. Он уже написал, по существу, все, что намеревался, но еще надо задать подобающие вопросы о здоровье Симоны, спросить о Терезе и даже о Николь, хотя, как это ни странно, ни одна из них не пишет ему. В эту минуту он посмотрел на Флоретту. Она тихо лежала на его постели с широко раскрытыми глазами. По ее напряженному лицу он понял, что она к чему-то прислушивается. Он знал, что через несколько секунд этот звук достигнет и его ушей.

– Что там? – спросил он.

– Кто-то идет, – сообщила она. – Думаю, это почтальон. Да, это почтальон. Бедняга, у него, должно быть, очень болят ноги. Я это знаю по тому, как он хромает...

Жан тут же вскочил на ноги. Он никогда не переставал

удивляться ее способностям, но никогда не ставил их под сомнение. Кроме того, это по его вине она слышала шаги почтальона. Желая получить весточку от Николь, Жан попросил старика приносить почту непосредственно к нему на квартиру, а не оставлять ее у консьержки внизу. Он, конечно, щедро давал на чай старику каждый раз, когда тот поднимался по лестнице, но сам понимал, что необходимости в этом нет. Он ведь спускался вниз по нескольку раз в день, и любое письмо к нему, даже от Николь, прекрасно может подождать до того момента, когда он пройдет мимо комнаты консьержки. Он обошел небольшую походную кровать, которую купил для себя. Пьер и Марианна предлагали забрать у него Флоретту, но доктор считал нецелесообразным перевозить ее. Так что Жан уступил ей свою хорошую постель и купил походную кровать. Он встретил почтальона на антресолях, чтобы не заставлять усталого старика подниматься еще на три пролета лестницы. Для него оказалось только одно письмо. К своему разочарованию, он узнал почерк Бертрана. Однако Бертран мог, между прочим, написать и о Николь, так что Жан схватил письмо и поспешил наверх к себе. То, что он не вскрыл его сразу, было вызвано не сдержанностью с его стороны, а тем, что на лестничных площадках даже днем было так темно, что он ничего не смог бы прочитать.

Флоретта лежала на постели, прислушиваясь к его дыханию. Она услышала резкий вздох, потом он почти задохнулся.

– Что случилось? – закричала она, приподнимаясь на здоровой руке. – Скажите мне, Жан, что там?

Она тут же осознала, что впервые назвала его по имени. Никогда раньше этого с ней не случилось. Она хотела извиниться, сказать что-то, но голос Жана заставил ее замолчать. Она не узнала бы его голос, если бы не знала, что это он.

– О, Боже! – вырвалось у него. – Боже милостивый!

– Скажите мне, что случилось! – кричала она. – Пожалуйста, скажите!

Но он не мог произнести ни слова. Он сидел на своей походной кровати, не зная, как он очутился там, вглядываясь в письмо Бертрана; его глаза были ясными, незамутненными, потому что он не мог плакать. Он мучительно перечитывал письмо вновь и вновь.

“...большая жакерия. Все замки в этой части провинции сожжены дотла. Приготовься узнать это, мой Жан, потому что тебе это будет тяжело. Тереза мертва. Жерве защищал свой замок с известным мужеством, но, когда увидел, что шансов нет, сбежал, бросив нашу бедную сестру на произвол судьбы. Говорят, он сейчас в Париже. Ты даже сможешь увидеть его, поскольку он будет сидеть среди представителей аристократии от нашей провинции в Генеральных Штатах...

У меня нет никаких соображений насчет того, как ты должен вести себя с ним в таких обстоятельствах. Я ничего не могу посоветовать. Ты, и только ты один из всех нас возражал против этого брака. Если бы ты был здесь, я бы на коле-

нях у тебя просил прощения...”

– Жан! – воскликнула Флоретта. – Вы больны! Поговорите со мной, расскажите мне...

– Ложись, маленькая, – сказал Жан, и голос его был странно нежен. – Ты причинишь себе вред...

Он сидел, держа письмо в руке. В письме было несколько страниц, он прочитал только часть первой страницы. Он должен прочесть все письмо, но он был не в состоянии. Его пальцы не двигались, он не мог отделить один листок от другого. Флоретта плакала, очень тихо. Он мог слышать ее плач. Этот звук доходил до него через миллионы лье, откуда-то с другой стороны луны.

Он начал читать вторую страницу. Слова бросились ему в глаза, вторгаясь в мозг, как удары топора.

“...полностью огуллилось... ее опознали только по драгоценностям... тут же похоронили... толпу удерживали на расстоянии пистолетами, пока аббат Грегуар совершал похоронный обряд. Они швыряли в него камни, когда он молился... он так и не вернулся в аббатство – его убили по пути...”

Губы Жана шевелились, но даже острый слух Флоретты не мог разобрать слов.

“Сам я скрываюсь, мне надо бежать из страны. Это из-за Симоны и нашей связи с аристократией. Вилла Марен уже не существует. Дома всех знатных семей и многих богатых буржуа постигла та же участь...”

“Что касается сестры Жерве...” – Жан дошел до этих слов

и остановился – это были последние слова на этой странице. Он сидел, глядя на них. Он повидал дула пистолетов своих врагов. Он шел навстречу дубинкам и ножам самых опасных преступников Парижа. Он рисковал подвергнуться пыткам не раз, а дюжину раз, пытаясь бежать с тулонской каторги. А перевернуть эту страницу был не в силах.

– Переверните страницу, Жан, – прошептала Флоретта, – прочтите, что там написано. Лучше, если вы будете знать...

Он посмотрел на нее. Но она даже не повернула к нему лицо. Потом услышал, как шуршит бумага в его дрожащих руках. Он импульсивно дернулся. Письмо выпало из его одеревеневших пальцев, и листки рассыпались по полу. Он нагнулся и начал собирать их. Педантичный Бертран пронумеровал их. Жан держал в руке третью страницу.

“...я мало что могу сообщить тебе. Маленький замок маркиза де Сен-Гравиро сожжен, как и все остальные. Это я знаю наверняка. Но дальше слухи противоречат один другому. Многие утверждают, что вся семья погибла в огне. Я в этом сомневаюсь, потому что Жюльен Ламон не был дома несколько месяцев. Кроме того, спасся по крайней мере один из слуг. Я его видел, он считает вполне возможным, что мадам маркиза с детьми могла спастись, так как он помог им сесть в карету, и, хотя за ними погнались, ни один из преследователей не был верхом. На этом мои сведения о Николь ла Муат и ее детях обрываются.

Ты удивишься, почему я пишу о ней особо. Причина, топ

рауиге, очень простая. Последний раз, когда я навещал нашу бедную святую сестру, там была мадам Николь. Она расспрашивала меня о тебе так настойчиво, что Тереза предостерегающе посмотрела на нее. А она совершенно спокойно сказала: “Я не боюсь, если он узнает”. Повернулась ко мне, посмотрела мне прямо в глаза и произнесла: “Я люблю вашего брата. С первого же вечера, как увидела его. И буду любить его до самой смерти”. Меня это удивило, хотя и не должно было бы, – ты, *mon frrok*²³, всегда пользовался успехом у женщин. Меня больше взволновало, когда Тереза сообщила мне, что ты отвечаешь на эту безумную любовь. Молю Бога, чтобы ты когда-нибудь вновь нашел ее, потому что – кто знает – после того, как весь мир перевернулся, между вами может не оказаться преград...

Еще одно слово, и я заканчиваю это письмо. Мой план – если это будет возможно – бежать в Австрию, куда уже спаслись многие счастливики. Быть может, там я узнаю что-нибудь о твоей пропавшей Николь, ибо, если ей удалось спастись, то она, конечно, направилась туда...”

В письме было еще что-то, но Жан не стал дальше читать. Ему надо было выйти из дома, походить по свежему воздуху, подумать. Но потом он взглянул на Флоретту, лежавшую в постели, на ее левую руку в гипсе, на тело в ночном халате, кажущееся толстым от бинтов. Нет, он не может оставить ее одну. Конечно, вот-вот придет Марианна и приглядит за

²³ Мой брат (*фр.*)

ней, но и то недолгое время, которое нужно было обождать, казалось ему невыносимым.

– Я выйду, – сказал он Флоретте, и голос его прозвучал странно даже для ее собственных ушей. – Я пришлю к тебе Марианну...

– Как вы считаете нужным, месье Жан, – отозвалась она. И как-то так получилось, что, оставаясь лежать в постели, она отдалилась от него на тысячи лье.

– Флоретта, – обратился он к ней, – в чем дело?

– Я... я ничего для вас не значу, – всхлипнула она. – Вы отталкиваете меня. Вы не допускаете меня в свою жизнь...

– Что ты хочешь, чтобы я сделал? – удивленно спросил он.

– Делитесь со мной. Вашими радостями, вашим горем – как я делюсь с вами. Вот, например, в этом письме, которое вы получили, что-то взволновало вас, ужасно взволновало. Но вы не рассказываете мне, в чем дело. Я спрашиваю вас, но вы не хотите рассказать мне.

Жан долго изучал ее лицо.

– Хорошо, – тихо сказал он, – я скажу тебе. Моя сестренка погибла. Ее убили крестьяне во время бунта неподалеку от Марсея. Они сожгли дом ее мужа, аристократа. Она была в доме, и они сожгли ее там. Этого достаточно?

– Более чем достаточно! – прошептала она. Потом добавила: – Подойдите сюда, мой Жан.

Он подошел к постели.

– Сядьте, – прошептала она.

Он присел на край, а она протянула руку и стала гладить его волосы. Она плакала и ничего не говорила. Просто лежала, гладила его волосы и плакала.

Он встал.

– Я должен идти, – сказал он. – Пришлю Марианну...

Он выскочил за дверь и заспешил вниз по лестнице.

Когда он проходил мимо типографии, оттуда вышел Пьер. Он бросил взгляд на лицо Жана и зашагал рядом с ним.

– Хочешь что-нибудь рассказать мне? – спросил он.

– Нет, – ответил Жан, – не хочу разговаривать об этом.

Пьер продолжал идти рядом с ним. Так они шли довольно долго, пока не поравнялись с кафе Виктуар на улице де Севр, которое приобрело известность как место встреч умеренных политиков.

– Присядем, – предложил Пьер. – Давай выпьем.

– Ладно, – отозвался Жан.

Официант принес им два бренди. Жан выпил свой стаканчик одним глотком.

– Повтори! – крикнул он официанту.

– Настолько плохо? – поинтересовался Пьер.

Жан ничего не ответил.

– Черт тебя подери! – взорвался Пьер. – Говори! Освободись...

– Ладно, – скучно произнес Жан и стал рассказывать.

Пьер долго сидел неподвижно. Потом начал ругаться. Он ругался очень спокойно, деловито и гладко, с глубоким чув-

ством и изрядным мастерством. Жан слушал его с благоговейным ужасом. Все, что произносил Пьер, звучало как проповедь священника, как изысканное богохульство, потому что Пьер дю Пэн не опускался до сальностей, он просто проклинал Жерве ла Муата, призывая на его голову гнев Божий с такой изобретательностью и таким разнообразием, которые сделали бы честь любому князю церкви.

Жан схватил друга за руку.

– Подожди, Пьер, – сказал он. – А что сказать о мужчинах и женщинах, убивших ее? Ла Муат виноват в себялюбии и трусости, но ведь там были наши люди – народ, представителем которого выступаю я сам, жаждавшие убить ее. Я в смятении. Ла Муат бросил мою сестру, и она убита людьми, которых я на протяжении ряда лет призывал к насилию. Если ла Муат оказывается соучастником убийства вследствие своего трусливого бегства, то как быть со мной? Разве я не виновен а priori?²⁴

– Ты паршивый провинциальный адвокат! – выкрикнул Пьер. – Ты теперь всю жизнь будешь рвать на себе волосы?

– Если я встречу ла Муата, – спокойно сказал Жан, – я его убью. Но какое наказание полагается мне? Скажи мне, Пьер.

Пьер ему улыбнулся.

– Ты, дорогой, идеалист, а потому дурак. Вступи в диалектический спор с каким-нибудь воспитанником отцов иезуитов. Ладно, поезжай в Англию, где йомены, как они себя на-

²⁴ Заранее, изначально (лат.)

зывают, процветают и счастливы, где каждый человек считает себя равным другому. Выйди там на рыночную площадь и призывай к бунту, пока не посинеешь. Ну и что произойдет? Я скажу тебе: ничего не случится. Ты, и я, и тысячи других таких, как мы, сыграли свою роль, необходимую роль, Жан, в определенный исторический момент. Думаешь, мы ведем за собой людей? Нет, скорее мы следуем за ними. Если хочешь найти виноватых, вини зиму восемьдесят восьмого года, когда погиб урожай, вини град, который побил пшеницу, обвиняй ленивых порочных бездельников, которые двести лет грабили народ, пока у народа уже не стало сил терпеть.

Всякий бунт подстрекается, вдохновляется – таких вспышек были сотни – не отдельными личностями, а отчаянием, голодом и безысходностью. Аристократы не уступят, они не уступят. Они должны держаться за свои древние привилегии, которые они однажды получили, предлагая крестьянам защиту и безопасность от разбойников, наводнивших страну в средние века. Но эти темные века миновали, свет распространился над землей. Военные услуги аристократов более не нужны. Предложи людям, чтобы они голодали ради того, чтобы ты ходил в шелках, предложи им смотреть, как умирают их дети, чтобы ты мог содержать куртизанок и разъезжать в роскошных каретах, обложи налогами их хлеб и их соль, и они восстанут. Это совершенно ясно, мой Жан...

Твоя сестра погибла в девственной невинности, потому что влюбилась и волею случая связала себя с обреченной си-

стемой. Ты же не стал бы винить себя, если бы она попала под карету. Ее смерть столь же случайна...

Он замолчал, бросив взгляд на лицо Жана.

– Что тебя мучает? – спросил он.

– Попала под карету, – прошептал Жан. – Попала под карету, но ведь и Флоретта тоже...

Его рука сжала стакан бренди с такой силой, что побелели суставы. Он откинул голову и разразился хохотом. Люди за соседними столиками оборачивались на этот хохот. Это был горький, как полынь, дикий хохот.

– Жан! – испугался Пьер. – С ума сошел?

– Нет, дорогой Пьер, – прошептал Жан, – я не потерял рассудок. Просто кое-что припомнил. Через неделю после того, как Жерве бросил мою сестру и, вероятно, даже свою сестру, чтобы их растерзала толпа, он ехал по Парижу со своей содержанкой. Это он наехал на Флоретту. А я... прости меня, Боже! Я спас ему жизнь...

Губы Пьера имитировали беззвучный свист.

– Почему, Жан? – наконец выговорил он. – Во имя Господа, почему?

Жан Поль посмотрел ему в лицо своими честными глазами.

– Потому, – сказал он, – что женщина, которая была с ним, Пьер, это Люсьена. Я не мог допустить, чтобы ее убили...

– А теперь? – спросил Пьер.

– Теперь моя совесть чиста, – отозвался Жан. – Да, для

меня все ясно. Ла Муат должен быть уничтожен, а система, породившая его, разрушена навсегда. Безмозглые, измученные скоты, которые уничтожают объекты своей ненависти, — их я могу простить, Пьер, но ла Муата и ему подобных — никогда!

Вот опять, подумал Пьер, вы, дураки, потерявшие головы, оттолкнули человека, который из жалости мог бы помочь вам. Не хотел бы я быть сейчас аристократом Франции. Вы жили роскошно. Интересно, как вы будете умирать?

И тем не менее аристократы, которые к тому времени еще не бежали из Франции, устроили напоследок смелое представление. Жан Поль Марен понимал это, участвуя в процессе среди других депутатов от третьего сословия в понедельник четвертого мая 1789 года. Как и все депутаты от третьего сословия, он был скромно и прилично одет во все черное. Зато аристократы выглядели как павлины, их одежды переливались всеми цветами радуги. Даже если бы у него была такая возможность, Жан не оделся бы в шелк и бархат, в алое и небесно-голубое с непременно страусовыми перьями, свисающими со шляпы; как и все члены депутации третьего сословия, он был недоволен положениями королевского указа, предписывающего депутатам, в какой одежде должны явиться представители всех трех сословий, и тем самым искусственно подчеркивающего различия между ними.

Однако он сдерживал свое раздражение, понимая, что принимает участие в историческом событии. Что бы ни совершили эти новые Генеральные Штаты, доброе или злое, ясно было, что это событие запомнится навсегда. Казалось, даже толпа на улицах понимает это. Все тротуары, каждый балкон, каждая крыша на всем пути от церкви Святой Девы, где члены Ассамблеи собрались в семь утра, молча ожидая, пока не появится в десять опоздавший король, и до церкви Святого Людовика, где должна была состояться месса, благословляющая открытие Штатов, были черны от людей.

Здесь присутствовал не только весь Версаль, но судя по всему половина населения Парижа поднялась до рассвета, чтобы собраться у древней резиденции королей.

Жан с интересом разглядывал собравшихся. Некоторых из них он узнавал легко. Крупный, похожий на льва, Жорж Дантон и рядом с ним изящный Камиль Демулен смотрели на процессию. Был и доктор Марат – на самом деле коновал – из Швейцарии, чье смуглое лицо выдавало его итальянское происхождение. Он уже был известен людям, толпящимся в Пале-Руайяль, почти также хорошо, как и сам подстрекатель Демулен. Похоже, здесь, в Версале, в полном составе присутствовали все две тысячи шлюх этого гигантского сада герцога Орлеанского, наблюдая за депутатами, которые шли вслед за местными священниками. После версальских священников, воплощавших одобрение церковью Генеральных Штатов вообще, шли депутаты третьего сословия; за ними

выступало дворянство. Дворяне были столь многочисленны и так блистали своими придворными нарядами, что Жан не мог разглядеть в этом многоцветье Жерве ла Муата. Вслед за дворянами шествовали представители церкви; и уже после них король с королевой, окруженные принцами и принцессами королевской крови.

Аристократы, священники и королевская семья могли бы по поведению толпы предугадать свое будущее – люди шумно приветствовали депутатов третьего сословия; дворян и служителей церкви они встретили ледяным молчанием; жидкими аплодисментами приветствовали короля, не удостоив ими принцев королевской крови, а королеву встречали криками:

– Австриячка! Иностранка! Запомни, мы французы! Мы не хотим, чтобы иностранка была нашей королевой!

Эти и другие, еще более злые, хриплые выкрики, всевозможные непристойности приходилось выслушивать королеве. А она, гордая и прекрасная, ехала, словно ничего не слыша.

Жан разглядывал депутатов, шагавших рядом с ним. Из всех он знал только одного Оноре Габриэля Рикети, графа Мирабо, уроженца, как и сам Жан, Прованса. Жан Поль Марен разглядывал Мирабо особенно внимательно. Странно было видеть этого аристократа, происходившего из древнего рода, здесь, среди представителей третьего сословия. Мирабо выглядел чужаком, его безобразие переходило в привле-

кательность: изрытое оспинами лицо, прорезанное шрамами и носившее следы разгульной жизни, – мерзавец, негодяй – и тем не менее настоящий мужчина. Жан мог испытывать сочувствие к человеку, который значительную часть своей взрослой жизни провел в разных тюрьмах по lettres de cachet, заботливо представленных туда его отцом. Даже совершенные им преступления были понятны Жану. Как можно не простить человека, думал Жан с тайным восхищением, который провел три года в подземной тюрьме в Венсенне за тяжкое преступление – за то, что похитил любимую женщину...

Разглядывал Жан Поль и других депутатов третьего сословия. Он играл сам с собой в увлекательную умственную игру – пытался угадать возможности каждого.

Мунье, Малуэ, Барнав, Сент-Этьен Рабо – молчаливые люди, исполненные чувства собственного достоинства. А что скрывается за этим? Жан вынужден был признать, что не знает. Петион, шагающий рядом с Байи, – одного поля ягоды, демонстрирующие наигранное смущение собственным величием. Пустозвоны и заурядные умы, предположил Жан. Аббат Сиейес – не человек, а острое шпаги. Он, как и Мирабо, находится в оппозиции к собственному сословию, к которому законно принадлежит. А это, судя по всему, колеблющийся священник: узкое, умное лицо, саркастически кривящийся рот. И последний, шагающий отдельно, странный маленький адвокат из Арраса, над которым все посмеивают-

ся, – голова в парике, слишком большая для его маленького роста, бледная нездоровая кожа, напоминающая, подумал Жан, брюшко жабы... Единственная краска в лице – зеленая.

Человек этот обернулся, вероятно почувствовав настойчивый взгляд Жана, взгляд его холодных глаз неопределенного цвета за очками в стальной оправе угрожающе вперился в лицо Жана, – как удар плети? Нет, скорее как язычок змеи.

Не правы те, кто посмеивается над ним, решил в этот момент Жан Поль. Этот человек может представлять смертельную опасность. Да, за Максимилианом Робеспьером надо следить...

Процессия уже почти достигла церкви Святого Людовика. Жан, устав от этой игры в составление каталога своих коллег, перенес внимание на зрителей.

Вдруг он услышал у себя над головой серебристый женский смех. Жан поднял голову и посмотрел в сторону низкого балкона, где расположились пять или шесть молодых женщин. Все они были изысканно одеты, но что-то в их внешности сразу же подсказало ему, что они не аристократки. Какая-то смелая открытость, возможно, нечто в манерах, в изящных туалетах, выполненных с большим вкусом, нежели обычно носили аристократки. Их лица также изобличали более совершенное мастерство, ибо, хотя рисовая пудра, румяна и мазь для смягчения губ были распространены среди придворных дам, эти роскошные женщины пользовались

косметикой так искусно, что, не будь Жан Поль так близко от них, он готов был бы поклясться, что все эти изумительные краски естественны. Еще он отметил чрезмерное обилие мушек и возбуждающий аромат резких духов.

– Парад ворон! – презрительно засмеялась одна из них, когда мимо проходили одетые в черное представители обшин.

– За которыми наблюдают рассеявшиеся на насесте *poules*²⁵! – тут же откликнулся аббат Сиейес. – Поистине королевство домашней птицы в полном составе!

Жан позавидовал остроумной реплике аббата, так легко сорвавшейся с его губ. “Я, – подумал он мрачно, – сочинил бы такую фразу через час...”

Смех на балконе замер. Кто-то из этих женщин – актрис или танцовщиц из Оперы, как предположил Жан, – привстал, чтобы увидеть человека, пославшего им в ответ столь едкую колкость. Жан посмотрел вверх и встретился с ней глазами.

– Жан! – прошептала она так тихо, что он догадался только по движению губ. Потом она повторила громко:

– Жан! Ты... здесь? Я должна увидеться с тобой! Может быть, после церковной службы?

– *D'accord*²⁶, – пробормотал Жан с несчастным видом, понимая, что на него с любопытством смотрят коллеги.

²⁵ Курочки, шлюхи (*фр.*)

²⁶ Согласен (*фр.*)

– Ах, Марен, – саркастически заметил аббат Сиейес. – Вижу, за вами тянутся долги!

Жан взглянул на него.

– Вы знаете мое имя, месье? – спросил он. – Я польщен.

– Я знаю имена всех, – отозвался Сиейес, сдержанно улыбаясь, – и большую часть их биографий. Хотя, должен признаться, ваша биография ускользнула от меня. Мы с вами должны побеседовать. Конечно, не сегодня. Боюсь, у вас гораздо более интересные планы...

– Возможно, вы и правы, господин аббат, – улыбнулся Жан.

После всего этого ему трудно было внимательно следить за церковной службой. Епископ употребил все свое красноречие, описывая несчастья страны. Жан, который знал эти несчастья слишком хорошо, перестал слушать. С того места, где он сидел, Жан мог хорошо рассмотреть короля и королеву. Людовик XVI казался полусонным, его пухленькие ручки покоились на затянутой в парчу толстой талии.

Редко я видывал человека, подумал Жан, который выглядел бы так не по-королевски. Он внимательно рассматривал короля. Маленькие серо-голубые глазки утопали в складках жира, расплывчатый слабый рот покоился под большим носом Капетов. В его лице, решил Жан, нет зла, но и добро отсутствует, если не считать того, что доброта заслонена слабостью. Господи, спаси Францию, если в такой момент ее королем оказывается такой тупица!

Королева выглядела более внушительно. Статная женщина, не лишенная красоты. Еще молодая, но уже поседевшая от тревог и беспокойства, ибо дофин в настоящее время находился на пороге смерти. Более того, моря незаслуженной ненависти, окружавшего эту бедную женщину, было достаточно, чтобы свести с ума человека и покрепче. Жан посмотрел на графа Ферзена, галантного шведа, которого скандальные сплетни уже связывали с королевой. Взгляд графа, исполненный теплоты и нежности, не отрывался от лица Марии Антуанетты. Есть ли правда в этих сплетнях?

“Впрочем, какое это имеет значение? – подумал Жан с галльской ясностью мысли. – Она молода и красива. Такая женщина нуждается в любви. Когда брак является делом отношений между государствами, продолжением иностранной политики, чего еще можно ожидать? Достаточно посмотреть на него, на Его Королевское Величество! Бодрствует он или спит – и вообще живой ли он? Пожалуй, никогда еще я не видел лба, более предназначенного для рогов. Если вы, моя королева, невиновны, то должны согрешить – я вас благословляю”.

И тут в речи епископа прозвучали слова, привлечшие внимание Жана. Епископ объяснял третьему сословию, что оно не должно ожидать слишком многого, что отказ от привилегий должен быть результатом милости, но никак не принуждения...

Жан сердито выпрямился, но, когда он посмотрел на сво-

их коллег, его темные глаза расширились от удивления. Большинство, совершенно очевидно, было тронут. У некоторых выступили на глазах слезы.

Почему? – поразился Жан. Потому, что вам рассказали, что народ голодает, что налоги невыносимы, что привилегии стали страшным бременем, но вы это и так знаете, иначе вы не были бы здесь. Потому, что после всей своей болтовни его светлость епископ Нансийский посоветовал вам тихо сидеть на своих скамьях и ожидать, пока такие господа, как граф д'Артуа или даже Жерве ла Муат, добровольно откажутся от своих привилегий? А я вам скажу, что скорее вы увидите, как замерз ад от недр своих и до берегов и легион дьяволов развлекается, катаясь по льду на коньках, чем случится такое.

Аббат Сиейес встретился с ним глазами и улыбнулся ему. Жан сжал кулак и ткнул большим пальцем вниз древним жестом римлян, означавшим смертный приговор. Улыбка аббата стала шире. Он кивнул головой. Нас двоих, похоже, хотел сказать он, этим не одурачить...

Церемония кончилась. Депутаты сбивались небольшими кучками за стенами церкви, обсуждая проповедь. Жан не присоединился ни к одной из групп. То, что я думаю обо всем этом, с горечью решил он, вряд ли понравится столь снисходительным людям, как вы...

Он пошел прочь, направляясь к тому балкону, на котором видел Люсьену. Он не прошел и десяти шагов, как увидел ее,

идущую ему навстречу, ее рыжеватые волосы не напудрены и заколоты высоко на голове. Она всегда была грациозной, но сейчас ее походка напоминала поэзию, музыку – она шла маленькими шажками, словно не касаясь камней тротуара, ее грудь колебалась над кринолином парчового платья, шла, чуть наклонившись вперед, словно подгоняемая легким ветерком. Он почувствовал, как что-то зашевелилось у него в области сердца. Что-то глубокое и жесткое, похожее на боль.

Я не люблю ее, сказал он себе с мучительной ясностью. И не думаю, что когда-либо любил. То, что я чувствую по отношению к Люсьене, это нечто более примитивное, чем любовь – нечто древнее и ужасное... и уродливое. Но что бы это ни было, я не свободен от этого чувства. Пока еще нет – о, Боже! Еще нет!

Она протянула ему руку в драгоценных кольцах.

– Жан! – вздохнула она. – Как хорошо ты выглядишь!

– С таким лицом? – фыркнул Жан. – Избавь меня от лжи, Люсьена.

– О, – рассмеялась она, – я не имела в виду твое лицо. Ты ведь чудовище, не так ли? Но такое чудовище, которое любая женщина была бы рада держать на цепи у себя в подвале ради удовольствия укрощать тебя – если, конечно, тебя можно укротить. Неважно, это, может быть, даже приятнее – потерпеть поражение в попытке приручить тебя, не так ли?

– И терпеть твои насмешки, – с горечью сказал Жан.

– Я и это имела в виду, – отозвалась Люсьена. – Пойдем

посидим на солнышке в каком-нибудь кафе, где мы можем поговорить. Мы так давно не виделись. У тебя, должно быть, есть многое, о чем ты хочешь мне рассказать...

– Мне нечего рассказывать тебе...

– Не пытайся быть похожим на свое лицо, Жанно! – засмеялась Люсьена. – Ты же знаешь, ты совсем не такой...

– А какой я? – проворчал Жан.

– Мягкий, как воск – в хороших руках. Пойдем!

У нее изменилась даже речь. Исчез акцент Лазурного берега, и появилось парижское произношение, низкое, отработанное, точное. Слушать ее доставляло наслаждение. Почти такое же, подумал Жан, как смотреть на нее...

Она села за маленький столик с чашками кофе лицом к нему и улыбнулась. Улыбка была пленительной. Он смутился как мальчишка.

– Я не поблагодарила тебя за то, что ты спас мне жизнь, – ласково сказала она. – Это было очень любезно с твоей стороны, Жан...

– С тех пор я сожалею об этой любезности, – ответил Жан. Ее карие глаза расширились.

– Ты хотел, чтобы я тогда умерла? – вздохнула она.

– Нет, – честно признался Жан. – Этого я не хотел.

– Тогда почему?.. О, я понимаю – Жерве! Не говори мне, что ты до сих пор ревнуешь! Это такое ребячество, мой Жанно...

– Не называй меня “мой Жанно”, – сказал Жан. – Я уже

давно перестал быть твоим...

– Разве? Сомневаюсь. Каждый мужчина, который когда-нибудь принадлежал мне, остается моим навсегда – если я хочу его. И даже если я его не хочу, он в сердце своем остается моим. Мне стоит только поманить, Жанно, – правда ведь?

– Ведьма! – выругался Жанно.

Она запрокинула назад голову и весело рассмеялась.

– Какой же ты смешной! – выговорила она сквозь смех. – Даже с этим вызывающим ужас лицом ты все равно смешной...

– Ты так не думала когда-то, – сказал Жан.

– Я была ребенком. Я ничего не знала о жизни – или о мужчинах...

– А теперь знаешь? – проворчал Жан.

Она откинулась на спинку стула, спокойно улыбаясь.

– Да, – сказала она. – Теперь знаю.

Жан смотрел на нее и думал: “Ты всегда была настоящей женщиной, Люсьена, но сейчас ты стала чем-то еще большим, ты превратилась в зрелого человека. Когда ты была моложе, ты была очень сложной личностью, в твоих взглядах все было запутано. Тебя и до сих пор порой так же трудно понять, как и в юные годы, но ты преодолела свою сложность, подчинив ее воле, научившись ею управлять, чтобы сознательно стать совершенно понятной, прямой, открытой. Это страшная вещь – твоя прямота. Опасная вещь. Ибо ты вы-

нуждена жить в запутанном мире, и единственное, что этот мир делает с такими прямыми, как ты, – убивает их... – Он слегка улыбнулся, стараясь заглянуть ей в глаза. – Думаю, ты обнаружила, что единственные непростительные грехи – слабость и глупость. Я тоже знаю это, но не верю. В этом разница между нами – ты веришь. И из-за этого своего неверия я запутался в мире, в котором живу, в то время как твоя прямота и твоя сила ставят тебя выше, и это должно уничтожить тебя. Это произойдет, моя сладкая, – потому что глупые и слабые всегда уничтожают прямых и сильных, уничтожают простым численным преимуществом”.

– О чем ты думаешь? – спросила Люсьена.

– Ты стала очень открытой, – ответил Жан.

– Ах, вот оно что! – произнесла Люсьена. И потом добавила: – Открытой, да, но не нараспашку. Например, ты не знаешь, о чем я сейчас думаю.

Жан улыбнулся. Он уже вновь обрел присутствие духа.

– Мне все равно, – сказал он. – Совершенно безразлично.

– Лжец! – засмеялась Люсьена.

Жан Поль пожал плечами.

– Поступай, как знаешь, – сказал он.

– А я всегда поступала так, как хотела, – ответила Люсьена, и Жан ей поверил.

– Когда я тебя еще увижу? – спросила она. Скорее, это было утверждение.

Жан обдумывал этот мнимый вопрос. Он хотел сказать

“нет”, она никогда больше его не увидит, но знал, что она на это только улыбнется и воспримет его ответ как проявление трусости. А сказать “да” означает подбросить горючего в костер ее тщеславия, которое вовсе и не тщеславие, а часть ее прямоты. “Это ведь не тщеславие, – подумал Жан, – верить, что ты можешь обвести большинство мужчин вокруг своего мизинчика, если ты отлично знаешь из своего долгого опыта, что действительно можешь”.

– Если захочешь, – сказал он, и нотка безразличия в его голосе прозвучала так, как надо, – без нажима, без грубости и театральщины. Он сдержался, чтобы не прикрыть рукой притворный зевок. “Она, – решил он, – в тот же миг разгадает меня. Она прямая, – о, да, очень прямая...”

– Захочу, – улыбнулась Люсьена. – Но не сегодня вечером. Сегодня придет Жерве. Может быть, послезавтра?

Жан встал. Шрам блестел на его лице. Он понял, что после Жерве ла Муата он больше всего ненавидит эту женщину. Она многое может сделать с ним, и он ненавидел ее. Неразлучные двойники, с горечью подумал он, ненависть и любовь.

– Я, – произнес он, проклиная себя за неловкость, с которой он это выразил, – буду занят всю неделю. Ты ведь выступаешь в Опере? Я оставлю тебе записку за кулисами...

Но она его не слушала. Она смотрела мимо него, и теплая, радостная улыбка осветила ее лицо.

– Жерве! – смеясь, воскликнула она. – Я не ждала тебя

так скоро!

– Я так и понял, – улыбнулся граф де Граверо. – А, Марен, мой достойный политический противник. Ну да, вы ведь знакомы друг с другом?

– Довольно хорошо, – отозвалась Люсьена. – Хорошо, что ты появился. Месье Марен собирался покинуть меня и оставить в одиночестве.

Теперь Жан держал себя в руках. Он даже сумел унять дрожь в пальцах.

– И тем не менее, – сказал он бесстрастно, – боюсь, вынужден буду задержать господина графа. Не надолго – только на то время, чтобы обменяться картелями. Полагаю, утомительная процедура нанесения пощечины не обязательна между двумя старыми знакомыми...

– Жан, – вмешалась Люсьена, – не будь круглым идиотом. Не хочу, чтобы из-за меня ты пытался перепрыгнуть через собственную голову. Ты буржуа, как и я. Разве ты учился фехтовать?

– Нет, – мрачно ответил Жан, – но это не имеет значения. Даже рискуя выглядеть неучтивым, вынужден сообщить вам, мадемуазель, что вовсе не собираюсь драться из-за вас. Не могу представить себе такого стечения обстоятельств, которое заставит меня пошевелить хотя бы пальцем ради вас. Господин граф де Граверо прекрасно знает, почему я вызываю его...

На лице Жерве отразилось полное недоумение.

– Простите меня, месье Марен, – сказал он, – я не знаю... действительно не знаю.

Жан посмотрел на него и потряс головой, словно для того чтобы прочистить мозги.

– Хотите сказать мне, что, когда вы уехали из замка Граверо, бросив его окруженным толпой крестьян, вы не знали, что они сожгут его дотла?

В глазах ла Муата мелькнул ужас.

– Они сожгли замок? – прошептал он. – Сожгли мой замок?

– А вы этого не знали? – резко спросил Жан.

– Нет конечно! Но почему Тереза не написала и не сообщила мне? Когда я уезжал, я хотел тем самым спасти замок. Эти сумасшедшие любят Терезу – я был уверен, что они не станут... – Он замолк, глядя в глаза Жана. – О, Боже! Вы не имеете в виду... они... что Тереза...

– Да, – сказал Жан. – Ваш замок... И Тереза. Мой брат Бертран смог опознать труп сестры только по той части драгоценностей, которая не расплавилась. А почему еще, вы считаете, я вызываю вас?

– Я не знал, – еле выговорил Жерве. – О, звери! Грязные, отвратительные скоты!

– Когда-то они были людьми, – возразил Жан. – Это наше сословие дьявольски ловко умеет делать из людей скотов...

– Я не должен был встретить вас, – тихо произнес Жерве. – Не в связи с этим... Пожалуйста, дайте стул... думаю, мне

лучше сесть...

Жан подтолкнул ему стул. Люсьена уже была рядом с Жерве, подложив ему свою руку под голову.

Жан вздохнул. “Не смогу покончить с этим теперь же, – подумал он, – не только теперь, но и вообще когда-либо”. Он пошел прочь от них, но через несколько шагов обернулся.

– Вам лучше бы написать и выяснить, что случилось с вашей собственной сестрой. Когда ее видели в последний раз, она спасалась бегством в направлении леса, преследуемая бандой вооруженных людей...

– Боже! – воскликнул Жерве. Это был крик подлинного отчаяния.

В глазах Люсьены вспыхнул гнев.

– Чудовище! – вырвалось у нее. – У тебя нет сердца!

– Напротив, мадемуазель, – рассмеялся Жан. – Я мягок, как масло в умелых руках, помните?

Он отвесил им глубокий поклон.

– До свиданья, месье, до свидания, мадемуазель, – произнес он, повернулся и пошел, оставляя за собой раскаты хохота.

Однако через минуту или две, когда он понял, что сделал, он остановился. Люсьена права, подумал он с горечью, я бессердечный человек. Верю, что Николь спаслась. Не могу принять мироздания, которое может позволить, чтобы с ней такое случилось. Тем не менее та же судьба, Бог, мироздание – называйте это, как хотите – позволили Терезе уме-

реть в страшных мучениях. Верить во что-то только потому, что верить приятнее, это худшая глупость... Глупец, глупец, сколько еще тебе понадобится доказательств, чтобы увериться, что жизнь безжалостна, что между тем, чего человек заслуживает, и тем, что с ним в действительности случается, нет никакой связи?

Он двинулся дальше, лицо его было скорбным.

Сражаться с ла Муатом – это одно, а хлестать его словами – совсем другое. И использовать Николь – бедную, исчезнувшую Николь – как оружие против него, это самое низкое, что ты сделал в своей жизни.

На углу он увидел таверну. Он остановился и хмуро взглянул в ее сторону. “Это ведь тоже слабость”, – подумал он. И все-таки зашел туда.

Между планами, которые человек себе намечает, и его действиями лежит дистанция, измеряемая иногда десятками лье. Жан Поль Марен обнаружил это в первые недели заседаний Генеральных Штатов. Он рассчитывал жить в Париже и ездить каждый день в Версаль, но очень скоро понял, что это невозможно. События развивались слишком стремительно.

Нельзя сказать, чтобы он жалел об этом молниеносном натиске истории. Сознание, что ты являешься участником такого исторического события, возбуждало. Стоять в зале для игры в мяч и, подняв руку, повторять вслед за задыхающимся от волнения Мунье слова клятвы: “Все члены этого Собрания приносят в эту минуту торжественную клят-

ву не расходиться до тех пор, пока не будет выработана и на прочной основе утверждена конституция королевства...”, слушать львиный рык Мирабо двадцать третьего, когда король предписал депутатам трех сословий заседать по отдельности, и церемониймейстер торжественно провозгласил:

– Господа, вы слышали повеление короля. Мирабе встал, уродливый, великолепный, и прогремел:

– Если вам поручено заставить нас уйти отсюда, вам придется запросить приказ о применении силы. Ступайте скажите вашему господину, что мы покинем наши места, только уступая силе штыков!

А когда Людовику доложили об этом, он пожал своими толстыми плечами и произнес:

– Если господа от третьего сословия предпочитают не покидать зал, не остается ничего другого, как оставить их там...

Как много значило состязание в ораторском искусстве с лучшими ораторами. Из них один только Сиейес превосходил Жан Поля Марена. Мирабо вызывал большой восторг, однако речи депутата Марена отличались предельной четкостью, столь высоко ценимой в искусстве риторики. Он оказался в гуще событий и гордился этим.

При его участии была выиграна битва, когда король осудил их дерзость объявить себя Национальным собранием, как будто они, третье сословие, представляют всю Францию. Жан Поль Марен встал тогда и заявил:

– Господа, но ведь мы и есть вся Франция! Если представители двадцати миллионов людей не являются депутатами нации, то что тогда говорить о тех, кто сидит здесь от имени каких-нибудь двухсот тысяч – одного процента населения, и эта часть состоит из трутней и паразитов на теле общества, из людей, которые ничего не делают, ничего не производят, живут подобно пиявкам, сосущим кровь из народа...

Его слова потонули в аплодисментах галереи. И тем не менее он услышал, как превзошел его непобедимый Сиейес, который поднялся и произнес одну-единственную фразу и сел, но эта фраза, четкая, резкая, совершенная, эхом отзовется на все времена.

– Господа, – спокойно сказал Сиейес, – мы сегодня те же, какими были и вчера. Начнем же заседание.

Таким образом спор завершился среди оглушительного молчания, означавшего признание совершенства этой формулы. Они были Национальным собранием и останутся им.

Второго июля спор был закончен. Последний, самый упорный из аристократов, признал свое поражение. Все три сословия заседали совместно, и борьба между ними продолжалась.

Двенадцатого июля Жан вместе с двадцатью четырьмя другими депутатами и представителями от Парижа отправился в столицу расследовать происходящие там беспорядки. После дня, проведенного в поездках по городу, охваченному бунтами, он ближе к ночи добрался до маленькой квар-

тирки, которую Пьер и Марианна сняли по его поручению для Флоретты.

Она открыла дверь на его стук, и когда услышала его голос, ее лицо осветилось такой радостью, какую невозможно себе представить.

– Тебе лучше? – грубовато спросил он.

– О, да, месье Жан, я совершенно поправилась! Кости срослись и больше не болят. Я даже прибавила в весе, видите?

Жан это заметил. Хорошая еда, которую приносили ей Пьер и Марианна и которую оплачивал Жан, дала свои результаты. Ее маленькая фигурка приобрела соблазнительные округлости.

– Тебе это к лицу, – заметил он. – И платье прелестно...

– Марианна сшила. Это так хорошо – иметь друзей... хотя...

– Что ты хочешь сказать, малышка? – нежно спросил Жан.

– Я... я не должна говорить это. Просто... мне так вас не хватает. Это ужасно... Жан... – Она замолчала, и лицо ее вспыхнуло румянцем. – Могу я вас так называть? Вы такой молодой и вы так добры ко мне, вы мне такой хороший друг, что как-то странно обращаться к вам “месье”...

– Конечно, Флоретта, – отозвался Жан. – Рад, что у тебя есть такое желание.

– Марианна так зовет вас. А я чувствую, я ближе к вам, чем она... – Она обрела уверенность и не сводила с него глаз,

ее счастливое лицо улыбалось. – Я так рада, что вы вернулись! Вы останетесь в Париже?

– Да, – сказал Жан. – Сколько возможно. Дела в Версале идут поспокойнее.

Она встала и подошла к нему, лицо ее сияло.

– Тогда возьмите меня с собой! – выдохнула она. – Я хочу сказать, в вашу квартиру. О, Жан, Жан... Я не буду причинять вам беспокойства. Я могу убирать квартиру и готовить вам... я могу все это делать и мыть полы тоже. Все, что угодно, лишь бы быть рядом с вами...

Жан посмотрел на нее.

– Видишь ли, Флоретта, – произнес он наконец, – ты молодая девушка, к тому же красивая. Представляешь, что будут говорить люди?

– Не важно, что они будут говорить, раз это не будет правдой. А это не будет правдой. Между нами не может быть ничего не правильного, потому что вы хороший, добрый и испытываете ко мне только жалость. Если люди будут говорить, что я ваша любовница, они будут лгать, а я не обращаю внимания на вранье. Я... я не могу стать вашей любовницей, Жан, потому что вы не любите меня...

– А если бы любил? – из любопытства спросил он.

– Не знаю... Я... я так боюсь. Потому что... я люблю вас. Давно люблю...

– Это очень серьезно, – грустно сказал Жан. – Целыми днями, а то и неделями я могу не приезжать домой. А когда

буду дома, между нами всегда будет стоять это обстоятельство. Я буду тревожиться, Флоретта, стараясь не обидеть тебя. Ты очень хорошая, красивая, но...

– Слепая? – вырвалось у нее.

– Нет. Думаю, меня это не тревожит. Все гораздо проще, Флоретта. Есть другая женщина, которую я люблю...

– Понимаю. – Он мог слышать, что радость исчезла из ее голоса. – Она здесь... в Париже?

– Нет. Не знаю, где она. Может быть, даже погибла.

– О, – вздохнула Флоретта.

– Я жду известия о ней. Когда оно придет, многое для меня может измениться. Но есть одно обстоятельство – трудное обстоятельство, маленькая Флоретта, – неважно, когда придет это известие, даже если к этому времени я стану стариком и буду лежать на смертном одре, я все еще буду ждать вестей о ней. Вот так обстоит дело, Флоретта, вот как оно будет всегда...

Она протянула ему руку.

– Простите меня, – тихо произнесла она. – Надеюсь, вы найдете ее... Жан.

Он шел от нее по улицам, освещенным горящими заграждениями, которые толпа опрокинула и подожгла. Ярko горели опрокинутые кареты. Жан старался пройти как можно ближе к этим экипажам. Он надеялся что-то обнаружить. Но ни одна карета, к которой он мог подойти достаточно близко, чтобы разглядеть ее, не имела на дверцах дворянского герба.

Вот так оно и происходит, подумал он. Когда мы выпускаем ненависть и зависть, скрывающиеся в сердце каждого человека, мы думаем только о том, чтобы уничтожить врага. Но стоит только спустить зверя с цепи, как он обернется и разорвет вас. Глупцы мы были, думая, что толпа будет различать высшую буржуазию и дворянство...

Он услышал неподалеку беспорядочную стрельбу из мушкетов, потом вопли, проклятия, удары камней по стенам, дверям домов.

Он пошел на этот шум, поскольку одна из задач, которую он и другие депутаты поставили перед собой, когда приехали в Париж, состояла в спасении людей от толпы. Поэтому он и был в своем черном костюме. В Париже в эти первые недели июля черный костюм депутата от третьего сословия защищал лучше, чем остальные латы.

На улице человек двести мужчин, женщин и детей швыряли камнями в отряд из десяти или двенадцати солдат французской гвардии. Солдаты примкнули штыки, но больше не стреляли. Они пытались докричаться до безумцев, собирающихся убить их, но их голоса тонули в реве мужчин и воплях женщин.

Жан тяжело вздохнул. Потом пошел под этот град камней. В него трижды попали камнями, прежде чем кто-то распознал его одеяние.

– Депутат! – закричали они. – Один из наших депутатов!
Ливень камней приостановился. Улица затихла.

– Приветствуем господина депутата! – выкрикнул один здоровяк.

– Vive le Depute!²⁷ – взревели они.

Их приветственные крики эхом отразились от стен домов.

– Граждане! – закричал Жан. – Эти солдаты тоже граждане! Они получили приказ поддерживать порядок, не допускать беспорядков. А вы посмотрите, как благородно они, ваши слуги, вели себя. Никто из вас не ранен. Они стреляли поверх ваших голов, они воздержались от пролития крови. Прошу вас, граждане, отпустите их!

– Мы хотели бы кое-что сказать, господин депутат! – крикнул один из гвардейцев, воспользовавшись моментом тишины.

– Mes amis!²⁸ – попросил Жан. – Выслушайте сержанта.

– Пусть говорит! – скомандовал здоровяк, верховодивший толпой.

– Граждане, – начал сержант, – как сказал господин депутат, мы имеем приказы – приказ короля, приказ аристократов. Вы знаете, что это за приказы? Мы должны стрелять в каждого, подозреваемого в бунте или грабеже! Разве мы так действовали, граждане, друзья? Я спрашиваю вас, разве мы в вас стреляли?

– Нет! – заревела толпа. – Vive messieurs les Citojens-

²⁷ Да здравствует депутат! (фр.)

²⁸ Друзья мои (фр.)

Soldats!²⁹

– Мы, – гордо заявил сержант, – дали клятву не стрелять в народ Парижа! Вы наши друзья, мы женаты на ваших женщинах, неужели же мы будем стрелять в братьев и сестер наших жен?

– Vive! – ревом отозвалась толпа.

Потом толпа подалась вперед и подняла Жана и двенадцать солдат на плечи. С приветственными криками их донесли до ближайшей таверны. Там были подняты бесконечные тосты за их здоровье, за свободу, равенство и братство.

Прошло не менее двух часов, прежде чем Жан, ссылаясь на государственные дела, смог сбежать. Голова у него была отнюдь не ясной, а это было опасно. Предстояла серьезная работа. Он должен успокоить народ, насколько это возможно. Для этого нужен весь его ум. Тосты, под которые он пил, не очень помогли ему в этом. Он шагал не очень уверенно туда, где шум казался сильнее, хотя тут трудно было принимать решения – весь Париж представлял собой кипящее море шума и ярости – таким он стал с полудня, когда весть о том, что король уволил Неккера, достигла Пале-Руайяля.

Неккер, королевский министр финансов, был швейцарец, банкир, педант и дурак. Но королева ненавидела Неккера, и этого оказалось достаточно, чтобы народ полюбил его. Кроме того, его вероисповедание при страшной волне антиклерикализма, захлестнувшей Францию, работало на него. И

²⁹ Да здравствуют граждане-солдаты! (*фр.*)

вот теперь бедный слабый Людовик, как всегда по указке жены, уволил человека, по поводу которого народ ошибочно полагал, что он может облегчить его тяжелую участь.

Жан Полю то и дело попадались навстречу спешившие куда-то люди с зеленой веточкой, приколотой к шляпе – зеленой кокардой, предложенной Камилем Демуленом в тот же час, когда эта новость дошла до него.

– *Morbleu!*³⁰ – выругался Жан, думая об этом молодом ораторе. – У него есть все – молодость, привлекательная внешность, ораторский талант – все на свете, кроме хотя бы одной унции мозгов в его голове или малейшего чувства ответственности.

Он припомнил яростную речь Демулена, молодого человека с рыжими разлетающимися кудрями, который вскочил на стол в Пале-Руайяле и клялся, что королевский двор задумал устроить Варфоломеевскую ночь патриотам. То, что двор не замышлял ничего подобного, что король даже отдал гвардии приказ проявлять предельную сдержанность, имея дело с народом – так что сержант врал, что они получили приказ стрелять в людей, ибо Жан, видевший приказ, знал об этом – менее всего трогало Демулена и ему подобных. Они жаждали революции, а для этого любой повод оказывался хорош.

Поющая и танцующая толпа заполнила улицы Парижа, неся бюст Неккера.

³⁰ Черт возьми! (*фр.*)

Глупцы, выругался про себя Жан, если бы вы знали, как не хватает таланта вашему швейцарскому банкиру, вы разбили бы его бюст на куски!..

Однако толпа поднимала вверх своего полубога и заставляла всех встречных отдавать ему почести. Жан отсалютовал бюсту добровольно. Потому что, решил он мрачно, господин Неккер не стоит того, чтобы умирать за него живого или гипсового... Однако и после того, как он отдал требуемый салют, толпа, состоящая главным образом из торговцев рыбой из Сент-Антуанского предместья, не отпустила его.

– Хотим, – заявила одна замызганная женщина, – чтобы гражданин депутат оказал нам честь и сопровождал нас. Одолжил бы нам немножко щегольства, как вы считаете, девочки?

Толпа босоногих, противных, дурно пахнущих фурий воплями приветствовала ее слова, и в воздух взметнулся целый лес зеленых палочек. Жан Полю не оставалось ничего другого, как идти вместе с ними.

Ему казалось, что их шествие по кривым улочкам продолжается уже несколько часов. И все это время они беспощадно избивали всех, кто не хотел приветствовать бюст Неккера. Жан уже не понимал, в какой части города он находится. Он чуть не валился с ног, а рыбные торговки и привязавшиеся к ним мужчины, казалось, не знали усталости.

Потом он резко остановился, и всю его усталость как рукой сняло. Навстречу ему шла Люсьена Тальбот, она двига-

лась неуверенно, волосы слегка растрепаны, плащ волочился по земле, свисая с одного плеча. Когда на нее упал свет уличного фонаря, он мог разглядеть, что помада у нее на губах размазана, глаза запавшие.

– Госпожа, – завывала торговка рыбой, – знатная госпожа... герцогиня. Что будет делать госпожа? Месье Неккер очень одинок – все, что он хочет, это чтобы ваша светлость поцеловали его.

Люсьена выпрямилась, глядя на них. В ее глазах мелькнул страх, смешанный с беспредельным презрением.

– Нет! – вырвалось у нее, но они уже подняли свои палки. – Хорошо, хорошо, – сказала Люсьена, – поцелую господина Неккера, а потом, ради Бога, отпустите меня, умираю, так хочу спать...

Они наклонили каменную голову Неккера к ней. Люсьена посмотрела на него с явным отвращением, потом крепко поцеловала в губы.

Потом она откинулась назад, глядя на бюст с насмешливым удивлением.

– Ах, ты, каменный мерзавец, – прошептала она, – ты первый мужчина, которого я целую, а он тает.

И только тогда она заметила маленького гамена лет десяти, который стоял рядом с ней, достаточно близко, чтобы слышать ее слова.

– Мама, – закричал этот грязнуля, – она оскорбила господина Неккера! Она назвала его мерзавцем! Я слышал!

Небо чуть не расколосось от вопля торговки рыбой. Они толкались, наваливались друг на друга, торопясь расправиться с ней.

– Сорвите с нее ее лохмотья! – заорала стоявшая рядом с Жаном грязная тетка. – Оставьте ее в чем мать родила, и пусть бежит!

Это предложение вызвало бурю одобрительных криков. И прежде чем Жан успел преодолеть расстояние в десять футов, они осуществили свой замысел.

“Я полагал, – с горечью подумал он, – она не может никогда быть более прекрасной, чем была в том далёком прошлом. Но сейчас она еще прекраснее... а они хотят убить ее...”

Люсьена приняла первые удары, не вскрикнув. Но на ее голой спине проступила кровь прежде, чем Жан оказался около нее. А она в этот момент начала поносить их такими словами, какие никакая французская герцогиня знать не могла. Это на мгновение остановило их – как раз достаточно, чтобы Жан Поль встал рядом с ней. Но они были близки к тому, чтобы убить ее.

Жан выхватил свои пистолеты.

– Я никогда не стрелял в женщин, – сказал он. – Но во имя небес и в память о моей матери я разможу голову первой же из вас, кто еще раз дотронется до нее!

Они отшатнулись с рычанием. Пуль они боялись.

– Дорогу! – закричал Жан. – Пропустите нас!

Женщины расступились. Жан направлял дула своих пистолетов направо и налево, и когда они прошли сквозь толпу, он стал отступать лицом к ним, угрожая пистолетами, пока они не дошли до угла.

– Не пытайтесь преследовать нас! – крикнул он. – Первый, кто попробует – умрет!

Потом они бежали по кривым улочкам, сворачивая за каждый угол, прислушиваясь, как топот преследователей затихал, пока не стих совсем.

– Здесь, – перевел дыхание Жан, – возьми мой... сюртук...

– Благодарю тебя, – иронизировала Люсьена, – за твое запоздалое беспокойство о моей скромности. Я приму его, но только потому, что застыла после всех этих упражнений. Мое тело не должно тревожить тебя, мой Жанно, – ты видел меня в таком виде достаточно часто...

– Нет, – ответил Жан, – не видел уже много лет и никогда не видел тебя бегущей голой по улицам. Накинь на себя, быстро, черт тебя возьми! Я забочусь не о твоей скромности, а о своем влечении...

Она просунула свою мягкую руку в рукава его длинного сюртука и запахнула полы. Эффект оказался весьма соблазнительным, ибо она намеренно держалась непринужденно.

Она только слегка застонала, когда ткань сюртука коснулась ее израненной спины.

– Отведи меня к себе, – попросила она. – Живой я до сво-

ей квартиры не доберусь. Можешь приложить бальзам к моим ранам, это будет занятно, не правда ли?

– Слишком занятно, – мрачно заметил Жан. – Пошли. А ты можешь развеять скуку нашей прогулки рассказом о том, какого дьявола ты шла через этот квартал в такое время...

– А вот это, – с холодком в голосе отозвалась Люсьена, – не твое дело. Могу сказать тебе только одно – почему я шла пешком. Видел, что они делали с каждой каретой, которая пыталась сегодня ночью проехать по улицам?

– Это ты умно придумала, идти пешком, – похвалил ее Жан, – но ты должна была держать язык за зубами после того, как поцеловала этот проклятый гипсовый бюст. В конце концов какая тебе разница?

– На самом деле никакой. Но я хотела бы быть достаточно храброй, чтобы вообще не целовать этот бюст. До сих пор я жила в соответствии со своими принципами. Никогда в своей жизни я не делала того, чего не желала. К тому же никогда ни на одну секунду не жалела о том, что делала. Потому что, видишь ли, Жанно, если я что-то делала, то только потому, что действительно желала этого.

– Это как-то связано с твоими представлениями, – спросил Жан, – о том, что правильно, а что нет?

– Конечно, нет, – засмеялась Люсьена. – Чем греховнее, по меркам других людей, тем сильнее, обычно, мне хочется совершить этот грех...

Жан посмотрел на нее. Теперь он начинал ее понимать.

После всех этих лет начинал понимать. “Философ!” – передразнил он себя, думая о том, что это вообще не его дело, что все, что говорит или делает Люсьена, его теперь не касается.

И тем не менее касается, признал он. Сам с собой Жан Поль всегда был честен.

– По меркам других людей? – спокойно переспросил он. – Из этого я могу заключить, что твои мерки иные?

– Конечно. Это привычка, которую я переняла у тебя, Жанно, – обдумывать все про себя. Только у тебя эта привычка никогда не была глубокой. Обычно ты говоришь много слов, но когда дело доходит до их осуществления, чувства берут верх. А я другая – моя голова всегда верховодит сердцем...

– Вероятно, это объясняет Жерве ла Муата, – мрачно заметил Жан.

– Ревнуешь? – засмеялась Люсьена. – Не надо. Это не умно. Это значит мыслить, как любой другой, – это недостойно тебя, мой Жанно, потому что, как это ни странно, ты ведь личность или можешь ею стать. Большинство людей, ты знаешь это, личностями не стали. Они марионетки, управляемые теми, кто над ними, собственными страхами, другими людьми...

– Вот сейчас ты путаешь, – усмехнулся Жан, – и о целях тоже.

– Нет, не путаю. Ты ревнуешь к Жерве. Ты всегда ревновал, и это скорее грустно. Ты и люди тебе подобные перевер-

нули прекрасный мир вверх ногами, потому что тебя снедала зависть. Жерве выше тебя ростом, он веселее, гораздо более красив, чем ты когда-либо был. У него отличные манеры, он понимает женщин. Потому что он и такие, как он, никогда не заботились о том, чтобы скрывать свое естественное презрение к вам, трудолюбивым, неопрятным буржуа, а вы выпустили против них толпу. Крестьянство во Франции при всех своих бедах, говорил мне Жерве, живет лучше, чем крестьяне в других странах Европы. А Жерве не лжет – ты знаешь это. Он слишком уверен в себе, чтобы испытывать когда-либо малейший соблазн...

– Это правда, – вздохнул Жан, – в Жерве есть многое, чем я восхищаюсь...

– Отлично. Теперь ты на пути к тому, чтобы стать кем-то. Но возвратимся к твоей ревности – в том, что касается меня. Я убеждена, дорогой мой Жанно, что представления большинства мужчин о женщинах довольно смешны и едва ли не оскорбительны. Вы считаете нас своей собственностью, как собак или лошадей. Я спала с тобой. Прекрасно. Я делала это потому, что мне нравилось. А ты, который должен быть достаточно умен, решил, что я принадлежу тебе. А я никому не принадлежу – только самой себе...

– И даже Жерве не принадлежишь? – спросил Жан.

– Даже Господу Богу, если он есть. Жерве, видит Бог, никогда не был чрезмерно собственником. Думаю, он знает, что я ему изменяла по крайней мере две дюжины раз – нет,

больше. Но мы прекрасно справляемся с этим. Мы никогда не хвалимся друг перед другом. И никогда не лезем в дела друг друга. За все годы, что я знаю Жерве, не было случая, чтобы он спросил меня: “Где ты, черт тебя возьми, была прошлой ночью?” Никогда. Он не спрашивает, потому что знает, что я скажу правду. А поскольку никто не хочет вести себя иначе, чем обычно ведут себя мужчины, ему это не понравится. Поэтому он не спрашивает. Понятно?

– Бред какой-то! – вырвалось у Жана.

– А я думаю, это-то как раз и разумно. Безумен мир, Жанно. Когда мы уже придем к тебе? Я чудовищно устала...

– Скоро, – отозвался Жан, – теперь уже недалеко...

Она посмотрела на него, улыбаясь.

– Жан, а ты спал с сестрой Жерве? – вдруг спросила она.

– Ты, – напомнил ей Жан, – никогда не задаешь вопросов.

– Значит, спал. Как интересно! Я склонна была так думать, но Жерве не рассказывал мне. Вот это единственный раз, когда ты его достал, Жан.

– Откуда такие сведения? – проворчал Жан.

– Ее письма. Жерве очень неосторожен. Он обычно ругался, как солдат, каждый раз, когда получал от нее письма. Но ему никогда не приходило в голову уничтожить их. Так что я их читала. Она всегда в них спрашивала о тебе, и в такой жалостливой манере. Меня это развлекало. Ты действительно оказался хорош, или это сказалась ее неопытность?

– Черт побери, Люсьена! – начал Жан, но тут же сдержал

себя. – А ты сама это выяснить не хочешь? – спросил он шутливо.

– Возможно. Зависит от того, какое у меня настроение. Эта сторона жизни на самом деле никогда не была такой уж важной – разве что только для мужчин. Любая женщина, избежавшая мертвящей рутины, ожидающей ее – дом, муж, семья, – знает это лучше. Когда человек голоден, он ест. А когда не голоден, не ест. И нельзя все время есть одно и то же, даже икру. Правильно, Жанно?

– Ты, – вздохнул Жан, – воистину фантастическая женщина!

– Нет, просто усталая и крайне раздраженная. Надеюсь, у тебя дома найдется приличное вино?

– Самое лучшее, – заверил ее Жан.

Однако добираться до дома им пришлось дольше, чем он предполагал. Возникла необходимость обойти стороной еще с полдюжины очагов беспорядков. Повсюду раздавалась стрельба из мушкетов и человеческие вопли. На всех главных улицах солдаты возвели баррикады, и уже три четверти их были разрушены или подожжены народом. События вышли из-под контроля, оказались совершенно не регулируемы.

Когда Люсьена глянула вверх на первый пролет лестницы, она в сердцах выругалась.

– Возьми меня на руки, Жан. Ты выглядишь достаточно сильным.

Жан с легкостью поднял ее, как пушинку.

– Ого! – удивилась она. – Ты действительно сильный. Тюрьма очень изменила тебя... Ты переспал с нежной Николь до тюрьмы или после?

– Опять вопросы? – напомнил он.

– О, я имею право задавать тебе вопросы. Ты часть моего прошлого. Кроме того, меня это развлекает. А это случается довольно редко. Аристократы вроде Жерве, не задумываясь, развлекаются с девушками из буржуазных семей и даже с крестьянками, если им это нравится. Однако, поскольку они мужчины и являются составной частью нашего довольно примитивного общества, им и в голову не приходило, что можно поменяться ролями. Вот почему ваша история радует меня. Люблю видеть, как наказывается их высокомерие...

– Это, – безразлично произнес Жан, – не твое дело, Люсьена. Значит, я часть твоего прошлого?

– Прости. Не хотела задеть твою гордость, Жанно. Но так оно и есть. Возможно, ты мог бы стать частью моего будущего, но это зависит...

Нога Жана нащупала тонкое ограждение, и он отодвинулся от него, поближе к стене. Он с легкостью перенес Люсьену на другую руку и достал из кармана ключ. Открыл дверь, прошел прямо к постели, опустил на нее Люсьену и вытащил из секретера кремень с трутом.

Кто-то, выругался он про себя, должен изобрести более удобный способ добывания огня, чем этот. Однако он про-

должал ударять по кремню, пока искры не упали на трут и он начал тлеть, потом разгорелся огонек, от которого уже можно было зажечь свечу. Затем обернулся к Люсьене.

– От чего это зависит? – спросил он.

– Что зависит? Mon Dieu, что ты за настойчивый дьявол! Ты не должен задавать такие вопросы. Но я отвечу на него. Это зависит от многих обстоятельств – найду ли я, что ты достаточно приятен. Это первое обстоятельство и самое важное...

– А второе? – спросил Жан.

– Займешь ли ты в новом государстве положение, будешь ли ты обладать властью и влиянием. Не могу же я допустить, чтобы мне надоедали ничтожества. Мне очень нравится Жерве, но, думаю, он и ему подобные обречены. Скажем так, Жанно, я не могу вновь оказаться перед лицом невзгод и бедности. Я никогда не смогу полюбить человека бедного, каким бы очаровательным он мне ни казался. С другой стороны, я не могу жить с самым богатым, самым могущественным человеком на земле, если он не покажется мне приятным и очаровательным. Теперь ты все знаешь – code personnel de³¹ Люсьен Тальбот. А теперь, Бога ради, перестань меня допрашивать и дай лучше вина!

Жан достал бутылку и бокалы. “Она, – подумал он, – выражается очень четко, но ни за что на свете я не могу согласиться с такой четкостью”.

³¹ Личный кодекс (фр.)

Люсьена взяла бокал из его рук и сделала несколько маленьких глотков. Grimаса боли исказила ее лицо.

– Бога ради! – выпалила она. – Не стой так и не глазей на меня, сделай что-нибудь с моей спиной. Эта боль убивает меня!

Жан прошел в ванную, служившую ему и кухней, со второй свечой, которую он зажег от первой. Он снимал с полки целебную мазь, когда услышал у себя за спиной мягкую поступь ее босых ног по полу. Она оказалась рядом с ним, разглядывая сделанную в виде домашней туфли железную ванну, которую он купил за большие деньги и установил на кухне рядом с плитой, чтобы всегда была под руками горячая вода для купанья. Для своего времени Жан придавал большое значение личной гигиене.

– Ванна! – радостно изумилась Люсьена. – Жан, будь ангелом и согрей немного воды. Это выгонит из меня все болезни. Кроме того, после купанья от меня будет хорошо пахнуть. Будь так добр и зажги огонь...

– Хорошо, – сказал Жан и принялся за дело.

Он разжег огонь, спустился на улицу и вернулся с двумя большими ведрами воды из городского фонтана. Он поставил их на плиту и стал ждать. Люсьена тем временем вернулась в постель.

– Иди сюда и помоги мне выбраться из твоего сюртука, – попросила она. – Поначалу в твоей конуре было холодно, а теперь, когда горит огонь...

– Люсьена, Бога ради, – взмолился он.

– Не будь ребенком. Не рассказывай мне, что в твоём возрасте и после интересного опыта с высокорожденными дамами ты стесняешься вида голой женщины.

– Не женщины вообще, – возразил Жан, – а именно тебя.

– Как мило! Это самое приятное из всего, что ты сказал мне до сих пор. Тем не менее я вынуждена побеспокоить тебя, вот и все. Здесь становится ужасно жарко, а от твоего сюртука у меня все начинает чесаться. Будь хорошим мальчиком и помоги мне.

Жан принялся освобождать ее из сюртука.

Она встала с постели и прошла к зеркалу, высокая, гибкая, грациозная. Она подняла руки и собрала волосы, рассыпавшиеся во время их бегства, на затылке. Жану этот жест показался очаровательным. Но на ее спине виднелось с полдюжины больших зеленовато-синих синяков, а в одном или двух местах, где кожа была порвана, кровь запеклась черными пятнами.

– Одолжи мне свою гребенку, дорогой, – сказала Люсьена, растягивая слова. – Думаю, у меня хватит шпилек, чтобы удержать волосы, пока я буду принимать ванну.

Пока она причесывалась, Жан попробовал воду. Она уже была достаточно теплой. Он подождал, пока вода станет горячей, зная, что железо, из которого сделана ванна, несколько остудит воду.

– Готово, – объявил он и отступил, чтобы дать ей пройти.

С блаженным вздохом она погрузилась в ванну, сделанную так, что купающийся должен был сидеть, и его ноги оказывались глубже тела. Жан принес ей мочалку и мыло и вернулся к своему бокалу вина.

– Жанно, – позвала она, – подойди и потри мне спину. Не могу достать. Только, пожалуйста, будь осторожен – там все болит.

– Могу я спросить, – насмешливо произнес Жан, – кто был твоим личным лакеем до того, как я приехал в Париж?

– О, их было много, – весело отозвалась Люсьена. – Ты ведь не думаешь, что я запомнила их всех? А теперь будь милым и вытри меня. На самом деле ты, при всей твоей силе, очень нежен...

Когда он насухо вытер ее, она потянулась и зевнула.

– Так хочется спать, – беззаботно проговорила она. – Помажь мне спину, чтобы я могла заснуть. Надеюсь, ты не встанешь рано. Я собираюсь спать до полудня...

Жан присел на край постели и стал втирать мазь в ее раны.

– А где, – спросил он, – предполагается, буду спать я?

– Рядом со мной, конечно. Тебя это не будет волновать. Ты, должно быть, очень устал за сегодняшний день...

– А если я скажу, что не устал?

Она улыбнулась ему. Ее улыбка, подумал. Жан, самая грешная в мире.

– Тогда можешь лежать и слушать музыку моего легкого дыхания. Мне говорили, что я не храплю. Возможно, в иное

время я не буду такой сонной. Но сегодня, дорогой Жанно, я совершенно вареная. Кроме того, ведь и ты сегодня не был уж столь забавным, правда?

И, не ожидая ответа, она зарылась в подушки и закрыла глаза.

Жан сидел, глядя на нее.

Она всегда была сильнее меня, с горечью подумал он. Она без всяких усилий берет надо мной верх. Она знает, как это делать, и делает с таким éclat³². Какая совершенная техника. Она загородилась от меня стеной моей собственной гордости. Она знает, что я никогда не дотронусь до нее, пока она сама не захочет. О, будь прокляты твои глаза, Люсьена, я...

Стук в дверь заставил его вскочить. Он открыл дверь, там стояла, улыбаясь ему, Флоретта.

– Могу я войти, Жан? – спросила она. – Знаю, сейчас поздно, далеко за полночь, я только на минутку. Я принесла вам кое-что – письмо. Я заходила сюда раньше, и почтальон отдал его мне.

– Почему ты пришла? – спросил Жан, скорее, чтобы выиграть время, чем по какой-либо другой причине.

– Я... я хотела извиниться за все то, что наговорила сегодня. Но это не важно. Это может и подождать. Я могу подождать до завтра, но подумала, что письмо, возможно, очень срочное...

Жан услышал, как скрипнула кровать, когда там пошеве-

³² Блеск (фр.)

лилась Люсьена.

– Дорогой, – манерно произнесла она, – ты забыл, что я здесь? Кончай разговаривать с этой курочкой и иди в постель...

Флоретта замерла. Жан увидел, как помертвели ее глаза.

– О, – задохнулась она. – Возьмите ваше письмо, Жан!

Жан взял письмо и молча застыл, ощущая себя несчастным, слушая, как стучат ее туфельки по ступенькам лестницы. Она сбежала вниз очень быстро, без всякой предосторожности.

У него за спиной тихо смеялась Люсьена.

– Ведьма! – выругался Жан.

– Извини, – смеялась она, – начинаю находить тебя интересным. И кто знает, каким знаменитым ты можешь стать? Лучше с самого начала избавиться от конкуренции, n'est-ce pas?³³

– Ты совершенно невозможна, – сказал Жан.

Он вскрыл письмо. Оно было от Бертрана из Австрии. Жан быстро пробежал его глазами, и лицо его потемнело, так что шрам стал выглядеть белой молнией. Он медленно и очень тщательно сложил письмо и спрятал его в карман сюртука. Потом взял со стола пистолеты.

– Уходишь? – спросила Люсьена. – Сейчас?

– Да, – ответил Жан очень спокойно. – Ухожу.

Люсьена смотрела на него вопросительно. Потом медлен-

³³ Не так ли, ведь правда? (фр.)

но улыбнулась.

– А я, – промурлыкала она, – думаю, что больше не засну, Жанно...

Жан посмотрел на нее, и то, что она прочла в его глазах, поразило ее.

Он пошел к двери. На пороге обернулся.

– Когда следующий раз увидишь Жерве ла Муата, – сказал он, – можешь сообщить ему, что... его сестра... умерла...

Он спустился по лестнице и вышел в ночь, полыхающую огнем и содрогающуюся от ужаса.

8

До конца жизни Жан Поль Марен не мог вспомнить, где он бродил те двадцать часов между серединой ночи 12 июля и полночью 13 июля 1789 года. Впоследствии, слушая рассказ Пьера дю Пэна о том, что происходило в Париже в эти часы, ему приходило в голову, что он родился заговоренным от смерти, ибо он бродил в оцепенении по улицам, на которых гремели мушкетные выстрелы и полыхали пожары, не получив при этом ни единой царапины.

– Жизнь – это игра, – сказал он Пьеру, кривя губы, – и каждый игрок знает, что никогда не выигрываешь, если нужны деньги.

– Что ты, черт побери, хочешь этим сказать? – спросил Пьер.

– Пуля в голову из мушкета была бы актом милосердия, – прошептал Жан, – за который я был бы благодарен убийце...

Пьер посмотрел на него.

– Что тебя мучит? – ворчливо спросил он.

– Николь... – выдавил из себя Жан и протянул Пьеру письмо Бертрана.

Пьер прочел его с хмурой сосредоточенностью. Потом выпрямился, и лицо его вновь превратилось в маску сатира.

– И из-за этого ты играл в поддавки со смертью? – насмешливо спросил он. – Жан, Жан, как можно быть таким

взрослым дураком?

– Думаю, достаточно взрослым, – отозвался Жан. – Только, Бога ради, не говори мне, что во Франции есть другие женщины, столь же прекрасные, или любые подобные глупости. Была только одна Николь...

– В этом я не сомневаюсь. Хочу прояснить только один момент, на который должен был обратить внимание твой изощренный ум юриста. Судя по тому, что пишет твой брат, нет ни малейших доказательств, что графиня де Сен-Гравер погибла. Где свидетели? На каких данных твой брат основывает свое мнение – ведь он ясно пишет, что это лишь мнение? Только на том основании, что она не добралась до Австрии? Что это за доказательство?

– Читай дальше, – прошептал Жан, – прочитай, что говорил ее мажордом.

– Прочитал. Этот мажордом спасся от толпы, бежал на Виллу Марен, потому что знал о вашей дружбе с госпожой Николь и верил, что благодаря вашему влиянию среди крестьян дом окажется безопасным убежищем.

– Он оказался не прав, – мрачно заметил Жан. – Они сожгли наш дом тоже...

– Знаю. Но почему, во имя всех святых, этот мажордом выжидал, пока госпожа Симона не взяла его с собой в качестве слуги – все ваши слуги, видимо, разбежались, – чтобы представить свое странное свидетельство?

– Не знаю, – признался Жан.

– Он нашел в лесу окровавленную одежду детей и кусок женского домашнего платья, тоже в крови, которое носила госпожа Николь. Что же это за человек, который сберег эти кровавые трофеи? Кому он собирался их показать?

– Вероятно, Жерве ла Муату. Пьер, Бога ради, неужели ты не понимаешь? Этот старый дурак верил, что все дворяне Лазурного берега бежали за границу, и надеялся завоевать доверие графа с помощью своих страшных сувениров и рассказа о своей преданности – ведь никто не может его опровергнуть...

В этой истории, – подчеркнул Жан, – есть темные моменты, которые, видимо, ускользнули от твоего внимания, Пьер. Августин, кучер госпожи, был заодно с этими разбойниками. Разве не могли быть с ними в сговоре и другие слуги, может быть, и Роберт, старый мажордом?

– Не вяжется, – сразу же возразил Пьер. – Если он в сговоре с ними, зачем ему тогда бежать с семьей твоего брата? Он мог перейти к этой банде, как, похоже, проделали все остальные слуги. Выглядит все это мрачно, согласен. Но при отсутствии каких-либо исчерпывающих доказательств, почему не допустить, что в худшем случае они были ранены и потом сумели спастись?

– В это, – ответил Жан, – я пытаюсь поверить.

Но в голосе его не было никакой надежды.

В это время они проходили мимо Отеля Лазаритов или, вернее, того, что осталось от этого убежища. Имущество мо-

нахов – стулья, столы, картины, предметы религиозного обихода, утюги, занавески, тарелки, портьеры – все было свалено на улице в кучу, такую большую, что она перекрывала половину улицы. Толпа растаскивала зерно, которое лазариты согласно закону хранили, так как главным делом этого монашеского ордена было попечение о нуждающихся и больных и забота об их пропитании.

– С утра это уже пятьдесят первая телега, – с торжеством в голосе сообщил Жану и Пьеру какой-то бородатый бандит. – Подходите, граждане! Выпейте хорошего вина этих монахов с тонзурами – тут его больше, чем можно выпить.

Жан и Поль выпили. Они были вдвоем против пятидесяти и давно уже поняли, когда осторожность должна брать верх над храбростью.

Вокруг пахло вином. В канавах оно текло красными потоками. Оборванные, грязные люди лежали на животах, лакая вино, как собаки.

Жан смотрел на этих людей. Он был уверен, что никогда раньше не видел в Париже ничего подобного. Их лохмотья, кишащие – это было видно – вшами, едва прикрывали наготу. А вонь, исходившая от них, была даже на свежем воздухе непереносимой. Большинство их были бородатыми, многие со страшными шрамами, у некоторых не было глаза или уха.

– У них вид, – шепнул Жан Пьеру, – исчадий ада.

– А они оттуда и есть, – мрачно отозвался Пьер.

Пока они ждали, когда телеги с зерном минуют развали-

ны и выедут на улицу, из подвала раздался страшный крик. Жан и Пьер обернулись на него. Свора обитателей парижских клоак, бородатых и грязных, вышла из здания, неся на плечах мокрые, бесформенные кули, которые раньше были мужчинами и женщинами. Трупы были красного цвета, а от их лохмотьев разило вином.

– Утонули! – заорал один из тех, кто нес. – Какой-то дурак разбил в подвале бочку, и они утонули в вине! *Ma foi*³⁴, что за счастливая смерть!

Жан заметил, что одна из мертвых женщин была беременна.

– О, Боже, – шепнул он Пьеру, – уйдем отсюда!

На следующем углу обезьяноподобный бандит стоял у кучи мушкетов, сабель, пистолетов.

– Подходите, граждане, – выкрикивал он, – покупайте оружие! Самое лучшее, только сегодня утром взято из *Garde Meute*³⁵ патриотами для защиты нашей свободы! Подходите, покупайте! Мушкеты – три ливра за штуку! Пистолеты – по двенадцать су! Сабли – столько же! А за порох и пули – полагаюсь на щедрость добрых граждан!

– У тебя есть с собой деньги? – спросил Пьер.

– Есть, – ответил Жан. – А зачем тебе?

– Я оставил свои пистолеты Марианне сегодня утром, когда искал тебя. Она умеет ими пользоваться, я ее научил. А

³⁴ Клянусь честью (*фр.*)

³⁵ Склады жандармерии (*фр.*)

сегодня только дурак может ходить по Парижу невооруженным. Хочу купить пару пистолетов и мушкет, он бьет дальше и быстрее охладит пыл этих безумцев...

– Бери, – Жан протянул ему деньги.

– Тебе бы тоже не мешало купить мушкет. Я поэтому и искал тебя. Байи призывает всех добрых граждан вступить в ополчение и покончить с беспорядками. Возглавляет ополчение Лафайет.

– Ладно, купи мне порох и пули для пистолетов. И саблю. Думаю, если нам придется сражаться, то врукопашную. Я предпочел бы шпагу...

– Аристократ! – поддразнил его Пьер, но купил все, что Жан просил.

Уже через полчаса они шагали в обществе сдержанных буржуа, мрачноватых, решительных мужчин, готовых выполнить свой долг. К наступлению ночи сорок восемь тысяч человек, которых Байи призвал взять в руки оружие, прекратили беспорядки и грабежи. Жан в своем отряде выступал и как юридический советник. Так он отправил на импровизированные виселицы на фонарных столбах трех бандитов, участвовавших в беспорядках только ради открывшейся возможности пограбить, но он же освободил от наказания пятерых здоровенных мужчин, которые принимали участие в мятеже, полагая, что сражаются за третье сословие.

Конечно, они не могли остановить восстания. Но они могли и сумели перевести бунт в русло политическое, не дав со-

бытиям перерасти во всеобщую анархию и бандитизм, а такая угроза быстро нарастала.

К середине ночи этого ужасного тринадцатого июля все люди отряда были полумертвыми от усталости. Задача, которую они выполняли, требовала силы гигантов, полубогов. Они обосновались в Отеле де Виль, пережив часы, когда их капитан Легран, один из выборщиков Парижа, послал за тремя бочонками пороха и встал около них с горящим фитилем в руке, угрожая взорвать дом, свой отряд и самого себя ради удовольствия забрать с собой на тот свет добрую часть толпы, если эти завывающие безумцы не откажутся от штурма здания.

“Такие ситуации, – с горечью подумал Жан, – за считанные минуты старят человека лет на двадцать... Видит Бог, с меня довольно!”

Но, когда он сменился с караула, отдохнуть ему не пришлось. Он услышал, как Легран выкрикнул его имя.

– Здесь! – откликнулся он:

– Марен, тут пришел парень с запиской для вас. Говорит, это важно.

Жан, спотыкаясь, поплелся туда. Парня он узнал сразу. Это был подручный из типографии, и это означало, что его послала Марианна. Жан бросил взгляд в сторону Пьера, который дремал, прислонившись спиной к бочонку с порохом, но потом решил, что, если бы что-нибудь было не в порядке, Марианна адресовала бы записку Пьеру, а не ему...

– Это письмо принесли вам сегодня вечером, – сказал парень. – Мадам дю Пэн приказала мне тут же отнести его вам, но я не мог найти вас, господин...

– Ты все сделал правильно, – сказал Жан и дал ему пять франков.

В записке была всего одна строка: “Они арестовали меня и держат в Аббатстве”. И подпись: Люсьена.

Жан посмотрел на Леграна.

– Мою приятельницу по ошибке арестовали. Она из народа – родители ее крестьяне, хотя теперь она одевается и разговаривает, как дама...

– Где она? – коротко спросил Легран.

– В Аббатстве, – ответил Жан.

– Там она будет в безопасности. Но вы много сделали за этот день. Вы плохо выглядите, Марен.

– Знаю, – улыбнулся Марен.

– До завтра я освобождаю вас от несения службы. Что вы будете делать после того, как уйдете отсюда, меня не касается. Но советую вам оставить эту девку в тюрьме. В Париже сколько угодно мягких подушек, нет нужды возбуждать ярость народа, объявляя себя другом кого бы то ни было, кто утратил благорасположение народа...

Жан ухмыльнулся в ответ, в его страшной улыбке промелькнула былая *diablerie*³⁶.

– Благодарю вас за совет, господин капитан, – сказал он.

³⁶ Чертовщинка (*фр.*)

– Но следовать ему вы не собираетесь, – заметил Легран.

– Нет, – рассмеялся Жан, – не собираюсь. Возможно, когда-нибудь вы увидите, почему...

– Возможно, – вздохнул Легран, глядя на ночное небо, озарявшееся пожарами и затягивавшееся дымом, – если один из нас проживет достаточно долго.

В мрачной тюрьме, именуемой Аббатством, пропотевшая и перепачканная одежда депутата Национального собрания все-таки еще раз сослужила Жану Марену добрую службу. Ему тут же разрешили повидать арестованную.

Люсьена шагнула ему навстречу. Ее рыжеватые волосы были распущены и свисали до плеч. Лицо было невероятно грязным. Большой синяк красовался на левой щеке от скулы и до подбородка. Одета она была в один из костюмов Жана. При ее высоком росте костюм не казался велик, разве только в плечах.

– Не стой так! – закричала она. – Забери меня отсюда!

Жан посмотрел на нее и начал тихо смеяться.

Она ухватила руками за перегородку и стала яростно трясти ее.

– Выпусти меня, будь ты проклят! – кричала она.

Жан откинул голову назад и разразился хохотом.

Префект с удивлением смотрел на них обоих.

– Вероятно, – отважился высказаться он, – произошла какая-то ошибка, гражданин Марен...

– О, нет, – смеялся Жан, – никакой ошибки. Эта женщина

опасный враг народа. Думаю, вы должны надеть на нее кандалы.

Люсьена от ярости лишилась дара речи.

Префект посмотрел на Жана. Он подозревал, что его дурачат, но не мог понять, каким образом.

– Но, месье Марен... – начал он.

– Когда я выйду отсюда, – выкрикнула Люсьена, – я выцарапаю тебе глаза, Жан!

– Жан – это ваше имя, месье? – спросил префект.

– Да, – фыркнул от смеха Жан. – А эта дама моя жена. К сожалению, господин префект, она из этих современных женщин, которые не уважают авторитет мужа...

– Начинаю понимать, – улыбнулся префект.

– Я ей сказал, чтобы она не выходила из дома, поскольку на улицах опасно. Она нарушила мой запрет, и не раз, а дважды. Поэтому я запер ее одежду. Результат вы видите. Вы даже можете обнаружить мое имя, вышитое на подкладке этого костюма...

– О, гражданин, мне достаточно вашего слова, – рассмеялся префект. – Мы задержали вашу жену в качестве предохранительной меры. Толпе ее мужской костюм показался в высшей степени подозрительным, и они собирались разорвать ее на части как переодетую аристократку. Думаю, после всего этого у вас не будет с ней трудностей. Что вы скажете, мадам? После этого печального опыта...

– Благодарю вас, он получит свою порцию неприятно-

стей, – заявила Люсьена. – Сделал вид, что отправляется охранять порядок в городе, а на самом деле ухаживал за девушками в Пале-Руайяль... Прекрасный муж, доложу я вам, господин префект! Думал, что я не найду тебя, Жанно? Подожди, когда мы вернемся домой!

– Наверное, ее следует запереть на недельку, – с притворной тревогой предположил Жан. – Когда она разбушуется, то становится опасной...

Префект повернул ключ в большом замке.

– Думаю, у вас нет оснований для тревоги, гражданин Марен, – сказал он. – Если уж человеку посчастливилось жениться на такой красивой женщине, как мадам, он никогда в жизни не повернет голову, чтобы посмотреть на другую женщину!

– Вы галантный мужчина, гражданин префект, – сказала Люсьена, когда он с поклоном выпускал ее. – Может быть, если мой муж будет и впредь пренебрегать мной, вы согласитесь показать мне Париж?

Префект покраснел до корней волос.

– Вы оказываете мне слишком большую честь, – сухо произнес он, – ваш муж не похож на человека, которого я хотел бы иметь своим врагом. *Au voir*, мадам, месье.

– *Au voir*, – ответил Жан.

Люсьена улыбнулась ему.

– Когда это я вышла за вас замуж, гражданин Марен? – спросила она. – Я что-то не могу припомнить, при каких об-

стоятельствах...

– А ты и не припомнишь, – рассмеялся Жан, – ты была пьяна. Но я покажу тебе свидетельство – утром...

– Странно, – задумчиво сказала она, – мы очень похожи друг на друга, ты и я. Мы неплохо сыграли этот спектакль, правда?

– Ничего, – согласился Жан.

– А ты уже становишься властью в этом городе. Продолжай в том же духе, Жанно. Так ты сможешь вновь заинтересовать меня... с годами...

Жан взглянул на нее. Он перестал улыбаться. Из всего, что ему не нравилось в Люсьене, ничто не раздражало его в такой степени, как ее непомерное тщеславие.

– Думаю, нам пора двигаться, – вздохнула она. – Ладно, здесь недалеко. Мне кажется, все, что я делала в последние несколько дней, так это шла бесконечные лье и никогда никуда не могла дойти...

Жан не ответил ей. Мысли его устремились в другом направлении. Он поражался, как это получается, что две женщины, которые разбудили в нем самые глубокие чувства, оказываются столь различными, как Николь и Люсьена.

– Вот мы и пришли, – с насмешкой в голосе сообщила она. – Пригласила бы тебя зайти, но поскольку уверена, что ты примешь приглашение...

– Не уверен, – сказал Жан.

– Я уверена. А я и так достаточно натрудилась за сего-

дняшний день, чтобы портить себе ближайшие два часа, отражая твои попытки воспользоваться своими правами мужа...

– Ты так уверена в себе? – спросил Жан.

– Абсолютно. Никогда еще я не встречала мужчину, которого не могла бы заполучить в свою постель... если я хотела его. Но он должен добиться, чтобы я этого захотела. А это – веришь ли ты мне или нет – трудная задача. Подумай над этим, Жанно...

– Что дает тебе основания думать, что я хочу? – проворчал Жан.

– Вот это, – сказала Люсьена.

С этими словами она привстала на цыпочки и поцеловала его в губы. Жан почувствовал, как зашевелились в башмаках его пальцы. Через двадцать секунд у него в висках застучали молоточки, через тридцать бешено заколотилось сердце, но она не отпускала его. Она прижимала свой рот к его губам так, что ему стало больно, и этому не было конца. Ее мягкие губы и кончик языка осуществляли свою дьявольскую игру. Потом совершенно неожиданно она отступила назад, а ее сильные руки танцовщицы оттолкнули его с почти мужской силой.

Она, смеясь, раскачивалась перед ним.

– Bonne nuit, mon Gann³⁷, – прошептала она. – Уверена, ты будешь крепко спать!

³⁷ Спокойной ночи, мой Жанно (фр.)

– Sacre bleu!³⁸ – проревел Жан.

Она прислонилась к двери, обессилив от смеха.

– Сегодня ночью я в тебе не нуждаюсь, Жанно, – продолжала смеяться она, – и все остальные ночи на этот предмет... тоже. Когда ты спас меня от этих ведьм, я как раз возвращалась от Жерве. Я не разрешила ему провожать меня, чтобы не рисковать его жизнью...

Жан стоял, глядя на нее. В глазах его сверкала ненависть.

– Но ты не будешь слишком уж одинок, *mon pauvre*³⁹, – продолжала она. – На худой конец ты всегда можешь послать за той маленькой курочкой с нежным голоском, которую я спугнула, помнишь?

– Флоретта! – выдохнул Жан. – Святой Боже, я забыл о ней!

Он повернулся и пустился бежать по улице.

Люсьена смотрела ему вслед, маленькая задумчивая морщинка появилась у нее на лбу.

“Флоретта, – задумалась она. – Надо запомнить это имя”.

– Нет, – сказал консьерж, – бедная девочка не приходила сюда, месье... с тех пор, как была здесь две ночи назад. Я ужасно волнуюсь. При всех этих беспорядках на улицах, никто не может ручаться...

³⁸ Будь ты проклята! (*фр.*)

³⁹ Бедняжка (*фр.*)

Однако Жан не дослушал его. Он опять бежал с удивительной быстротой для человека, чья голова не прикасалась к подушке более сорока восьми часов.

Но все напрасно. Флоретты не оказалось ни в одном из тех мест, где она обычно продавала цветы, хотя вряд ли можно было встретить ее там в столь ранний час. Не было ее и у дю Пэнов, куда она часто заходила повидать Марианну. Жан даже вернулся в свою квартиру, надеясь обнаружить ее там. Квартира была пуста, камин остыл, постель не убрана, как ее оставила Люсьена.

Он ополоснул лицо холодной водой и стер пыль полотенцем. Затем вновь взял саблю и пару пистолетов и вышел на улицу.

К десяти часам этого утра 14 июля 1789 года он вынужден был прекратить поиски. Он слишком устал, чтобы ходить по улицам. Он зашагал по направлению к своей квартире, еле передвигая ноги, как семидесятилетний старик, пока не оказался на улице Сент-Антуан.

Она была вся запружена людьми. В толпе попадались светские дамы и хорошо одетые мужчины. Все смотрели на мрачные башни Бастилии.

Жан не мог разглядеть вершины башен, они были окутаны дымом. До него доносились мушкетные выстрелы, он видел, как дымок от выстрелов появлялся на крышах, в окнах домов, на просторах площади.

Жан стал проталкиваться сквозь толпу, он забыл об уста-

лости. То, что происходило в Париже до сих пор, это мятеж, уличные беспорядки, а вот атака на Бастилию – совсем иное, это уже революция.

“То, чего мы добиваемся, – думал Жан, – должно делаться постепенно, но в конце концов мы победим. А сейчас они все хотят проделать с ходу, но кто может предсказать, будут ли результаты хорошими или никуда не годными”.

Толпа стояла так плотно, что Жану пришлось прибегнуть к силе своих плеч и локтей, чтобы пробиться вперед. Впрочем, когда люди увидели у него в руке обнаженную саблю, они стали расступаться.

Первым, кого он увидел, когда выбрался на площадь перед внешними укреплениями четырехсотлетней крепости, ставшей тюрьмой, был Пьер дю Пэн, который, припав на колени за перевернутой телегой, стрелял вместе со всеми. Жан пригнулся, собираясь перебежать к другу, но вдруг понял, что будет выглядеть смешным. Восемьдесят стариков-инвалидов на башнях и тридцать два швейцарских гвардейца не стреляли. Жан выпрямился и, как бы прогуливаясь, дошел до своего друга.

Он простоял около Пьера несколько минут, пока этот рыжий был занят тем, что перезаряжал свой мушкет. Прежде чем Пьер выстрелил, Жан положил ему руку на плечо.

– Как по-твоему, чем ты занимаешься? – насмешливо спросил он.

Пьер ухмыльнулся в ответ.

– Стреляю, – ликующим голосом сообщил он. – На, выстрели!

Жан взял мушкет из рук Пьера.

– Может, расскажешь мне, – спросил он, держа мушкет так, словно первый раз в жизни видел эту штуку, – что с ним надо делать?

– Как что? Стрелять, конечно.

– В кого? – с насмешливой серьезностью задал вопрос Жан.

– *Espere dun idiot?*⁴⁰ – заорал Пьер. – В Бастилию, длинноухий осел! Ты что хочешь сказать, что сам не видишь?

– Нет, я все вижу, – рассмеялся Жан. – Не вижу только смысла палить из мушкета по стенам в восемь футов толщиной, за которыми скрываются люди, которых я даже не вижу и которые к тому же не стреляют в ответ...

Пьер печально покачал головой.

– Жан, Жан, – простонал он, – иногда я сомневаюсь, есть ли у тебя что-либо в голове. Конечно, мы не можем взять Бастилию с помощью мушкетного огня. Но она все равно падет – от шума, от страха, как пали стены Иерихона... так что я собираюсь стрелять и дальше. Меня радует, что я не могу таким образом никого убить. Я не хочу убивать. Все, чего я хочу, *rauvre bete*⁴¹, чтобы как можно больше людей видели, как я, мужчина с сердцем льва, храбрец и тому подоб-

⁴⁰ Ты что, идиот? (*фр.*)

⁴¹ Ты, несчастное животное (*фр.*)

ное, сражаюсь в первых рядах героев, разрушающих вековой символ тирании... а потом, неужели ты не понимаешь, что впоследствии это будет кое-что значить во Франции – оказаться одним из героев взятия Бастилии!

Жан сразу понял, что в этом безумии была определенная логика. В Бастилии, он знал, заключенных не было уже несколько лет. Ее охраняли ветераны, старые солдаты, вернувшиеся с полузабытых войн, однако недавно гарнизон крепости усилили отрядом молодых швейцарцев. Однако в сознании народа Бастилия оставалась главным символом многовековой тирании. Штурм и даже взятие Бастилии не причинили бы вреда режиму. Правительству крепость была не нужна, ее содержание ложилось бременем на бюджет.

Но когда в истории, подумал он, факты оказывались выше идей? Как объект, как тюрьма Бастилия ничего не стоит, но как идея... Победим или потерпим поражение, но сегодня мы подождем всю Францию.

С такими мыслями он поднял мушкет и выстрелил, стараясь ни в кого не попасть.

Вплоть до полудня все это выглядело типично для французской комической оперы. Для людей было сумасшедшим испытанием стрелять стоя посреди незащищенной улицы и выпуская залп за залпом по крепости, которая им стрельбой не отвечала. И только после этого, как выборщика Тэрио дела Розье с депутатией допустили в крепость для переговоров с комендантом Бастилии де Лонэ, Жан начал осознавать, что

ситуация ухудшается и грозит перерасти в трагедию.

– Если начнется сражение, – сказал он Пьеру, – если они откроют ответный огонь, даже при том, что их там мало, представляешь, какая тут будет мясорубка? У них там, не забывай, есть пушки, и даже если де Лонэ откатит их немного назад...

– Ты прав, гражданин, – отозвался на эти слова молодой гигант, стоявший рядом, – но я собираюсь кое-что предпринять в этой связи.

– А что вы хотите сделать, гражданин? – спросил Пьер.

– Пойду на Гревскую площадь, – ответил гигант, – переговорю там с гвардией. Я у них резервист, меня они выслушают. Тогда, граждане, у нас будет оружие! А уж тогда эти уроды будут стоять на ушах!

– Как ваше имя, гражданин? – спросил его Жан. Впоследствии может оказаться полезным знать такие вещи.

– Юлен, гражданин, – громко произнес молодой гигант с сильным швейцарским акцентом. – Думаю, после сегодняшнего дня мир будет иметь повод запомнить это имя!

Он ушел, шагая широко, как Геркулес, в сторону Отеля де Виль.

Жан осмотрелся. В толпе он заметил несколько знакомых ему людей, парижских выборщиков, которые после того, как они избрали депутатов Национального собрания, держались друг друга и являли собой теперь только тень городской власти. Жан надеялся увидеть кого-нибудь из депутатов, прие-

хавших вместе с ним из Версаля, они, помимо всего прочего, могли бы кое-что уладить путем переговоров. Но никого не обнаружил. Видимо, подумал он, они вернулись, чтобы занять свои места в Зале Малых Забав.

Оставалась надежда на выборщиков. Жан протиснулся к ним и сказал каждому несколько слов. Они мрачно кивали головами и сгрудились у него за спиной. Жан пошел по направлению к подъемному мосту, размахивая своим белым воротником, который он снял с шеи.

Мушкетный огонь ослаб и совсем прекратился. После нескольких минут, показавшихся им бесконечными, они услышали скрип лебедки, опускавшей мост.

Солдат проводил их к де Лонэ. Старик выглядел мертвенно бледным, но от отчаяния, не от страха.

– Я никогда не сдам свой пост, – заявил он, – только по приказу моего короля.

– Подумайте хорошенько, господин комендант, – сказал Жан. – Если дело дойдет до кровопролития, это будет многим стоить жизни. Знаю, вы, как солдат, не цените свою жизнь слишком дорого, но подумайте о своих людях... подумайте о невинных людях там, на площади...

– Невинных? – загремел де Лонэ. – Они безумцы! Я дам вам свой ответ, месье Марен! Пойдемте со мной...

Жан и его депутация последовали за комендантом. Старый воин проводил их в подвал под тюрьмой. Дряхлый солдат открыл им дверь.

Жану достаточно было одного взгляда, чтобы понять, где они оказались. Это был пороховой погреб. Рядом со столбом стоял грубо сколоченный стул. На столе большая горящая свеча.

– Смотрите! – сказал де Лонэ и показал рукой. По полу тянулись дорожки черного пороха к нескольким бочонкам.

– Мне стоит только опустить эту свечу, – мрачно произнес де Лонэ. – Скажите им об этом, месье Марен! Скажите им, что, если они будут настойчивы в своей глупости, я пожертвую собой, своим гарнизоном, арестантами, которых они хотят освободить. Но видит Бог, я захвачу с собой на этот марш-бросок тысячи людей!

Жан посмотрел на старого коменданта. Не было никаких сомнений, что де Лонэ выполнит свое обещание.

– Вы, господин Лонэ, – медленно сказал Жан, – солдат и человек чести. Я никогда не был солдатом, но для меня мое слово значит столько же, сколько ваше слово для вас. Я даю вам слово, что, если вы подождете некоторое время, я лично отправлю посыльного к господину Лафайету с просьбой, чтобы он получил у короля такой приказ...

– Вы не сделаете ничего подобного! – прорычал де Лонэ. – Можете, если хотите, послать сообщение Его Величеству, информируя его о положении, в котором я нахожусь, но не более того, месье Марен. Ни вы, ни я не можем говорить Людовику Французскому, что он должен делать!

Жан Поль с волнением подумал, что половина сегодняш-

них бед происходит оттого, что не нашелся человек, который вообще мог бы что-либо сказать тому толстяку. О, да, он спросит совета и даже будет придерживаться его – в течение пяти минут... нет, на пять минут его не хватит. Даже те, кто знает его лучше других, клянутся, что легче удержать в одной руке смазанные маслом костяные шары, чем добиться от короля какого-то окончательного решения...

– Как вам будет угодно, господин де Лонэ, – сказал он и направился к лестнице.

Он послал Пьера дю Пэна с письменным обращением к маркизу Лафайету. Он мог бы и не утруждать себя. Лафайет все утро получал такие донесения и пересылал их королю. Но из Версаля не было никакого ответа. Никто даже не знал, доходил ли до Людовика этот поток отчаянных донесений. Говорили, что он охотится или мастерит замки – два главных развлечения, к которым король прибегал всякий раз, когда давление событий оказывалось для него чересчур назойливым.

Жан Поль видел, что события принимают угрожающий характер. Толстяк Луи Торней, каретный мастер из Моро, вбивал штыки между камнями стены. Многие бросились ему на помощь, и через несколько минут он уже вскарабкался на самый верх подъемного моста по этой лестнице из блестящих лезвий.

– Топор! – закричал он, и несколько парней бросились вперед, передавая ему большой топор. Он балансировал там,

широко расставив ноги – одна на одном штыке, другая на другом. Жан видел, как напряглись его мускулы, он поднял топор и обрушил его, вызвав дождь искр, на цепь, удерживающую мост.

А по другую сторону моста Обэн Боннемэр вскарабкался на крышу кордегардии и начал бить по цепи с более удобной позиции. Это были безумцы, демоны, наносившие удары с нечеловеческой силой. Первой поддалась цепь на стороне Боннемэр, и тяжесть огромного моста разорвала ее. Потом топор Торнея разломал звено цепи на его стороне – подъемный мост задрожал, заскрипел, на несколько секунд завис в воздухе и потом стал падать, сначала медленно, потом все быстрее, пока не рухнул на другой берег рва с оглушительным грохотом.

Толпа с ревом бросилась по мосту. Но на полпути некоторые закрутились на месте, упали и остались лежать, царапая окровавленными пальцами доски мостового настила.

Жан посмотрел на башни. Дым от выстрелов становился гуще. Но и сквозь дым видны были пронзительно яркие вспышки. Де Лонэ приказал открыть огонь. Жан стал считать вспышки. Насколько он мог судить, стреляли человек тридцать. Это означало, что стреляют только швейцарцы. Инвалиды остались верны своей клятве не стрелять в народ Парижа.

Но эти тридцать швейцарцев стреляли с ужасающей точностью. Толпа отхлынула, унося раненых на улицу Серизе.

На площади остались лежать те, кому врачи уже помочь не могли. Безумный, бесполезный штурм Бастилии принес первые жертвы – а кровь жертв, как масло, подливается в огонь.

Вы мертвы, с горечью подумал Жан, глядя на эти трупы, вы, которые хотели только свободы и хлеба. А я, который с радостью поменялся бы местами с любым из вас, жив и должен жить, пока...

Пока что? Во имя чего и ради чего? Николь мертва, убита жалкими трусами. Люсьена вызывает у меня отвращение. И все, о чем я мечтал, новый мир, свобода, порядок, покой – все перевернуто вверх ногами дураками и мерзавцами...

Он бросил взгляд на восемь высоких башен и улыбнулся. Пьер сказал, что вы символы, что люди будут помнить вас, громаду камней и хранилище разбитых сердец! Во мне есть гордость, которую будут вспоминать – это то, чем вы наградили меня, – так что даже в поражении я буду выглядеть в глазах людей победителем.

С этими мыслями он поднял саблю и побежал к подъемному мосту. Позади него сформировалась толпа и побежала за ним с криками:

– Вот так, гражданин депутат! Веди нас, мы следуем за тобой!

Однако швейцарцы на крепостных стенах открыли огонь из пушки. На полпути к мосту отряд Жана растаял, несколько человек пали от осколков снаряда, другие, обезумев от страха, отступили. А Жан Поль пробежал под ливнем муш-

кетного огня, и ни одна пуля не задела его.

На мосту он остановился и оглянулся. Позади лежали только раненые и убитые. Он стоял, опираясь на саблю, глядя на море людей, сбившихся по краям площади, и на себя, стоящего так близко к крепостным стенам, что швейцарцы, чтобы выстрелить в него, должны были бы далеко высовываться, подставляя таким образом себя под выстрел.

“Глупец, глупец, – насмешливо подумал он, – даже смерть не желает тебя!” Потом он запрокинул голову и разразился хохотом, прокатившимся над толпой. На мгновение все замерло, выстрелы прекратились. А Жан Поль с великолепной безрассудной храбростью пошел обратно, не обращая внимания на мушкетную стрельбу и осколки пушечных ядер. Его хладнокровие смутило швейцарцев – они перестали стрелять и только глазели на этого сумасшедшего, и, когда он дошел до толпы, даже солдаты на бастионах приветствовали его криками.

Потом сражение вспыхнуло с новой силой. Виноторговец Шолэ, у которого Жан и Пьер частенько покупали свою ежедневную бутылку вина, вместе с моряком Жоржа суетился около бронзовой пушки, лет сто назад вывезенной из Сиама. Жалкие ядра этого древнего орудия отскакивали от круглых башен, вряд ли оставляя там даже царапины, но толпа каждый выстрел приветствовала бурными криками.

Все прилегающие к крепости строения горели, распространяя густой удушливый дым. Горели кордегардия, ярким

пламенем горели кухни, вызывая дикое возбуждение толпы, но никак не способствуя взятию Бастилии. Из дверей арсенала с воплем выбежала женщина в дымящемся платье.

– Он сумасшедший! – истерически визжала она. – С факелом среди бочек с порохом!

Жан мгновенно отреагировал на ее крик. Он метнулся в открытую дверь арсенала как раз вовремя, чтобы разглядеть маленького человека, который, пригнувшись, весело поджигал дорожки селитры с порохом. Ему, видимо, и в голову не приходило, что взрыв не принесет никакого вреда Бастилии, но убьет сотни атакующих.

Жан ударил его в живот прикладом мушкета Пьера и вытащил на свет. Только тогда он узнал этого маленького человечка – этот поджигатель, этот самоубийца был ни кем иным, как парикмахером из Сент-Антуанско-го предместья, известный своей кротостью.

Однако времени для воспоминаний не было. Внутри склада с шипением горели пороховые дорожки, протянувшиеся по полу к бочонкам с порохом, которые оборвут жизнь сотням людей. Жан глубоко вдохнул воздух и бросился внутрь, в клубы дыма, разбрасывая ногами пороховые дорожки, чтобы бегущий по ним огонек не добрался до бочонков. Однако стоило ему потушить одну дорожку, как вспыхивала другая. Он затапывал огонь, расшвыривал ногами порох, пока наконец не потушил их все. Дымился только один бочонок с селитрой. Жан свалил его на бок и выкатил за дверь. Тол-

па, увидев дымящийся бочонок, в ужасе отхлынула. Жан догнал катящийся бочонок, разломал его, рассыпал селитру и затоптал маленький огонек.

Вновь начали раздаваться выстрелы. Ревущая толпа схватила женщину, выбежавшую из внутреннего двора тюрьмы по упавшему подъемному мосту. Они привязали ее к *raillasse*⁴² и стали обкладывать соломой и обломками дерева.

– Сжечь ее! – орали они. – Сжечь ведьму! Это дочь старика де Лонэ. Когда он увидит, как загорается костер под ней, он сдастся!

Жан сразу же бросился туда, размахивая мушкетом. Толпа раздвигалась перед ним. Но первым добежал до женщины другой человек, пробившийся с противоположной стороны. Жан уже через секунду оказался рядом с ним, и они вдвоем разорвали ее путы. Жан узнал этого человека – это был Обэн Боннемэр, один из героев, опустивших подъемный мост.

– Его дочь? – задыхаясь, спросил Жан, когда они освободили девушку.

– Нет, – прохрипел Боннемэр, – она продавщица в лавке дамских шляпок. Я ее хорошо знаю. Предоставьте ее моему попечению, я отведу ее в безопасное место...

“Вот так, – думал впоследствии Жан, – все и происходило в тот день – храбрецы, сражавшиеся с риском для жизни, вели себя с галантностью, вызывавшей подозрение, и руководствуясь правилами чести. А бездельники, трусы проявляли

⁴² Решетка сточной канавы (*фр.*)

себя жестокими насильниками”.

Однако времени для раздумий не оставалось. Толпа подтаскивала телеги с горящей соломой, политой водой, они давали обильный дым, окутывающий подъемный мост и другие укрепления. Расчет был на то, чтобы выкурить защитников крепости. Но ветер изменился, и атакующие сами начали задыхаться. Жан Поль, Эли, Большой Рауль, галантерейщик оттаскивали их назад, обжигая себе руки.

Кругом стоял дикий шум, царило смятение и хаос. Пожарные местного квартала возились вокруг своих насосов, пытаюсь залить водой жерла пушек на башнях. Их совершенно не смущало то, что струи воды не достигали и половины высоты Бастилии, они продолжали качать, обливая водой толпу.

Жан видел, как молодой плотник, взобравшись на плечи своих друзей, призывал помочь ему в сооружении катапульты. Пивовар Сантер предлагал полить каменную кладку башен смесью нарда, макового масла и фосфора, от которой они должны трескаться. Все стреляли. Рядом с Жаном молодой человек обучал свою подругу обращению о мушкетом, турок в чалме и шароварах самозабвенно стучал в барабан.

Слух Жана уловил новую ноту в реве толпы. Вернулся Юлен и привел с собой Французскую гвардию. У штурмующей толпы теперь появилась пушка, настоящая пушка. Майяр, Эли и Юлен взяли на себя командование. Орудие стало изрыгать ядра, от ударов которых о стены на толпу с башен посыпались каменные осколки.

Очень скоро дело было кончено. На башнях появились белые салфетки, привязанные к дулам мушкетов. Жан присоединился к группе людей, возглавляемых Майяром, которые несли длинную доску. Они перебросили ее через ров, и Жан и другие стали прыгать на ней, чтобы весом своих тел укрепить доску. После этого Майяр прошел по пружинившей доске и принял условия сдачи:

Пощады всем, гарантия неприкосновенности всем сдавшимся.

– Принято! – закричал Майяр. – Ручаюсь честью офицера!

Юлен и Эли повторили вслед за ним, и был опущен второй подъемный мост.

Неожиданно орда орущих, ругающихся безумцев хлынула в крепость, стреляя, круша все, что попадалось им на глаза. Ворвавшиеся следом за первыми, после них стреляли в тех своих товарищей, которые оказались внутри здания.

Жан Поль вместе с Юленом, Эли и Майяром с оружием в руках пытались защитить пленников.

Все было бесполезно. Толпа приветствовала швейцарцев, стрелявших в них, приняв их за арестантов из-за их синей формы. Одновременно ворвавшиеся, как дикие звери, набросились на инвалидов, которые все до единого отказались стрелять в народ. Несчастному старику, который выбил факел из рук де Лонэ и предотвратил взрыв тюрьмы, трижды вонзили в грудь саблю и отрубили руку, ту самую руку, ко-

торая спасла жизни его мучителей, и насадили ее на пику, чтобы пронести ее по улицам.

Несмотря на все усилия Жан Поля и его товарищей, пять офицеров и три старых солдата были зарезаны на месте. Жан Поль и Юлен, шатающиеся от усталости, заслонили де Лонэ своими телами. Однако в воротах здоровенный бандит догнал их и разрубил коменданту Бастилии плечо. На улице Сент-Антуан толпа набросилась на них, сорвала с де Лонэ шляпу, вырывала у него волосы, плевала ему в лицо, наносила удары.

Жан Поль отбивался саблей, нанося удары плашмя, Майяр и Юлен защищались прикладами мушкетов и таким образом довели истекающего кровью, избитого старика до сводчатой галереи Сен-Жан.

Однако им ничего не помогло. Оружие, визжащие мужчины и женщины повалили на землю даже великана Юлена. Жан оборонялся один, оттертый от Майяра. Охваченный яростью, он даже сумел расширить пространство вокруг коменданта, когда увидел в толпе знакомую тоненькую фигурку. Девушка обращала свой невидящий взор в разные стороны, на ее прелестном лице отражалось полное замешательство.

– Флоретта! – закричал Жан.

Она посмотрела в ту сторону, откуда раздался его голос, а он выждал мгновение, что оказалось ошибкой, потому что это отвлекло его внимание как раз настолько, чтобы борода-

тый бандит занес свой мушкет и обрушил приклад. Жан среагировал и отпрянул в сторону, но опоздал на какую-то секунду и получил скользкий удар. Он упал, и тьма опустилась на него. Он услышал, как рев толпы отодвигается и совсем затихает. Он ощутил, что его освободили от огромной тяжести и он уплывает к тихому берегу тьмы.

Всего через несколько минут, насколько он мог судить, до его сознания долетел тихий сладкий голос, называвший его по имени. На его лицо капали крупные слезы. Он услышал ее плач.

– Жан! О, они убили его! Жан, Жан, – этого я не переживу! Жан, ради Бога, не покидай меня...

С огромным усилием он открыл глаза.

– Я не покину тебя, маленькая Флоретта, – прошептал он. – Никогда...

Она склонилась над ним и стала покрывать его лицо поцелуями, бормоча от радости какие-то бессмысленные слова. Он оперся на руку и немного приподнялся. Ему открылась такая картина.

В агонии отчаяния де Лонэ оттолкнул мучителей с криком:

– Убейте меня! Во имя милосердия Бонсия, убейте меня!

В тот же момент дюжина штыков вонзилась в него, толпа сбросила его тело в канаву, и кто-то сунул саблю в руку мужчине, которого де Лонэ оттолкнул, с криком:

– Отруби ему голову! Это твоя привилегия, потому что

это тебя он ударил!

Всего несколько дней назад Жан сунул горсть монет толстому простаку, держащему сейчас в руках саблю. Этот человек был поваром, потерявшим место, потому что аристократы, у которых он служил, бежали. Сейчас этот идиот стоял, ухмыляясь и пытаясь отрезать голову мертвому старику, который был офицером и джентльменом в лучшем смысле этих слов. Идиот отбросил саблю и вытащил из кармана небольшой нож с черной рукояткой.

– Работая поваром, – горделиво объявил он, – я научился рубить мясо!

Он нагнулся и отрезал голову де Лонэ.

Толпа подхватила ее, насадила на острие вил и двинулась дальше.

– Что это, Жан? – прошептала Флоретта. – Что они делают?

– Ничего, – ответил Жан. – Просто шумят.

Он встал на ноги и взял ее за руку, подумав: в этом новом мире, создаваемом нами, быть слепой – счастье.

И он повел ее прочь сквозь беснующуюся толпу.

9

– С меня довольно, – заявил Жан. – Завтра я подаю в отставку!

Пьер улыбнулся. Улыбка получилась кривая.

– Рискаю показаться назойливым, – манерно протянул он, – могу только сказать...

– То, что ты уже говорил мне. Все правильно, ты действительно это говорил. Но даже ты не мог предвидеть, какими жестокими зверьми становятся люди...

– И все-таки, Жан, – вмешалась Флоретта, – их так жестоко угнетали...

– Знаю. Но они сражались за то, чтобы покончить с насилием, не для того, как я наивно полагал, чтобы в свою очередь стать насильниками. Думаю, ни Пьер, ни я, ни кто-либо из тех, кого я знаю, тысячи раз рисковали жизнью не для того, чтобы отдать Францию парижским уличным демагогам...

Он встал и прошел туда, где сидела Флоретта. На коленях у нее лежал предмет, напоминающий рамку для картины. Под ним была прилажена деревянная досточка, в которой острым ножом вырезаны буквы алфавита. Используя этот трафарет, она могла выводить буквы и таким образом учиться писать. При ее проворных пальчиках она делала замечательные успехи.

– Отложи это, – сказал он. – Пиши без него.

Флоретта последовала его совету. Медленно вывела она его имя, потом свое и протянула ему, чтобы он посмотрел. Буквы были начертаны неуверенной рукой, строчка ползла вниз, но разобрать буквы было можно.

Пьер заглянул через плечо Жана.

– Почему бы тебе не сделать ей другую рамку с плоскими линейками? Она могла бы писать между ними, и линейки не давали бы сползать строчкам.

– Мысль хорошая, – откликнулся Жан. – Так и сделаю...

– Думаю, – сказал Пьер, взглянув на друга, – ты участвуешь в заговоре.

– В каком заговоре? – усмехнулся Жан.

– Марианны и Флоретты. Последний месяц они что-то замышляют...

– О, Жан! – чуть капризно произнесла Флоретта. – Ты должен все рассказать ему. Как это похоже на мужчин!

Пьер усмехнулся, услышав эту собственническую нотку, которая все чаще проскальзывала в ее голосе. “Будь я на его месте, – размышлял он, – ее слепота не стала бы для меня препятствием – при ее-то красоте и нежности! – для...”

– Я не рассказывал ему, – рассмеялся Жан, – но теперь, получив твое согласие, расскажу. Можно?

– Конечно, Жан. В конце концов он будет партнером...

– В каком это деле я буду партнером? – требовательно спросил Пьер.

– В новом предприятии, – ответил Жан. – Пьер, я продаю

печатный станок.

– Enfer!⁴³ – выругался Пьер. – Но почему, Жан? Дела идут пока что хорошо и...

– Объясню тебе почему. Только не перебивай. Если и после того, как я все расскажу, ты со мной не согласишься, готов выслушать все твои аргументы и попытаюсь ответить на них. Но прежде выслушай меня...

– Ладно, – согласился Пьер.

– Я убедился, – с грустью начал Жан, – что, помимо всего прочего, я сын своего отца. Похоже, у меня есть чутье на ведение дел. Странно – большую часть юности я жестоко ссорился со своим стариком, доказывая ему, что получать прибыль несправедливо, что торговля – это мерзкое занятие и тому подобное. Но парижская чернь убедила меня в том, что любое общество, не опирающееся на сильную промышленность, обречено...

– Слушайте, слушайте! – насмешливо воскликнул Пьер.

– Ты обещал не прерывать его! – сердито сказала Флоретта.

– А ты становишься типичной хранительницей устоев, – рассмеялся Жан. – Настоящий домашний тиран, правда, Пьер?

– Именно так, – твердо сказала Флоретта, – только так с вами, мужчинами, и можно., Как, по-твоему, где был бы Пьер без Марианны?

⁴³ Будь я проклят! (*фр.*)

– Где-нибудь в канаве, пьяный и счастливый, – ухмыльнулся Пьер.

– Этот спор нас ни к чему не приведет, – заметил Жан. – Послушай, Пьер, ты видел наш баланс за последние месяцы?

– Да.

– И что скажешь?

– Медленный, но неуклонный спад. Но это еще не повод, чтобы отказаться от газеты...

– Дело не только в этом. Есть и другие обстоятельства. “Меркурий” – последняя оставшаяся газета для людей умеренных, для тех, кто хочет превратить Францию в конституционную монархию, вроде Англии. Мы неуклонно теряем почву под ногами по двум причинам: наши клиенты бегут из Франции, где их жизни постоянно угрожает опасность, и потому, что те, кто остается, боятся, что их застанут за чтением нашей газеты даже у себя дома...

– Этого я не понимаю, – прервал его Пьер. – Одно дело в кафе, где полно зевак, но дома, думается мне, человек должен иметь возможность читать то, что ему хочется.

– Припомни, кто наши клиенты. Это все люди состоятельные, вроде бедняги Ревельона. Почти у всех у них есть слуги. Они единственное сословие, которое может позволить себе в Париже нанимать прислугу. А кто главные шпионы Пале-Руайяля, якобинского клуба, клуба кордельеров?

– Тут ты прав, – тяжело вздохнул Пьер.

– Теперь я перехожу к самому важному пункту, – очень

серьезно продолжал Жан. – Ты, Пьер, человек женатый. Пока что Бог не одарил вас детьми. Но вы оба молоды, так что – кто знает? А я... я устал от одиночества...

Пьер быстро глянул в сторону Флоретты и увидел, как вспыхнули радостью ее невидящие глаза. Не торопись считать себя счастливой, маленькая бродяжка, подумал он, наш Жан существо странное...

– Я не многого ожидаю от будущего, но глупо думать, Пьер, что мы сможем сражаться со всем миром. Не столь уж давно мы принялись за работу, держа пистолеты под рукой. А сколько уже раз этот гнусный коновал Марат избирал нашу газету мишенью, в своей грязной газетенке? Даже Демурен время от времени поминает нас. Мы в проскрипционном списке якобинского клуба. Уже не первый оратор в Пале-Ружайяле предает нас анафеме...

Конечно, хорошо быть храбрым и отметать их нападки. Но ни ты, ни я, ни один из нас не может позволить себе больше такую храбрость. У тебя есть Марианна, я взял на себя обязательство защищать Флоретту. Кроме того... но сейчас я об этом не буду говорить. В общем, наши жизни не вполне принадлежат нам, чтобы мы могли героически ими жертвовать. А бессмысленный героизм – самая большая глупость. Думаю, мы должны выждать, пока люди пресытятся кровью и безумием, пока не восторжествует разум, умеренность. И тогда под рукой должны найтись люди вроде нас, готовые спасти Францию. Если же эти безумцы изгонят нас, убьют –

что тогда? Эти чудовища уничтожают самих себя, но можем ли мы оставить страну на идиотов и простаков, которые идут за ними?

– Господин оратор, – засмеялся Пьер, – поздравляю вас. Прекрасное выступление. А теперь, если вы не возражаете, в чем существо вопроса?

– Существо, *mon vieux*⁴⁴, очень простое. Мы должны отойти от политики, отказаться от всякой деятельности, имеющей политический оттенок. Газеты – это чистая политика. Следовательно, мы отказываемся от газеты. Но мы должны зарабатывать себе на жизнь...

– Какое-то время мы можем протянуть, – вставил Пьер. – Не забывай, что я перевел все деньги, которые мы заработали, в золото. И тебе даже не пришлось вспомнить о своем наследстве...

– Именно так. Но у них теперь в ходу бумажные деньги, ассигнации. Наше золото с каждым днем становится все опаснее. Как только мы начнём его тратить, нас обвинят в том, что мы прячем богатство, и – на фонарный столб! Мой отец всегда говорил мне, чтобы я не слишком доверял деньгам. В тревожные времена их надо вкладывать в реальную собственность. Вот этим я и занимался. Я приобрел пять *hotels perticuliers*⁴⁵. Их перестроили под квартиры. Так что я могу жить, и неплохо, на ренту. Это прекрасные дома, рань-

⁴⁴ Старина (*фр.*)

⁴⁵ Особняк (*фр.*)

ше они принадлежали аристократам и богатым буржуа, которые бежали. Я купил их за бесценок. Я мог купить и больше, но в этом есть своя опасность. Уличные ораторы научили толпу слову “спекулянт”.

– Ты будешь рассказывать ему о нас? – вмешалась Флоретта.

– Да. Эта идея, Пьер, на самом деле принадлежит Марианне. Она увидела те три тысячи или около того странствующих портных, которые ежедневно собираются у Колоннады и обсуждают свое бедственное положение. Ты, конечно, понимаешь, что всякое производство предметов роскоши парализовано эмиграцией. Так вот, твоя очень умная жена придумала дать этим людям работу, открыв мастерскую или даже сеть мастерских, которые будут шить одежду для простых людей – в большом количестве, средних размеров, чтобы любой мужчина или женщина могли купить себе готовую одежду, требующую только, чтобы ее подогнали по фигуре. Ты когда-нибудь обращал внимание на то, что большинство парижан примерно одного роста, разница в какой-нибудь дюйм. Толпа, как правило, состоит из невысоких людей. Швейцарцы и немцы гораздо крупнее. Так что одежду будем шить на людей среднего роста, и какое-то количество размеров побольше и поменьше...

– Замечательно! – воскликнул Пьер. – И подумать только, она никогда мне ничего не говорила!

– Она хотела сделать тебе сюрприз. Мы начинаем запус-

кать наше предприятие через несколько недель, после того как кончится вся эта суматоха с празднованием Дня Федерации...

– Как странно, – прошептала Флоретта, – думать, что прошел уже год со дня падения Бастилии...

– Когда что-нибудь происходит каждую минуту, – заметил Жан, – время летит быстро. Ты, Пьер, возглавишь предприятие. Марианна будет руководить портными, а Флоретта, которая так легко управляется с цифрами, будет вести бухгалтерские книги. Это лучшая часть всего плана – то, что Флоретта сможет зарабатывать себе на жизнь, не подвергая себя капризам погоды...

Есть и другой путь защитить ее от всех бед, с горечью подумал Пьер, если бы у тебя хватило ума разглядеть его... Но эту мысль он оставил невысказанной. Он только спросил:

– А ты?

Жан рассмеялся.

– Я не представляю себя в качестве фабриканта готовой одежды, – сказал он. – У меня другие планы. Я уже обеспечил себя рентой, но, должен признаться, как сын своего отца я вынашиваю более грандиозные планы. Я имею в виду возрождение фирмы “Марен и сыновья”. Как только уйду в отставку из Учредительного собрания, поеду на юг и погляжу, что там можно сделать. Но я намерен перенести центр морской торговли в Кале, потому что предпочитаю жить в Париже. Ну и кроме того, поскольку необходим вооруженный

конвой, чтобы доставлять товары в столицу неразграбленными, то гораздо легче делать это через северные порты...

Пьер посмотрел на часы. У него была привычка носить двое часов. Потом он вытащил вторые часы и взглянул на них. Время совпадало до минуты.

– Не пойму, где так задерживается Марианна? – обеспокоенно произнес он. – Она давно уже должна была вернуться...

Жан посмотрел в окно, на улице быстро темнело.

– Нам лучше пойти встретить ее, – сказал он. – Ты тут будешь в порядке, Флоретта?

– Да, Жан, – отозвалась она. – У меня все в порядке.

Она произнесла его имя, словно лаская.

Мужчины взяли пистолеты и проверили их.

– Жан, – начал Пьер, как только они оказались на улице Сент-Антуан. – Собираюсь вмешаться в твои личные дела. Я старался не делать этого, но, видит Бог, не могу удержаться. Поэтому я и предложил пойти искать Марианну. Я знаю, где она, – стоит в очереди у булочной, чтобы добыть нам кусок хлеба. Ты ведь знаешь, на это всегда уходят часы...

Жан посмотрел на него.

– Выкладывай, – спокойно сказал он.

– Я о Флоретте, – сказал Пьер. – Бедная девочка любит тебя, Жан.

– Я знаю, – грустно отозвался Жан.

– Послушай, я понимаю, что она слепая. Но, черт побери!

Она хорошенькая, как картинка. И, что еще важнее, она воплощенная доброта. После твоей ведьмы Тальбот это должно привлекать тебя. Ты к ней добр, ладно. Ты снял для нее квартиру рядом с нами, так что Марианна может присматривать за ней, хотя она не нуждается, чтобы за ней ухаживали, она удивительно умеет обслуживать себя. Ты хорошо к ней относишься, но как к ребенку, любимому усыновленному ребенку. *Sacrebleui!*⁴⁶ Когда ты наконец разглядишь, что она женщина... женщина, нуждающаяся в тебе?

– Предлагаешь жениться на Флоретте?

– Да. Не предлагаю – настаиваю. Ну вот, я сказал тебе все. И чувствую себя гораздо лучше. Теперь ты можешь послать меня к черту.

Жан улыбнулся ему.

– Нет, старик, – мягко сказал он, – не стану тебя никуда посылать. Понимаешь, я почти намерен сделать то, о чем ты говоришь...

– Слышу тебя, – проворчал Пьер. – Ты сказал “почти”...

– Совершенно верно. Из писем Бертрана я знаю, что маркиз де Сен-Гравер находится в Австрии. Мой брат Бертран видел его...

– Ну и что? – спросил Пьер.

– Николь с ним нет. Жерве тоже думает, что она мертва. Он организовал расследование, послал туда своих людей. Я... я тоже верю в это, помоги мне Господь! Верю разумом,

⁴⁶ Черт побери! (*фр.*)

Пьер. Но только разумом. В сердце своем я продолжаю надеяться...

– Значит, бедная Флоретта должна ждать, – мрачно произнес Пьер, – пока ты не решишь, жива или мертва жена другого человека, на которой ты в любом случае не можешь жениться?

– Ты слишком логичен! – выпалил Жан. – Я поеду сам и расследую все факты. Не через агентов, которых нанимал ее драгоценный брат. Если она мертва, я смирюсь с этим, хотя и никогда не забуду ее. Если же она жива, я найду ее. Она вышла замуж за Ламона, потому что думала, что меня убили. История повторяется, но только если ей позволяют повторяться. Я хочу сказать, что должен быть уверен...

– А если ты найдешь ее живой? – поинтересовался Пьер.

– В Учредительном собрании уже обсуждался вопрос о разводах. Добьюсь, чтобы его вновь включили в повестку дня. Я даже могу путем компромиссов по другим вопросам, которые я заблокировал почти единолично, добиться принятия этого закона...

– Замечательно! – передразнил его Пьер. – Но если ты не против того, чтобы я порассуждал и далее, то логично предположить, что, хотя любой из этих вариантов теоретически возможен, все вместе они совершенно недостижимы.

– Почему? – спросил Жан.

– Потому что послезавтра ты подаешь в отставку. Следовательно, не можешь внести законопроект о разводе. Или,

наоборот, ты не подаешь в отставку. Тогда не можешь уехать из Парижа, чтобы выяснить, жива или нет Николь ла Муат, маркиза де Сен-Гравер. Тебе не хватает моего иезуитского образования, Жан.

– Morbleu! – выругался Жан. – Ты прав! Но я кое о чем подумаю... Между прочим, вон идет Марианна... Погляди, Пьер, она выглядит совершенно больной!

Пьер побежал навстречу жене. Кругленькое лицо Марианны, обычно такое румяное, было сейчас блее бумаги. Она в полубомороке повисла на муже.

– Думаю, никогда в жизни не видела ничего более ужасного, – прошептала она.

Жан, отставший от друга всего на один шаг, подхватил Марианну под другую руку.

– В чем дело? – спросил он.

– Посмотри! – Марианна выпрямилась, голос ее дрожал от отвращения. – Там, сзади...

Жан обернулся в ту сторону, куда она показывала. По улице маршировали дети, уличные мальчишки, парижские гамены. Они били в маленький бочонок как в барабан, играли на самодельных дудочках. А на своих импровизированных пиках они несли три кошачьих головы, с которых еще капала кровь.

– Она права, – вырвалось у Пьера, – это самое страшное...

Жан стоял, глядя на этих грязных детей. Сколько раз за прошедший год он видел, как несли на пиках человеческие

головы? Де Лонэ, Флессель, Фулон, Бертье, двое бедняг из швейцарской гвардии, которые в прошлом октябре пытались в Версале защитить королеву от толпы парижских женщин. Почти с физическим содроганием он вспомнил, как шел вместе с другими депутатами Учредительного собрания в этой толпе – такие же пленники, как и королевская семья, которая вынуждена была позорно демонстрировать свою покорность, – в Париж, в то помещение Школы верховой езды во дворце Тюильри, где ревущая толпа с галерей могла следить за каждым их движением. Он видел немало сцен, казавшихся ему пределом деградации. Толпа, насадившая головы героических швейцарских гвардейцев на пики, остановилась у парикмахерской и заставила парикмахеров завивать и пудрить их волосы на еще теплых, сочащихся кровью головах. Один из подмастерьев упал в обморок...

Тогда я еще подумал, с горечью рассуждал Жан, что жизнь не может преподнести ничего более ужасного, чем это зрелище. Оказывается, может. Сейчас мы стали этому свидетелями... Он старался понять, откуда у детей эта слепая жестокость, от которой к горлу подкатывает волна отвращения. Это стало возможным, предположил он, потому что убийства стали явлением повседневным. Боже милостивый! До какого же состояния довели мы Францию, если ее дети превращают смерть в игру?

Он помог Пьеру поднять совершенно изнемогшую Марианну к ним в квартиру.

Флоретта приготовила ужин. Марианна была не в состоянии что-либо делать, поэтому Жан и Пьер оказали Флоретте посильную помощь. Пережитое напряжение накладывало печать на все попытки завязать разговор. При Флоретте они не могли обсуждать то, что видели. Да им вообще не хотелось говорить об этом, и молчание в столовой Пьера становилось гнетущим.

– Думаю, – сказал наконец Пьер, – нам с тобой нужно выйти и показаться на Марсовом поле, бросить несколько лопат земли вокруг трибун. В наши дни не следует пренебрегать возможностью показываться перед публикой в общественных местах...

Жан свирепо посмотрел на него. Он уже собирался сказать, что его совершенно не волнует общественное мнение, но передумал. В конце концов все лучше, чем сидеть в этом тягостном молчании или возвращаться в свою одинокую квартиру в сумрак собственных размышлений.

– Хорошо, – утомленно сказал он. – Пойдем...

Это была неблизкая прогулка через мост Генриха Четвертого, по левому берегу Сены, мимо островов Святого Людовика в Сите, в виду высоких шпилей Нотр Дам и сумрачных круглых башен Консьержери, по узким улочкам района Сен-Жерме-де-Пре, заполненным людьми, направляющимися туда же, но за всю эту долгую прогулку ни один из них не проронил ни слова.

Марсово поле было черно от множества людей. Все копа-

ли, тащили тачки с землей, работая с таким усердием, словно от результатов этого труда зависит их жизнь. Завтра должен состояться праздник. Прошел ровно год с того дня, как героический народ Парижа взял Бастилию. Ожидались делегации со всех концов Франции, зрелище будет бесконечно пышным, значит, грандиозный земляной амфитеатр должен быть готов. Платные рабочие начали трудиться еще месяц назад, однако Демулен и другие журналисты обратили внимание народа, что строительство затягивается, и патриотическая лихорадка охватила весь Париж.

– Они, как дети, – тихо заметил Жан Пьеру, – легко возбудимы, как дети, и точно так же бездумно жестокие... Ну, надо начинать...

Они направились в самую гущу. Мимо них пробежал хорошо одетый господин, скидывая на ходу сюртук. Он остановился, закатывая рукава рубашки, освободился от жилета, из кармашка которого выглядывали часы.

– Часы! – закричали ему несколько работающих.

Мужчина горделиво выпрямился.

– Разве можно не доверять своим братьям? – ответил он и зашагал дальше, оставив на земле свою одежду и золотые часы.

– Могу ручаться, все это будет в сохранности, когда он вернется, – заметил Пьер. – Ты прав, они как дети. Затронь у них нужную струну, и с ними можно творить чудеса...

Подъехала тележка, груженная бочонками с вином. Хозя-

ин, стоя на ней во весь рост, кричал:

– Вино для патриотов-рабочих от меня, бесплатно! Прощу вас только, граждане, пить умеренно, чтобы хватило как можно большему числу людей и как можно дольше!

Потом он с помощниками стал разгружать тележку. Сотни людей, услышавших его слова, могли опустошить эти бочонки за каких-нибудь десять минут. Жан не раз видел, как они совершали такое, когда грабили монастыри и дома знати. Однако сейчас, к его удивлению, они только приветствовали виноторговца, но никто не вышел из шеренги работающих, чтобы заняться бочонками.

Жан ощутил, как приятно вновь взять в руки кирку, размять мускулы, приобретенные на каторге, вонзить кирку глубоко в землю. Через полчаса он оставил Пьера далеко позади, чувствуя, как ручейки пота сбегают по спине. Уже стало темно, но все Марсово поле было освещено тысячами факелов.

Бог мой, подумал Жан, да здесь весь Париж!

– А, Марен, – услышал он мягкий, сдержанный голос, слегка задыхающийся от физического усилия, – приятно видеть вас здесь!

Жан обернулся и увидел аббата Сиейеса, который вместе с Богарне толкал тачку. Она была слишком тяжело нагружена для такого тщедушного мужчины, и Жан решил, что им следует помочь. Вместе они прошли мимо маркиза де Лафайета, копавшего землю рядом с Байи, мэром Парижа. Пот

стекал с рыжих волос маркиза и капал с его длинного носа.

Происходило нечто странное, даже нелепое, но в то же время удивительно вдохновляющее. Здесь, понял Жан, осуществляются ближайшие подступы к настоящей демократии, какой еще не видывал мир. Вон неподалеку трудится целая семья – мать, отец, дети, а древний дед держит на руках младшего ребенка.

Огромный, могучий Дантон сдвигает небольшие горы земли, ему помогает, но плохо, тонкий, слишком красивый Камиль Демулен. Жан заметил, что Демулен больше занят своей записной книжкой, чем лопатой.

– Хочу кое-что сказать вам, гражданин Марен, – пророкотал Дантон. – Одну только минуту... не хочу отрывать вас от вашего патриотического труда...

Жан остановился, изумленный. С первого дня, когда он увидел Жоржа Дантона в кафе Шарпантье, дружбы между ним и этим гигантом не возникло. Демулен, неизменный спутник Дантона, несколько раз критиковал умеренность Жан Поля в своей газете “Революция во Франции и Брабанте”. Однако сейчас голос Дантона звучал непривычно мягко, выражение лица было вежливым и миролюбивым.

– К вашим услугам, господин Дантон! – откликнулся Жан.

– Гражданин Дантон, – поправил его великан. – Никаких ваших аристократических манер...

И даже этот упрек был высказан мягко и сопровождался заговорщическим подмигиванием. Жан выжидал.

– Хотел бы пригласить вас посетить клуб кордельеров, – сказал Дантон. – Знаете ли вы об этом или нет, но мы, кордельеры, с интересом следим за вашей карьерой. Правда, весьма странным для нас кажется ваше упорное нежелание присоединиться к какой-либо фракции. По некоторым вопросам, религиозным например, вы придерживаетесь таких левых позиций, как самый отпетый якобинец, в отношении некоторых других вы выглядите почти роялистом...

– А я и есть роялист, – улыбнулся Жан. – Конституционный роялист, как большинство моих левых коллег. Я за сохранение королевской власти главным образом как формального и символического института, лишённого в значительной мере реальной власти. Народ, гражданин Дантон, нуждается в зримом символе, вокруг которого можно сплотиться...

– Я с этим не согласен, – загремел Дантон, – но ваши аргументы, как всегда, сильные и ясные. Вот поэтому мы и хотим видеть вас в клубе кордельеров. Когда вы политически прозреете, ваша незапятнанная репутация и острая ораторская манера могут оказаться для нас бесценными. В четкости изложения с вами могут сравниться только Сиейес и, возможно, Робеспьер, но Робеспьер тупица, а Сиейес самодовольный дурак. Все остальные у них скомпрометированы, болтуны и люди, неуверенные в себе. Приходите, посидите на одном из наших собраний, выступите в дебатах против нас, если захотите, и, я уверен, мы убедим вас!

Жан не мог подавить смешок.

– Однако, – сказал он, смеясь, – ваш друг, гражданин Демулен, уже дважды или трижды объявлял, что нация выигрывает, если я буду повешен на ближайшем фонарном столбе!

Демулен улыбнулся.

– Но это, гражданин, было до того, как я узнал, что вы продаете свой печатный станок и прекращаете сражаться, со мной на поприще журналистики. Для меня это свидетельство того, что вы начинаете мыслить более четко. Я так же, как и гражданин Дантон, всегда испытывал уважение к вашему уму, а я слишком хороший патриот, чтобы лишать нацию такого ума, если его можно использовать для полезных целей...

– Благодарю за приглашение, – ответил Жан, – оно очень лестно. Вероятно, я его приму... Тогда вам сообщу...

– Приходите! – прогремел Дантон, и Жан двинулся дальше вслед за удаляющейся тачкой аббата Сиейеса. При этом он заметил, что некоторые группы работающих перестали трудиться и смотрят на него. В одной из этих групп стоял ветеринар Марат, терзая неистовыми пальцами свою чесоточную кожу, болезнь, которую он сам не мог вылечить, что являлось, как говорили люди, достаточной причиной его злобы. В другой группе Максимилиан Робеспьер следил за Жаном своими ледяными бесцветными глазами.

Странно, подумал Жан, как мало нужно, чтобы стать в эти дни в Париже заметной фигурой. Одно слово Жоржа Данто-

на, президента клуба кордельеров – как говорят, самого могущественного человека в Париже, – и меня уже заметили не только те, кто вскоре придет искать моей благосклонности, но и те, кто примеряет петлю палача к моей шее. Святой Боже, какой игрушкой фигляра становится жизнь!

Он уже почти догнал тачку, с которой с трудом справлялся маленький тщеславный Сиейес. Сиейес, который сказал: “Политика – это искусство, которым я, как полагаю, овладел...”, будучи уверен, что Франция поднимется или рухнет в зависимости от его политических махинаций. Подумав об этом, Жан улыбнулся. Потом его взгляд остановился на другой любопытной картине.

На склоне холма трудилась группа монахинь, они копали и переносили землю. Но не святые сестры приковали его внимание, у него просто отвалилась челюсть при виде группы молодых женщин, работавших рядом с монахинями, одетых в воздушные, совершенно прозрачные одежды. Их прелестные волосы растрепаны, тонкие талии перехвачены трехцветными поясами. Работая, они весело смеялись и оживленно болтали.

Жан некоторое время смотрел на них, потом откинул голову и разразился хохотом. Это было уже слишком – видеть танцовщиц из Оперы в компании самых известных шлюх Парижа, трудящихся бок о бок в полной гармонии с непорочными служительницами церкви. Его хохот донесся до них, они прекратили работать и стали смотреть в его сторону. По-

том одна из них отделилась и заскользила вниз по откосу.

– Жан! – смеялась она. – Я узнала этот твой идиотский смех...

– Не мог удержаться, – хмыкнул он, – увидев тебя, Люсьена, в столь возвышенном обществе. Это действительно смешно...

Люсьена оглянулась на работающих монахинь.

– Они такие душеньки, – улыbnулась она, – я весь вечер боролась с искушением шокировать их, но они такие миленькие, что у меня не хватило мужества. Одна из них весь день расспрашивала меня о моей жизни. Уверена, она была потрясена некоторыми жестокими подробностями. Еще минут десять, и я довела бы дело до конца, если бы не появился ты. Бедняжка, держу пари, ей придется годами каяться за те мысли, в которых я ее убеждала...

– Ты несправима, – сказал Жан.

– Знаю. И тебе это нравится. На самом же деле, Жанно, дорогой, я пришла сюда главным образом потому, что была уверена, что рано или поздно встречу здесь тебя...

– Какая честь, – съязвил Жан, – если бы только каждое твое слово не было чистой, отъявленной ложью.

– О, Жанно! – возмутилась Люсьена, причем ее обиженная интонация была только чуть-чуть преувеличена. – Какой ты недоверчивый! Помнишь, я давным-давно сказала, что могу вновь найти тебя интересным – в определенный момент...

– И этот момент настал? – улыбнулся Жан.

– Почему бы и нет, дорогой, – прошептала она с хрипотцой. – Думаю, да...

– Вот теперь я действительно польщен, – рассмеялся Жан. – Я понимал, что, когда Жерве ла Муат в прошлом октябре вместе с другими эмигрантами бежал из Франции, ты начнешь искать ему замену. Верность, голубушка, не относится к числу твоих достоинств. Но я вряд ли мог предположить, что незначительный провинциальный депутат, вроде меня, может привлечь твое внимание...

– Не такой уж незначительный, Жанно. Говорят, ты далеко пойдешь – из всех депутатов Учредительного собрания только ты и Робеспьер совершенно неподкупны. Это кое-что значит. Кроме того, это совершенно восхитительное предприятие – растлить неподкупного. Конечно, я имею в виду тебя. Не могу представить себя в постели с Робеспьером... – Она глянула в сторону маленького адвоката из Арраса. – До чего же он отвратителен! Я скорее бы прикоснулась бы к змее...

– А я, – поддел ее Жан, – готов скорее сражаться с молнией, как доктор Франклин, великий американский ученый, чем рисковать, чтобы ты еще раз обожгла меня...

– Как мило, – рассмеялась Люсьена. – Даже когда ты не справедлив и не добр, ты льстишь мне. Неужели ты действительно боишься меня, Жанно? В конце концов, я всего лишь бедная безобидная девушка...

– Дюбары и Помпадур тоже были безобидными девушками, – сухо заметил Жан, – однако именно они, одна начала, вторая завершила разорение Франции.

Люсьена присела перед ним в изысканном реверансе.

– Даже не представляешь, – сказала она, смеясь, – как мне лестно сравнение сразу с двумя женщинами, которые составляют мой идеал. Уйдем отсюда, заberi меня. Тебя уже видели. Тысячи идиотов завтра будут хвастаться, что трудились бок о бок с Неподкупным Гражданином, депутатом Мареном. А я погибаю от жажды...

– Ладно, – отозвался Жан и взял ее под руку.

Однако не прошли они и десяти футов, как Жана опять остановили. На этот раз граф де Мирабо, этот странный бывший аристократ, оставивший свое сословие, чтобы представлять в собрании третье сословие от Экса. Мирабо доминировал над всем Учредительным собранием, бросал вызов хулиганам на галерее, один, как лев, стоял против всех фракций, сражаясь, – Жан в это верил, – во благо Франции. Но тянущаяся за ним на протяжении всей его жизни и вполне обоснованная репутация развратника и гуляки мешала ему.

Два человека во всей Франции, неожиданно подумал Жан, могут спасти королевский трон – Мирабо и Лафайет, но ни у кого при дворе не хватает ума рассматривать их иначе, как предателей своего сословия...

– Могу ли я сказать вам, месье Марен, – произнес Мирабо своим хорошо поставленным ораторским голосом, – что в

высшей степени восхищаюсь вашим вкусом?

Жан нахмурился. Он частенько слышал жалобы женщин на мужчин, которые, по женской терминологии, “раздевают их глазами”. Но он никогда не видел, как это делается. А этот уродливый, рябой, старый распутник именно это и проделал, причем с такой тщательностью, что Люсьена покраснела до корней волос.

– Благодарю вас, – сдержанно ответил Жан, – но, думаю, предпочел бы, чтобы восхищались моим умом и ораторским искусством, как у господина депутата от Экса.

– Не глупите, – улыбнулся Мирабо. – Медной глоткой может обладать каждый, но быть в приятных личных отношениях с самой красотой... вот это, месье Марен, действительно достижение.

– Благодарю вас, господин граф, – произнесла Люсьена.

Она вновь обрела самообладание, но сознание того, что этот уродливый старик мог смутить ее, все еще беспокоило ее.

– Не стоит благодарности, – фыркнул Ми-рабо, – хотя, вижу, вас огорчило, что комплимент исходит от грязного старика, каким меня считают. Однако, господин Марен, хотя вы и вряд ли поверите, но я остановил вас не для того, чтобы получше рассмотреть вашу прекрасную спутницу, и истины ради должен признаться, что рад был увидеть такую женщину, ибо в данном случае я, вероятно, соединил приятное с полезным. На следующей неделе, вы знаете, ожида-

ется оживление светской жизни. Я буду принимать нескольких гостей у себя на Шоссе д'Антен. Почту за честь, если вы присоединитесь, месье Марен... и буду еще более рад, если вы приведете свою даму...

Жан изумленно смотрел на него. Оноре Габриэль Рикети, граф де Мирабо, был человек странный.

Хотя, промелькнуло в мыслях у Жана, я искренне верю, у него есть для этого основания. Всю свою жизнь он ожидал, когда ему достанется роль, достойная его талантов – а безрассудные поступки и ошибки молодости, вероятно, были рождены бунтом против, общества, которое оказалось неспособным оценить его по достоинству... Но могу ли я принять приглашение человека, про которого известно, что он приехал в Париж без единого су в кармане, у которого и сейчас нет явных доходов, не считая его жалкой газетенки и восемнадцати франков в день в виде жалованья депутата, и который тем не менее обладает сегодня великолепным домом в Париже, еще более крупным домом в сельской местности в Аржантейле, устраивает скандально роскошные приемы, о которых сплетничает весь город, тратит деньги, как принц?

Вероятно, это глупо гордиться своей репутацией. Тем не менее люди называют меня честным человеком и уважают за это. Может ли любая репутация, какой бы прочной она ни была, устоять, если мое имя будут связывать с именем Мирабо? Но если Мирабо, как говорят, получает деньги от роя-

листов, то это честно заработанные деньги, ибо он по-своему старается сохранить короля – все его речи свидетельствуют об этом...

– О, Бога ради, Жанно! – вырвалось у Люсьены. – Скажи ему, что мы придем! Я, во всяком случае, буду рада...

– Вы оказываете мне честь, мадам, – поклонился ей Мирабо.

– Мадемуазель, – поправила его Люсьена. – Месье Марен опасается проявить торопливость. Он до сих пор не удостоил меня этой чести и не сделал мне предложения...

– А вы примете его предложение, мадемуазель... – Мирабо сделал вопросительную паузу.

– Тальбот. Люсьена Тальбот. О, да! Но я начинаю отчаиваться когда-либо услышать его...

– О, мадемуазель Тальбот, теперь вы повергаете меня в отчаяние! Я хотел посоветоваться с месье Мареном, но вы до основания поколебали мою веру в истинность его суждений...

– Вероятно, его нежелание расстаться со своим холостым положением, – рассмеялась Люсьена, – и есть проявление того самого здравого суждения, о котором вы говорите, господин граф. Боюсь, я никому не достанусь...

– Мадемуазель не оставляет мне иного выхода, как выразить свое несогласие с ней, самым решительным образом, – рассмеялся Мирабо. – Ну, так как, месье Марен, вы окажете мне честь своим присутствием?

– Полагаю, – сухо заметил Жан, – ваше приглашение включает нечто большее, чем просто светский прием?

– Да... потом нужно потолковать о делах, весьма важных для Франции. Сейчас я об этом не могу говорить. Но могу заверить вас, месье Марен, в этих делах нет ничего постыдного. Если вы возьметесь за то, о чем я хочу просить вас, вы ничего не приобретете. Более того, вы будете многим рисковать – даже жизнью. Но, полагаю, вы, как один из негодяев, которые, как и я, довели Францию до ее нынешнего состояния, согласитесь пойти на некоторый риск ради спасения страны...

– Это вызывает у меня интерес, – сказал Жан. – Да, господин Мирабо, вы можете рассчитывать на наше присутствие.

Мирабо поклонился и поцеловал руку Лю-сьены. При всем своем демократизме Габриэль Рикети каждой своей клеточкой оставался аристократом...

Утром 14 июля 1790 года, проходя по амфитеатру, выстроенному на Марсовом поле, и держа под руку Флоретту – Пьер с Марианной шли в нескольких шагах за ними, – Жан не мог удержаться и присвистнул от изумления. Хотя он сам здесь трудился, видел, как все это сооружается, он осознал, что Марсово поле превратилось в нечто совершенно иное, чем просто место для парадов и демонстраций, стало чем-то большим, возможно, воплощением гения французской нации, обнаружившего здесь гордость, тщеславие, пристрастие к театральности, присущие расе исконно гордой, тщеславной

и не чуждой мелодраматических эффектов, которой мало крови и ужасов истории, которая всегда жаждет усилить это уже едва выносимое напряжение, приподнять его до пышно-го зрелища, до драмы...

– Что там, Жан? – вздохнула Флорет-та. – Расскажите мне... на что это похоже? Это на самом деле великолепно?

Жан задумался. Великолепно? Не уверен. Девка, кричащая, театральная и немного непристойная. Но сказать – великолепная? Да! Видит Бог, великолепная. Великолепная, жалкая, странная и ужасная, ибо что-то добавляет к общей картине. При всей нашей глупости, и кровожадности, и безумии, и жестокости мы все равно великий народ, может быть, самый великий, какой мир видел и когда-либо увидит еще. Мы во всем заходим слишком далеко, начиная с разгрома пустых тюрем и выставляя напоказ сочащихся кровью, насаженных на пики голов безвинных благородных людей и кончая помпезными выступлениями в собрании и стремлением исправить все зло столетий в один день... Мы создали конституцию не в результате медленного, трезвого опыта, как это сделали англичане, а прибегая к логике и забывая, что нет ничего в жизни более чужеродного для сознания человека, нежели логика, но даже эту абстракцию сделали великолепным, ужасающим парадом идеалов, которые никогда в истории человечества не осуществлялись и никогда не будут осуществлены, ибо человек всегда остается существом алчным, скупым, подлым. Его героизм – это комедия ошибок,

его смерть лишена даже элементов трагедии из-за своей полной никчемности, но хорошо, что эта трагедия написана и поставлена, ибо, несмотря на то что этого не может быть, это должно быть...

– Жан, – потянула его за рукав Флоретта.

– Да, голубка, – отозвался Жан, – это великолепно. Они насыпали искусственный холм высотой в пятьдесят футов так хитро, что он выглядит как настоящий. В нем вырезаны ступеньки и сделана большая пещера, у входа в которую надпись: “Храм Согласия”. На вершине холма установлена статуя Свободы с красным фригийским колпаком на голове и пикой в руке...

– Много сделано наспех, – проворчал Пьер. – Даже отсюда видны щели в штукатурке. Кроме того, я не представляю себе пику как символ свободы. А что изображает колонна рядом с ней?

– Колонна Гражданского согласия, – сообщил Жан, – а алтарь у ее подножия – это Алтарь Отечества. Талейран, епископ Отенский, отслужит нам сегодня мессу...

– Здесь много народа? – спросила Флоретта. – Я слышу так много голосов. И эта музыка... Я никогда не слышала ничего подобного!

– Там триста барабанщиков, – сказал Жан, – и тысяча двести трубачей. Кроме того, здесь столько пушек, что можно было бы выиграть большую войну. На каждом холме полно артиллерии, а на баржах подвозят по Сене еще и еще. Что

же касается публики, Флоретта, то здесь нет только тех парижан, которые слишком стары, парализованы или покойники...

Жан повернул голову и стал осматривать Марсово поле. На крыше Военной школы возникла новая надстройка, созданная галереями и сводом над ними, расписанным двумя десятками художников под водительством великого Давида, изобразивших эпизоды прошедшего года в грандиозной аллегорической форме. Люди, которых Жан знал со всеми их слабостями, мелочностью и корыстолюбием, на полотнах художников оказались гигантами, полубогами, гораздо более величественными, чем в жизни, значительно красивее, изображенными в своей официальной форменной одежде вершителей судеб государства и рядом – в виде древних римлян, облаченных в тоги, с такими мощными фигурами, которые вряд ли у кого из них были в действительности.

И все это – картины, триумфальные арки у ворот и у реки, железные подъемные краны, с которых свисают большие чаны с благовониями, насыщающими воздух, гул пушечных выстрелов, военная музыка, черные от людей вершины парижских холмов, с которых зрители наблюдают за церемонией в подзорные трубы, так что солнце отражается в окулярах вспышками маленьких молний, от куполов Дома инвалидов до ветряных мельниц, лениво поворачивающих свои крылья, Монмартр, Шалло расцвечено шелковыми и хлопчатобумажными тканями модно одетых женщин, – все ка-

залось великолепным, возвышенным, даже потрескавшаяся штукатурка статуи Свободы, претендующей на величие...

Музыка звучала все громче, все оглушительнее. Из ворот, проходя под триумфальными арками, вышла Национальная гвардия с развевающимися знаменами, за ней шествовал господин де Мотье, бывший маркиз де Лафайет, генералиссимус Франции, великолепный на своем белом коне, его рыжие не напудренные волосы блестели на солнце. За ним шествовали придворные, королевская семья, и заключал шествие Талейран-Перигор, епископ Отенский, с тремястами священников, одетых в белое, с трехцветными лентами. Эта процессия двигалась под гром пушечного салюта, гремевшего со всех высот Парижа, канонаду подхватывали пушки на других высотах, от деревни к деревне, так что в течение нескольких минут эхо пушечного салюта прокатилось по всей Франции.

Теперь на поле показалась кавалерия, медленно разворачиваясь в точно отмеренных построениях, каждый маневр выполнялся безукоризненно, включая и новые фигуры, придуманные специально для этого случая.

Потом Лафайет поднялся к алтарю, взмахнул мечом и произнес клятву верности от своего имени и от имени французской армии: “Королю, Закону и Нации”. Вслед за ним туда поднялся толстый, как всегда, все путающий Людовик и твердым голосом поклялся поддерживать конституцию, после чего небо словно расколосось от ликующих криков тол-

пы, все встали, и сто тысяч хриплых голосов повторили клятву, заглушив на мгновение даже пушечный салют.

– Это уж слишком, – обратился Жан к Флоретте. – Не могу описать тебе всего этого. Мне это представляется почти богохульством, словно люди хотят стать богами...

– А это и есть богохульство, – Прошептал Пьер. – Я... я поверить не могу, но что ты думаешь об этом?

Жан посмотрел туда, куда указывал Пьер. Епископ Талейран поднялся к алтарю, чтобы начать торжественную мессу, но неожиданно над алтарем собрались рассеянные ранее по небу облака, они становились черными быстрее, чем трехцветные, присягнувшие священники успели подняться по ступенькам, и прежде чем епископ поднял руки, призывая к тишине, хлынули потоки дождя.

Чаши с благовониями зашипели, яркие панно стали терять свои краски, нежные туалеты нимф из Оперы (Люсьена была среди них. Жан еще раньше разглядел ее в толпе), промокшие насквозь под ливневыми потоками, прилипали к стройным телам, повсюду раскрывались зонтики, тщательно сделанные прически осторожно прикрывали сюртуками.

Жан снял свой сюртук и завернул в него Флоретту, потому что никому из них в голову не пришло взять с собой зонтики, но раньше, чем он успел хоть частично укрыть ее, легкое шелковое платье, сшитое ей Марианной, промокло насквозь. Он стоял, прижимая ее к себе, ощущая, как она дрожит под его сюртуком, глядя, как сановники и знать бе-

гут в поисках укрытия, и вдруг осознал помимо своей воли высшую комичность доказательства продемонстрированной природой тщетности усилий человечества и всех его надежд, приходящих ему дома в голову. Из его горла вырвался взрывающий ввысь хохот, раскат за раскатом, навстречу ливню, вся сила его сарказма вылилась в этом странном нечеловеческом смехе, так что те, кто находился поблизости, замерли в своем бегстве к убежищам и уставились на этого высокого человека с изувеченным лицом ангела-дьявола, хохочущего как безумный сатана из самого ада. От этого хохота шевелились волосы на голове, людей охватывал внезапный холод и по коже пробегала дрожь.

– Прекрати, Жан! – закричала Флоретта. – Прекрати немедленно!

Жан пристально посмотрел на нее сверху, сардоническая усмешка на его лице медленно сменилась выражением нежности.

– Прости меня, любимая, – заговорил он, – я не хотел обидеть тебя.

– Ты... ты не обидел меня, – запинаясь, выговорила она, голос ее дрожал, – ты испугал меня, Жан. Порой, когда ты смеешься вот так, я понимаю, что по-настоящему не знаю тебя, что в тебе не один человек, а два, и одну твою сторону я совсем не знаю...

– Та моя сторона – это зло, – сказал Жан.

– Да... о, не знаю! Все, что я знаю, что это не тот человек,

которого я люблю...

– Отведите ее домой, Жан, – сказала Марианна. – Разве не видишь, что она уже посинела от холода.

– Хорошо, – отозвался Жан.

– Я пойду с тобой, – продолжала Марианна, – этот ребенок нуждается в уходе. Если ты, Пьер, хочешь, можешь остаться.

– Нет, – сказал Пьер. – Не собираюсь мокнуть ради того, чтобы слушать эту мессу, особенно когда ее служат священники, кланяющиеся гражданским властям и ставящие их выше церкви. Я человек неверующий, но если уж ты верующий, тогда, черт возьми, веруй и не иди на сделки. Пошли...

Марианна была права. Когда они пришли домой, Флоретту уже трясло в лихорадке. Но Марианна самой природой была создана для разрешения подобных кризисов. За десять минут она уложила Флоретту в постель, приложила к ее ногам нагретые камни, завернутые в полотенца, влила ей в рот горячий грог. Мало-помалу ее ноги и руки согрелись, горячий ром тоже сделал свое дело, так что ее прелестное неземное лицо вновь обрело свои краски. Жан сидел у ее постели до тех пор, пока ее не сморил сон. Тогда он встал.

– Пойду переоденусь, – сказал он. – С ней ведь все будет в порядке, Марианна?

– Все будет в полном порядке. Я останусь с ней просто на тот случай, если она проснется, хотя это маловероятно. А вы оба идите переоденьтесь. И ступайте на площадь Бастилии, и танцуйте там со всеми шлюхами. Знаю ведь, вы именно это

собираетесь проделать. Но если ты, Пьер дю Пэн, не явишься домой к полуночи, клянусь всеми святыми, получишь у меня большой железной кастрюлей!

– К полуночи! – ухмыльнулся этот плут. – Да я за это время развлекусь по крайней мере с тремя!

– Ишь ты, *le cog gaubois*⁴⁷, – пошутил Жан. – Или ты кролик с Ривьеры, кто из них?

– Во всяком случае не монах с изуродованным лицом, слушающий черную мессу, – выпалил ему в ответ Пьер.

– Оба вы хороши, – объявила Марианна. – Убирайтесь отсюда и дайте бедной девочке поспать.

На площади Бастилии, где уже не существовало мрачной тюрьмы, которую до самого основания разобрали парижане, было воздвигнуто Дерево Свободы высотой более шестидесяти футов, а на его верхушке водрузили огромный фригийский колпак, который впоследствии стал символом свободы. Среди разбросанных камней, оставшихся от крепости, установили искусственные деревья, украшенные фонариками, под которыми танцевала толпа.

Марианна оказалась совершенно права – по крайней мере половина девочек из Пале-Руайяля была здесь. Однако можно было увидеть и дам, некоторые из них даже представляли остатки знати и танцевали не только с хорошо одетыми господами, напоминавшими по виду буржуа, но и с мужчинами в рабочих куртках и длинных брюках, из сословия, именуе-

⁴⁷ Галльский петух (*фр.*)

мого sans culottu⁴⁸, не потому, что эти мужчины не носили брюк, а потому, что это были не бриджи до колен, какие носили представители высших классов. Здесь, на площади Бастилии, все общество уравнилось, чтобы сложиться заново – во что, в какое новое общество?

Виноторговцы установили множество ларьков, и среди шума и смеха зазывали желающих. Жан какое-то время стоял неподвижно. У него было странное настроение, непривычное для него. Обычно, когда дело доходило до еды и до выпивки, Жан бывал очень скромн, даже воздержан, к тому же он не испытывал потребности в компании. Но сегодня, как ни странно, привычное одиночество казалось ему невыносимым. Им овладело непривычное желание пить, смеяться вместе с другими, танцевать – оказаться однажды таким же, как все, забыть свой цинизм, свою насмешливость и окунуться в жизнь. Завтра он сможет вновь вернуться во мрак, в одиночество, но сегодня...

Он подошел к виноторговцу.

– Графин! – весело потребовал он. – И полный!

Пьер ухмыльнулся.

– Увидимся позднее, старина, – сказал он. – Я собираюсь заработать парочку ударов сковородкой!

Жан посмотрел, как Пьер направился в глубь толпы. Он сделал шаг вслед за ним, хотел окликнуть его, потому что меньше всего на свете он хотел в этот вечер оказаться в оди-

⁴⁸ Санкюлот (фр.)

ночестве, но было уже поздно. Толпа гуляк поглотила Пьера, словно его и не было.

Жан одним глотком выпил вино и протянул графин, чтобы его наполнили вновь. Он чувствовал, как вино согревает его нутро, особенно живот, языки этого огня, черные и зеленые, поднимались выше, в голову. Он не умел пить и знал это, не получал удовольствия от алкоголя, ненавидел опьянение, как ненавидел все, что ослабляло его самоконтроль. Но сейчас он испытывал потребность выпить. Любое бегство – даже самое дешевое и безвкусное – соответствовало его настроению. Он чувствовал себя погребенным под руинами своих поражений: Тереза умерла в мучениях, четыре года его жизни, его молодости, были украдены, его мужественная красота безнадежно исковеркана, Люсьена его предала, Николь потеряна – скорее всего тоже погибла, и если да – то какой ужасной смертью? Он должен выбраться из-под обвала своих бед, увидеть сверканье звезд, вдыхать воздух, смеяться добрым смехом, свободным от насмешки, от горечи...

Два часа спустя он брел по Елисейским полям, не зная точно, где он находится. Было еще не поздно, но фонарики на деревьях плясали перед его глазами какую-то дикую пляску, а танцующие виделись ему дервишами, крутящимися с немыслимой скоростью, в них нельзя было разглядеть людей – только завитки света и красок. Он смотрел на них вполне благосклонно, он любил их всех – все они были его братья, его дети, люди Парижа, веселые и счастливые, и он стоял,

слегка покачиваясь, когда почувствовал легкое прикосновение ее руки к своему плечу.

– Жанно, – хрипло прошептала она, ее лицо было совсем рядом с его лицом, так что ее дыхание, отдававшее алкоголем, коснулось его щеки. – Я нашла тебя. Но я так долго искала... – Она придвинулась еще ближе, в ее карих глазах запрыгали смешинки. – Ты пьян! Как смешно... я никогда не видела тебя пьяным... думаю, ты меняешься, мужчина должен хоть раз выпить...

Он уставился на нее с серьезностью пьяного. Когда он заговорил, голос его звучал глухо.

– Люсьена, – пробормотал он.

– Я собиралась пригласить тебя, чтобы ты сплясал со мной карманьолу, – смеялась она, – но не в состоянии. Mon Dieu! Ты еле стоишь! Но пусть тебя, мой Жанно, это не тревожит, я тоже плохо держусь на ногах... Пошли со мной...

– Куда? – выдавил Жан.

– Неважно куда. Я должна позаботиться о тебе. Если ты будешь и дальше так бродить, тебя пристукнут и ограбят. Пойдем... туда, где мы будем одни, сможем поговорить и...

– И что? – глухо прошептал он.

– Увидишь, – пообещала она.

Она взяла его за руку, и они пошли от Елисейских полей, миновали площадь Людовика Пятнадцатого, перешли через мост и оказались в лабиринте кривых улочек Левого берега. Жан так и не понял, сколько раз они сворачивали, все улицы

казались ему одинаковым чередованием качающихся фонарей и полного мрака. Его ботинки стучали по булыжнику, тени от фонарей казались таинственными, пока, наконец, она не остановилась, вынула из сумочки большой ключ, повернула его в замке, и они стали взбираться вверх по длинным пролетам винтовой лестницы. Затем Люсьена опять остановилась, опять повернула ключ в замке и толкнула дверь.

– Вот мы и на месте, – объявила она.

Комната, насколько он мог ее разглядеть при свете горевшей свечи, была богато обставлена: стены обиты шелком, роскошная кровать под балдахин, мебель позолоченная, резная, экран у камина разрисован, ноги по щиколотку утопают в мягком ковре, пахнет тонкими духами, тягучий, проникающий аромат, пробившийся сквозь все винные пары и заставивший его дышать учащеннее; все изысканно красиво, включая часы на камине, которые показывали не только время, но и дни, и месяцы, с двумя толстыми голыми купидончиками, лежащими наверху с медными топориками в руках, которыми они отбивали время.

– Заходи, – пригласила его Люсьена, – позволь мне помочь тебе снять ботинки. Ты, должно быть, устал...

– Устал? – переспросил Жан, голос звучал где-то далеко, в тысячах лье от его тела. – Не устал, а мертв. Я умер в тюрьме, – от голода, от пыток в руках лакеев ла Муата. Я призрак, все-таки живущий, несмотря на то, что всякая потребность или желание жить покинули меня. Знаешь это, Люсье-

на? Странно быть мертвым – требуется так много времени, чтобы умереть... Я начал умирать в ту ночь, когда ты предала меня, а кончилось это, когда... – Он не мог произнести, не мог заставить себя упомянуть имя Николь здесь, в этих обстоятельствах. – Я только призрак, – повторил он.

– Призрак с очень крепким телом, – прошептала она, и он ощутил ее руки, оказавшиеся у него под рубашкой, мягкие и теплые руки на своей груди.

– Не делай этого, – сказал он. – Я не хочу...

Но ее губы уже прильнули к его губам, мягкие и сладкие, с привкусом вина, не давая ему продолжать говорить, двигаясь с дьявольским искусством. Он оказался пленником, она держала его этим бесконечным, мучительным, болезненным поцелуем, а ее руки двигались по его телу и там, и тут, он чувствовал, как прохлада ночи коснулась его кожи, он лежал в кресле, тупо глядя на свое обнаженное тело, а она увернулась от него балетным поворотом, взмахнула своими белыми руками так, что прозрачное одеяние из шифона, бывшее на ней, взлетело облаком над ее головой и опустилось на пол. Он пристально посмотрел на нее.

– Бог мой, как ты прекрасна! – простонал он.

– Ты так считаешь? – прошептала она. Потом схватила его за руки и заставила встать, поднялась на цыпочки и нашла губами его рот, и потолок над ним закружился, пока он уже не в силах был стоять и неожиданно, как по волшебству, оказался лежащим под шелковым балдахином на огромной

постели.

– О, Боже! – бормотал Жан. – О, Боже Милосердный...

Просыпался он так, словно возрождался к жизни. Он продирался сквозь пелену тьмы, глаза его моргали от света. Голова представляла собой мяч, больший, чем земной шар, населенный легионом чертиков с пиками и топориками. Язык был словно из шерсти самого отвратительного животного на земле, а его глаза...

Ему потребовалось немало времени, чтобы сфокусировать глаза, но, когда это ему удалось, он увидел ее, лежащую рядом, ее лицо, размякшее от сна, рыжеватые волосы растрепаны. Она выглядела прелестной даже при дневном свете, даже при резком свете полуденного солнца. Одна ее рука лежала на его груди, голова уткнулась в его шею.

Он лежал, вспоминая случившееся, охваченный внезапной безмерной ненавистью и презрением к себе за свою податливость – ведь знает, что она собой представляет. Он вспомнил о Флоретте, больной лихорадкой, потерянной в вечной тьме, ожидающей в страхе его шагов по лестнице.

Он попытался отодвинуться от Люсьены так, чтобы не разбудить ее. Однако она тут же открыла глаза, совершенно ясные, полные насмешки, смеха и еще чего-то, что он не мог определить, но что ужаснуло его.

– Куда это ты собрался? – рассмеялась она.

– Домой, – отрывисто сказал он.

– Но, Жанно, дорогой, теперь здесь твой дом. Не будь дураком – здесь намного комфортабельнее, чем в той мрачной дыре, в которой ты живешь...

Она приподнялась, опираясь на локоть, и внимательно посмотрела на него.

– А ты сильный, – прошептала она. – Теперь я понимаю жалостливые письма бедняжки Николь...

– Не упоминай ее имени! – выкрикнул он.

– Не буду, – зевнула она. – Этот предмет навевает на меня скуку. Мне все скучно – кроме тебя, мой любимый...

Он заставил себя сесть, но она прильнула к нему, обнимая его своими мягкими руками, ища его рот.

– Ты, – прошептала она, – никуда не пойдешь...

Ее рот прижался к его губам, и он понял, что пропал. Пропал, мысленно простонал он, пока еще был в состоянии думать, но длилось это недолго.

Потому что через несколько минут он вообще уже ни о чем не думал.

Дом гражданина Рикети, бывшего графа де Мирабо, под номером сорок два по Шоссе д' Антен оказался, как и ожидал Жан, роскошен. Даже в прихожей, где его ожидали, стены были обиты тяжелым шелком и отделаны резным деревом. Жан окинул прихожую взглядом, потом посмотрел на Люсьену. Она выглядела, как всегда, очаровательно.

На ней было свободное платье из белой хлопчатобумажной ткани с продольными зелеными полосами, ибо летом 1790 года шелк считался принадлежностью аристократии, следовательно, одеваться в шелк стало непатриотичным и даже опасным. Но на Люсьене и хлопчатобумажное платье выглядело прелестно. Она может надеть старую мешковину, подумал Жан, и оставаться прекрасной... Поверх платья на ней был короткий жакет из той же ткани, тугий корсаж, сшитый так, что полосы шли горизонтально. Бант придерживал газовую косынку, накрахмаленное газовое жабо закрывало ее гибкую шею вплоть до подбородка, крохотная шляпка из лент и страусовых перьев пристроилась на темно-рыжих волосах, причесанных по моде Кадоган с множеством локонов по обе стороны лица с большим пучком на затылке, свисающим вниз и вновь поднятым кверху, где он делился на сложную паутину завитков, заколотых на самом верху ее прически.

Она прижималась к руке Жана и улыбалась ему. А он стоял, нахмурившись, слыша доносившийся из гостиной громовой голос Мирабо:

– Полная глупость! Половина Европы пытается узнать, кто такой этот гражданин Рикети, о котором столько болтают. Не считая моего лакея, который, когда попрошайка рискнул обратиться ко мне “гражданин”, сказал ему: “Для тебя, подонок, он граф де Мирабо, и никогда не забывай этого!”

Взрыв смеха приветствовал его последние слова. Люсьена повернулась к Жану.

– А он кое-что из себя представляет, этот граф де Мирабо, правда?

– Да, – согласился Жан, но в этот момент появился слуга с пунцовым лицом, не оставлявшим сомнений в том, что именно он был героем рассказа Мирабо.

– Мадам, месье? – пробормотал он.

– Месье Марен, мадемуазель Тальбот, – ответил Жан.

Слуга не успел произнести и половины представления, как Мирабо поспешил в прихожую, трясая своей лохматой львиной головой.

– Господин Марен! – просиял он. – И обворожительная мадемуазель Тальбот! Это большая честь для моего дома. Заходите, присоединяйтесь к гостям...

Жан внимательно смотрел на хозяина. Насколько, вновь подумалось ему, эта бросающаяся в глаза уродливость впечатляет гораздо больше, чем красота. В лице Мирабо, из-

борожденном шрамами, в оспинах, носящем следы былой распутной жизни, было неоспоримое величие. Это было лицо человека страдавшего, думал Жан, страдавшего, главным образом, потому, что он всегда нарушал правила... Но правила, я уверен, созданы не для такого человека. Она всегда существовала, эта дилемма – всем зверям, бегающим стаями, нужны законы, управляющие теми, у кого не хватает ни силы, ни ума, но когда человек обладает и тем, и другим, когда он личность, то правила или законы, называй как хочешь, оказываются силками или ловушкой, навечно опутывающими нас...

Мирабо уже завладел рукой Люсьены. Жан не мог не отметить, с какой изысканной непринужденностью он проводил ее в гостиную. Можно подумать, улыбнулся Жан, что он самый красивый мужчина на свете, ибо он ведет себя именно так, и ты через некоторое время обнаруживаешь, что тоже веришь в это...

– Дамы и господа, – провозгласил Мирабо, – мадемуазель Тальбот, чье лицо должно по праву украшать эмблемы Франции, потому что она прекраснейшая из прекрасных!

Его слова были встречены одобрительными возгласами. Полдюжины кавалеров тут же вскочили и окружили Люсьену. Жан нахмурился. “А чего ты ожидал?” – спросил он себя. Но уже через мгновение его ироническое чувство вернулось к нему, и он улыбнулся.

“Болтайте, болтайте, надушенные обезьяны! – весело по-

думал он. – Старику де Лонэ, сидевшему над бочонком с порохом с горящим факелом в руках, угрожала не большая опасность, чем любому мужчине, который слишком резко подойдет к этой прекрасной ведьме. Я называю ее своей, и, наверное, она на самом деле моя – в настоящий момент, пока кто-нибудь другой не привлечет ее блуждающий взор. Она не принадлежит никому, потому что она личность завершенная и ясная. Нет, *men bravu*⁴⁹, эта опасность имеет обратную сторону – тот, кто однажды обожжется о нее, познает, что такое рабство.

Мне нравится не быть порабощенным, и тем не менее я в рабстве. Потому что она ведьма, потому что мое собственное тело предает мое сознание, мою душу. Я вот стою здесь, смотрю на нее и пьянею. Я обладаю ею, но в итоге ощущаю только изнеможение и постоянное чувство незавершенности. Бог мой, как растет этот аппетит по мере того, как ты его удовлетворяешь! Неужели никогда не придет такой момент, когда я перестану хотеть ее? Да, такой день придет – когда она погубит меня... окончательно”.

– Вы не должны допускать такие мысли, молодой человек, – произнес женский голос.

Жан обернулся. Как только он увидел ее лицо, он тут же ее узнал. Мадам ле Джей, нынешняя любовница Мирабо, – она с ним под предлогом, который никого не обманывает, что она его деловой агент, как он говорит, “моя прекрасная

⁴⁹ Храбрецы (*фр.*)

продавщица книг”. Жан склонился над ее рукой, не торопясь распрямиться, чтобы дать себе время понять лучше эту обворожительную женщину. Успеха ему это не принесло. В конце концов он отказался от этого умственного напряжения. К примеру, сколько ей может быть лет? Тридцать, предположил он, тридцать пять... Но с таким же успехом ей может быть двадцать восемь или даже сорок. И что странно, она совсем не красива, ее даже не назовешь хорошенькой. Она (он подыскивал в уме определение)... потрясающа!..

– Вы, мадам, видимо, ясновидящая? – спросил он.

– О, да, – улыбнулась мадам ле Джей. – Но тогда все женщины ясновидящие. Одни, естественно, больше, чем другие, но талант можно развить практикой. На самом же деле фокус здесь невелик – вы, мужчины, такие понятные...

– А я? – рассмеялся Жан. – Я тоже понятен?

– Меньше, чем другие, думаю. Но в этом вопросе больше, чем другие. Должна признаться, меня это удивило, это не вяжется со всем вашим обликом...

– Я, – сказал Жан, – не только не ясен, но вдобавок и не ясновидящий. Ваше суждение не совсем точно, мадам ле Джей...

– Ах, вот как! Вы знаете, как меня зовут. Тогда у вас есть преимущество...

– Марен, – отрекомендовался Жан. – Жан Поль Марен, в прошлом из Прованса...

– Молодой оратор. Как же, как же! Габриэл говорил мне о

вашем лице... простите, я иногда начинаю болтать, как все женщины...

– Я привык к своему лицу, мадам, – улыбнулся Жан. – Оно беспокоит остальной мир. Но мы отклонились в сторону. Вы читали мои мысли...

– Да. И она того не стоит! – выпалила мадам ле Джей. – Вы меня удивляете, вы не кажетесь глупцом.

– И тем не менее боюсь, что это так... во всяком случае, в отношении Люсьены.

– Так не будьте им. Судя по тому, что я слышала о вас, и по тому, что я сейчас вижу, у вас не так много слабостей. А эту слабость вы в настоящее время не можете себе позволить. Франция не может этого позволить...

– Франция? – удивился Жан.

– Да. У Габриэла есть список людей, с помощью которых он сможет спасти Францию. Возглавляет этот список де Лафайет. Вы тоже в этом списке. И если вы позволите этой кокетке погубить вас...

– Польщен, – сказал Жан.

– Не надо, – возразила мадам ле Джей, – сейчас для этого нет времени. Сейчас время только на то, чтобы делать дело, и немного времени, чтобы лить слезы, и неограниченное время, чтобы умирать – если можно умирать с пользой. Не героически, месье Марен! Время для вашего глупого мужского героизма прошло! Теперь надо умирать для блага Франции, а не ради тщеславия...

– О, Марен! – пророкотал с другого конца залы Мирабо. – Вижу, вас взяли в плен! Не слушайте ее, она окончательно испортит вас – она слишком умна. Такие женщины опасны!

– Все женщины опасны, – отозвался Жан, – без особых исключений!

Все молодые кавалеры разразились смехом.

– Вам виднее! – крикнул один из них. – Присоединяйтесь к нам, господин Марен, и опишите нам опасные качества мадемуазель Тальбот.

Жан направился к этой группе.

Люсьена обернулась к нему, глаза ее сияли, искрились насмешкой и смехом.

– Разве я опасна, мой Жан? – проворковала она. – На самом деле ты ведь не веришь в это?

– Верю? – улыбнулся Жан. – Я просто знаю это. Ты колдунья. Ты Цирцея, превращающая мужчин в свиней. Ты сирена, поющая неслыханные ранее мелодии. И с тем же результатом, моя дорогая, – мужчины умирают или сходят с ума...

Люсьена нахмурила лоб.

– Думаю, ты во мне ошибаешься, – сказала она. – Я никогда не превращала ни одного мужчину в свинью. С каких это пор, мой Жан, в этом появилась необходимость?

– *Touche!*⁵⁰ – хором закричали молодые франты, и вся зала разразилась смехом. Появились слуги, разносившие бокалы с вином. Все взяли по бокалу, и атмосфера еще более

⁵⁰ Попала в цель (*фр.*)

оживилась.

Жан пригубил свой бокал, но пить не стал. Это только кажется, что ты становишься более блестящим по мере того, как тянется вечер. Это заблуждение, рождаемое вином. Каждый человек здесь думает, что он блестяще остроумен, что его шутки необыкновенно веселы, а между тем половина того, что они говорили в течение последнего получаса, вряд ли имеет вообще хоть какой-то смысл. Вот Мирабо, мне думается, умеет пить. Глядя на него, никогда не скажешь, что он прикасался к бокалу...

Кое-кто из гостей начал уходить. Жан вопросительно посмотрел на Люсьену, но она была слишком поглощена беседой с тремя молодыми кавалерами, чтобы обратить внимание на его взгляд. Но Мирабо заметил и покачал своей львиной головой.

– Нет, господин Марен, – прошептал он, – у нас с вами есть дело после того, как закончится веселье. Поразвлекайтесь еще немного, а потом мы должны будем думать, разрабатывать планы...

Жан кивнул и двинулся по направлению к мадам ле Джей. Но он не успел дойти до нее, как остановился в изумлении. В гостиную вошел высокий худой мужчина, чье длинное доброе лицо Жан в свое время видел в течение нескольких недель, человек, который сделал все, что было в его силах, чтобы...

Жан бросился вперед с распростертыми объятиями, что-

бы приветствовать господина Ренуара Жерада, в прошлом королевского коменданта в Провансе.

Жерад увидел его и предостерегающе нахмурился. Жан замедлил шаги, в глазах у него мелькнуло недоумение.

Ренуар Жерад протянул ему руку.

– Bon soir, M'sieur⁵¹, – произнес он спокойно, но чуточку громче, чем было нужно. – С кем имею честь?

Жан в полном изумлении сделал шаг назад. Но господин Жерад крепко держал его руку и даже несколько притянул его к себе. И потом, почти не шевеля губами, натренированным ровным голосом опытного заговорщика выговорил:

– Я не забыл тебя, мой ученый разбойник. Но, ради Бога, не говори, что ты узнал меня. Иначе ты все испортишь...

Жан кивнул.

– Я депутат Жан Поль Марен от округа Сен-Жюль. А вы, гражданин?

– Просто Ренуар Жерад, – улыбнулся он. – Очень приятно познакомиться, гражданин Марен. А, вот и наш дорогой хозяин!

Мирабо тепло пожал руку вновь пришедшему гостю. Потом, наклонившись, прошептал:

– В маленькую гостиную, мой друг Жерад. Но не сразу. Побудьте здесь некоторое время. Выпейте вина. Потом незаметно исчезните. Вы, Марен, можете отправляться туда уже сейчас. Я присоединюсь к вам, как только смогу...

⁵¹ Добрый вечер, месье (фр.)

Жану пришлось ждать всего несколько минут, пока появился Жерад. На этот раз он широко улыбался, его карие глаза смеялись.

– Ну, старина, – сказал он, – много времени утекло с тех пор, а?

– Да, – улыбнулся Жан, – слишком много. Я годами ждал случая поблагодарить вас, месье Жерад...

– Для вас я Ренуар, – сказал Жерад. – Жаль, что тогда не получилось. Мне рассказывали вашу историю. Значит, та аристократическая девка предала вас?

– Нет! – запротестовал Жан. – Вы не знаете всей правды, месье Жерад...

– А какова правда? – улыбнулся Жерад.

Жан покраснел до корней волос.

– Она... она просто несколько задержала меня, – сказал он, – менее всего она намеревалась...

– Забудьте, старина! – рассмеялся Жерад. – Я пошутил. И, должен признаться, удовлетворил свое любопытство. Это слабость стариков...

“Никогда, – неожиданно подумал Жан, – я не видел никого, кто так сохранил бы молодость, как этот человек. Ему, вероятно, около шестидесяти, и, если не считать седых волос...”

Дверь распахнулась.

– А теперь к делу! – громогласно объявил граф де Мирабо. – Но прежде, месье Марен, несколько вопросов. Идеи

Жерада я знаю, ваши не вполне. В этом сумасшедшем доме, каким является Собрание, разве можно составить ясную картину того, кто что думает?

– С вашего позволения, гражданин Рикети, – поддел его Жан.

– Будь прокляты мои глаза! – прорычал Мирабо. – Вы не можете без ваших шуточек, Марен?

– Простите меня, – улыбнулся Жан. – А что вы хотели бы знать?

– Вы хотите сохранить короля, почему?

– Не короля, – поправил его Жан. – Институт королевской власти. Я с радостью освободил бы Францию от этого неумелого путаника, который в настоящее время лишь обременяет трон своей персоной, если бы мог сделать это, не уничтожая саму корону. Но поскольку это невозможно, мы должны терпеть его.

– Понятно, и все-таки – почему сохранение королевской власти?

– Потому что из всего того, что я видел, как ведет себя народ, я не думаю, что они готовы к республике. Я начинаю сомневаться, окажутся ли люди когда-нибудь готовы к тому, чтобы управлять сами собой. Отсюда вывод – нужен король, даже сильный король, но ограниченный в своей власти, чтобы исключить всякую возможность установления тирании. Конституционная монархия, господин Мирабо...

– Вас это устраивает, Жерад? – громко спросил Мирабо.

– Вполне, – отозвался Ренуар Жерад.

– Подождите, – продолжал Жан, – лучше выслушайте меня до конца, потому что я не согласен с вами по одному пункту, и из-за этого я могу оказаться бесполезным для вас. Я полностью и безоговорочно стою против наследования дворянского звания.

– Почему? – спросил Мирабо.

– Потому что они развращенные люди, как всегда бывает с теми, кто владеет тем, что он сам не заработал. Титулы и награды – прекрасно, король должен иметь право раздавать их за выдающиеся заслуги перед нацией. Но почему идиот-сын мудрого и заслуженного графа тоже должен быть графом, месье Мирабо? Если мой сын вырастет умным и сильным, он сумеет с той же легкостью получить дворянство, как и я, вы улавливаете мою мысль?

– Совершенно правильную мысль, – заявил Ренуар Жерад.

– Глупости! – загремел Мирабо. – Каждый Рикети во все времена будет абсолютно достоин. Мы всегда были такими, с тех пор как первый Аригетти – такова наша настоящая фамилия – покинул Флоренцию вслед за гвельфами, мы, Рикети, никогда не рожали хилых мужчин! Мой дед, старый Кол д'Арджент, Серебряный ствол, как его называли, зачал моего отца после того, как в одиночку защищал мост в Касоно и получил двадцать семь ран, каждая из которых должна была убить обычного человека. Он женился, когда носил на шее

серебряный воротник, поддерживавший его голову, прожил после этого еще долгую жизнь, народил сыновей! Я скажу вам, двум проклятым якобинцам...

– Странный эпитет, – улыбнулся Жан, – в устах человека, который часто бывает в Якобинском клубе и которого недавно выдвигали в качестве президента этого общества...

– А я, – загремел Мирабо, – буду частенько навещать ад и общаться с дьяволом, если буду думать, что таким путем могу спасти Францию!

– Хорошо сказано, – спокойно заметил Жерад, – но факт остается фактом, что род Бурбонов, давший многих великих и благородных людей, последнее время рождает главным образом прохвостов и дураков. Мы можем позволить, чтобы такое происходило на троне, потому что мы можем контролировать один род, но потомственная аристократия дала на удивление мало Рикети и слишком много неполноценных фатов, мерзавцев и дураков. Я согласен с месье Мареном...

– Ладно, ладно, – проворчал Мирабо, – не соглашайтесь, если хотите. Сейчас это не так важно. Главное сейчас – это спасение короны. Полагаю, вы все с этим согласны?

– Согласны, – сказал Жан.

– Хорошо. Вы двое будете моими помощниками в этом предприятии. Мой план прост, но вполне осуществим – король должен покинуть Париж.

– Но куда? – спросил Жан.

– Вы очень острый человек, месье Марен! Это действи-

тельно вопрос вопросов. К сожалению, королева, по всей видимости, хочет, чтобы он уехал за границу и положился на иностранную интервенцию, что естественно для нее, поскольку она не француженка. Но это будет...

– Самоубийством, – сухо заметил Ренуар Жерад.

– Совершенно верно! Они никогда не доберутся до границы. И в глазах всех французов они будут выглядеть предателями Франции. Кордельеры хотят именно этого – установить свою мерзкую республику, в которой Дантон, Демулен, Марат и им подобные захватят власть своими грязными руками. Часть якобинцев хочет того же самого – особенно та фракция, где главенствует Робеспьер. В отличие от них, я, не принадлежа ни к одной партии и не будучи никому обязан, как вы понимаете, могу рассуждать с ясной головой. Провинции сохраняют верность короне. Король должен бежать на Средиземноморское побережье, вы понимаете, и публично обратиться ко всем французам с призывом сплотиться вокруг него во имя восстановления монархии, при этом он заранее должен дать согласие придерживаться уже установленных ограничений.

– Это будет означать войну, – вздохнул Жан, – гражданскую войну, месье Мирабо...

– А что мы имеем сейчас, *mon vieux*⁵²? О, ла, ла! Мирное чаепитие? Я предпочитаю войну, которая по крайней мере организованна и дисциплинированна, и в результате которой

⁵² Старина (фр.)

хоть что-то получится, той анархии, при которой шлюхи, хулиганы и подлецы, заполняющие галереи, контролируют Национальное собрание Франции по приказам Филиппа Орлеанского. А вы нет?

– А если Ее Величество, – спокойно сказал Жерад, – откажется разрешить толстому простофиле держать слово, которое он дал, что тогда, граф?

– Да, в этом опасность, – простонал Мирабо. – Мы хотим сильной королевской власти, но что делать с королем, который не может управлять собственной женой? Как мы можем, во имя Господа Бога, надеяться, что он будет правильно управлять своим королевством?

“Я, – подумал Жан, кривя губы, – разделяю его опасения. Боюсь, королева во многом похожа на Люсьену. И никто из нас, ни Людовик Французский, ни я не можем бросить ту, которой не в силах управлять”. Но эту мысль он не стал высказывать. Вместо этого он предложил:

– Значит, мы должны обратиться к королеве.

– Превосходно. Но как? Я в конце концов добился того, чтобы увидеть их обоих третьего числа этого месяца.. Толстяк ничего не мог сказать, поэтому я говорил с ней. В тот момент я думал, что убедил ее, но с каждым днем я все менее в этом уверен. Я должен еще раз встретиться с ней, наедине. Но она отказывается видеть меня. Она считает меня и этого дурака Лафайета предателями, ей в голову не приходит, что нужно быть верным нации, а не сословию...

Он замолчал и посмотрел на Жан Поля.

– Вы! – сказал он. – Вы можете это сделать. Готов держать пари, вы можете добиться встречи с ней. Смотрите, какие у вас преимущества: вы никогда не были дворянином, но воспитаны, как человек благородный... нет, даже лучше. Мне сказали, что у вас исключительные манеры, когда вы этого хотите. Жерад рассказывал мне дикую историю о том, как вы однажды изображали из себя итальянского принца и в этом качестве удалились...

– Нет, – без всякого выражения сказал Жан Поль, – никаких больше маскарардов и тому подобных глупостей...

– Выслушайте меня. Вы отправитесь к ней таким, как вы есть, хорошо, но скромно одетым, и представитесь преданным подданным, более всего желающим служить Ее Величеству...

– Что совершенно верно, – заметил Жан, – но что вы делаете с моим лицом? Хотите, чтобы королева впала в истерику?

– Она сделана из более крепкого материала, чем вы думаете, – возразил Мирабо. – Можете сказать ей, что получили этот шрам на одной из войн – скажем, на Корсике! И...

– Нет, – сказал Жан, – этого я не сделаю. Во-первых, я не хочу лгать. Во-вторых...

– Но ты должен это сделать, Жанно, – раздался прелестный голос Люсьены сквозь щель в двери, – ради меня. А потом ты можешь вернуться...

– Будь прокляты мои глаза! – прорычал Мирабо. – Она подслушивала! Входите, мадемуазель Тальбот, и мы решим, можем ли позволить вам выйти живой из этого дома...

Люсьена приоткрыла дверь, быстро проскользнула внутрь и прикрыла ее за собой.

– Как это необыкновенно волнует, – вздохнула она, – когда тебя приглашают на совет, решающий судьбу государства. Мне очень жаль, что я подслушивала, но, правда, я ничего не могла поделать. Ты, Жанно, оставил меня так надолго. Половина этих щеголей пыталась увезти меня к себе домой – как ты понимаешь, с нечистыми намерениями. А потом вы, мужчины, так громко говорили! Хорошие же вы заговорщики! Я подслушивала? Господин граф, вас можно услышать за десять ярдов от этой двери...

– Enter! – выругался Мирабо, потом разразился смехом. – Вы правы, мадемуазель. Я, наверное, самый бездарный заговорщик. Что бы я ни делал, никто не доверяет мне. Они считают меня бесчестным, потому что в юности, чтобы выжить, мне приходилось делать разные вещи. Но это общество отвергло меня, а не я общество. Я всегда осознавал свою силу... Но хватит об этом. Полагаю, вы наш союзник, мадемуазель Тальбот. Вы должны убедить его. Он должен сделать это – или, быть может, Франция погибнет. Если кто-то, любой человек, может убедить королеву в том, что она не должна вести переговоры с Австрией, Англией, Россией, Испанией... что она должна полагаться на добрый народ Франции...

– А как она может на него полагаться, – возразила Люсьена, – когда они плюют в нее, называют ее австриячкой, иностранкой и еще худшими словами?

– Правильно, – тяжело вздохнул Мирабо, – но Мария Антуанетта остается, *malheureusement*⁵³, королем Франции – другого у нас нет! Толстяк Людовик – кто он? Хороший слесарь, как мне говорили, прекрасный охотник. Но – король? Он подчиняется королеве так, словно он ребенок, а она его мать. У него нет собственного мнения, нет воли, нет... *Sacre bleu!*⁵⁴ Ему сделали операцию, чтобы он мог делать детей, наследников престола, – и один Бог знает, не считая самой австриячки и графа Ферзена, сделал их толстый Людовик или нет и не помогал ли ему кто-то другой, не королевских кровей. Я говорю бессвязно – простите меня...

Он замолк, сурово глядя на Жан Поля.

– Вы должны убедить ее, мой друг, что, если она не будет сотрудничать с нами в этом деле, она погибнет от рук царевубийц. Она, ее муж, ее дети – и Франция, помоги ей Бог, пропадет. Что вы скажете, месье Марен?

– Он это сделает, – ответила за него Люсьена. – За этим я прослежу. Конечно, потребуется долго его убеждать, но мне говорили, что я хорошо умею уговаривать мужчин. Почему бы, господин граф, не оставить его в моих руках на день или два? Думаю, могу гарантировать результаты...

⁵³ К сожалению (*фр.*)

⁵⁴ Черт побери! (*фр.*)

– Отлично! – расхохотался Мирабо. – Но только день или два, моя очаровательная, время бежит, а ставка очень серьезная...

– А почему этого не может сделать месье Жерад? – недовольным голосом спросил Жан. – Он выглядит гораздо представительнее меня, и к тому же испытанный дипломат...

– Я, – улыбнулся Жерад, – только грубый солдат. Я слышал, Марен, как вы умеете причесать фразу до последнего завитка. Именно это нам и требуется. Вы должны позволить убедить себя – могу предположить, это будет весьма приятным занятием...

– О, да, – засмеялась Люсьена, – я сумею уговорить его. Пойдем, Жан, мне не терпится начать.

– *Vonne chance!*⁵⁵ – пророкотал Мирабо. – Как я вам завидую!

– Думаю, – сухо сказал Жан, когда фиакр подвез их к обиталищу Люсьены, – пришло время вернуться в свою собственную квартиру. Я не был там пять ночей, и мои друзья начинают волноваться...

Люсьена посмотрела на него, потом весело рассмеялась.

– Устал от меня? – зашептала она. – Или боишься, что я сумею тебя убедить? Что из двух?

– Ни то, ни другое, – огрызнулся Жан. – Вероятно, боюсь

⁵⁵ Желая успеха (*фр.*)

потерять свою бессмертную душу!

– Помоги мне выйти, – попросила Люсьена. – Думаю, ты не должен этого опасаться. Как ни странно, ты очень похож на девственниц из магометанского рая – восстанавливаешь свою невинность – я имею в виду духовную невинность – каждый раз после того, как общаешься со мной. Ты действительно чист душой, Жанно, и это доводит меня до бешенства. Я хотела бы по-настоящему растлить тебя, но тогда, при твоих талантах, если бы я смогла, я ты только потеряла тебя. Так что, вероятно, лучше так, как оно есть...

Жан вылез из фиакра и помог сойти и ей.

Она прижалась к нему, шепча:

– Пойдем ко мне, Жанно, хоть ненадолго. Ты не представляешь себе, какая это была пытка болтать с этими дураками и ждать, ждать... Пойдем, моя любовь, моя старая, давняя любовь – мой первый и, наверное, последний...

– Не будем считать тех, кто был между первым и последним? – пошутил Жан. – Или добавим к ним еще одного?

– Конечно, нет, – засмеялась Люсьена. – Кто-то может служить только приправой к главному блюду. А кроме того, все те маленькие штучки, которыми я тебя так прекрасно занимаю, каким еще образом я могла бы научиться, им? Ты должен быть благодарен всем остальным, потому что плоды пожинаяешь ты!

– Черт побери! – выругался Жан.

– Не ругайся, любимый мой. И не думай о том, что я обе-

щала убедить тебя, или о моих других любовниках, не думай ни о чем, что может отдалить нас друг от друга. Потому что теперь я нуждаюсь в тебе. Ах, Жанно, я горю – это нестерпимо! Ты же добрый, а оставить меня сейчас будет дьявольски жестоко... Пойдем со мной, мой большой жеребец, мой замечательный, великолепный зверь, – пойдем со мной, пойдем!

“Пропал, – простонал в глубине души Жан, – пропал навсегда...”

Однако утром, когда еще не рассвело, он встал и очень тихо стал в темноте одеваться. Он уже завязывал галстук, когда почувствовал, что она проснулась и наблюдает за ним, поблескивая в темноте глазами из-под полуприкрытых век.

– Куда ты идешь? – прошептала она.

– В Манеж для верховой езды, – без всякого выражения ответил он, – подавать в отставку. С меня хватит политики – хватит всего, с чем я не могу справиться. Хочу покоя, мира...

– Все, с чем ты не можешь справиться, – передразнила она, – но ведь это включает и меня, не так ли? Значит, ты бросаешь меня?

– Да, – выпалил Жан. – Да, я...

– Вернешься, – засмеялась Люсьена. – Ты всегда будешь возвращаться ко мне. Потому что никто на свете не может

занять мое место – особенно та нежная брюнетка, с которой я видела тебя на празднике... Как ее имя? Ах, да, Флоретта, маленький цветочек. Она выглядит очень милой и нежной. Такая девушка, мой Жанно, не для тебя.

– Почему не для меня? – спросил Жан.

– Сама не знаю, – весело продолжала Люсьена, – вероятно, потому, что умрешь со скуки в первую же неделю, которую проведешь с ней. Или, скорее, потому, что всю жизнь будешь сравнивать ее со мной – не в ее пользу.

Жан задержался, глядя на нее.

– Беги в Тюильри, если хочешь. Подавай в отставку – сейчас это уже не имеет значения. Имеет значение только одно – это дело с королевой. И ты его исполнишь – потому что никогда в жизни не отказывался выполнять свой долг, mon petit bourgeois!⁵⁶ А это твой долг. Кроме того, я хочу спать весь день. Спать – это самое сладострастное занятие на свете. Особенно после ночи любви...

Жан не ответил ей. Никогда не могу найти, как ответить ей, с горечью подумал он, она слишком цельная и слишком ясная для меня. Думаю, она знает меня лучше, чем я сам себя знаю...

– Прощай, – сказал он и направился к двери.

– Не прощай, а до свидания, Жанно, – лениво произнесла она. – Увидимся вечером.

Жан толкнул дверь и стал спускаться по лестнице в со-

⁵⁶ Мой маленький буржуа (*фр.*)

стоянии тихого ужаса. “Я должен бежать от нее, – думал он, – должен! Поеду на побережье. Молю Бога, чтобы они все ошибались и Николь была жива. Только с ней я смогу освободиться от этой красивой ведьмы. Бедняжка Флоретта вряд ли сможет отвлечь меня, хотя кто знает?”

В Манеже для верховой езды было все то же, как он это помнил, только еще хуже. Никакого порядка. До сотни депутатов одновременно вскакивали, орали, обращаясь к Мунье, который сейчас был председателем Собрания, старались перекрычать друг друга. На галерее высоченная Теруань, королева парижских шлюх, командовала своей клакой торговцев рыбой, проституток и их приспешников, сгоняя с трибуны тех ораторов, чьи взгляды были непопулярны у толпы, и приветствуя любое предложение, каким бы идиотским оно ни было, если оно им нравилось.

В таком состоянии рабского подчинения заседало изо дня в день Национальное собрание. Не удивительно, подумал Жан, что ничего ценного они не могут совершить. Из всех депутатов только он и Мирабо отказались льстить низменным страстям *canaille*⁵⁷.

Когда Жан вошел, торговли рыбой вопили:

– Кто этот болтун? Заткните ему глотку, он сам не знает, о чем болтает! Пусть говорит Папа Мирабо, мы хотим его слушать! Хлеб по шесть су за четыре фунта! Мяса по шесть су за фунт! Не больше, слышите вы, идиоты! Мы не дети, с

⁵⁷ Шваль, чернь, люмпены (*фр.*)

которыми можно вести игры! Мы готовы бастовать! Делайте то, что вам говорят!

Жан почувствовал, как от гнева застучало у него в висках. “Я сражался, – в ярости подумал он, – чтобы освободить Францию от тирании знати, но не для того, помощи мне, Господи, чтобы ввергнуть ее в еще худшую тиранию черни! Что-то с этим надо делать, и немедленно!”

Он поднялся на помост, не подавая знака председателю, не дожидаясь очереди, и встал перед ними, высокий, с покрасневшим от гнева лицом, на котором выделялся лилово-голубой шрам, и задрал голову, обращаясь к галерее:

– Замолчите вы, *claquedents*⁵⁸! – выкрикнул он, голос его был громоподобен, как у олимпийцев. – Ваше поведение непристойно!

Они онемели от изумления, все эти клакеры, болтуны, все шлюхи и их сутенеры, дезертиры из армии, торговки рыбой. В первый раз за многие месяцы воцарилась мертвая тишина.

– Мы находимся здесь, – медленно, ровным голосом начал Жан, – как представители народа Франции – всего народа! Не только одной его фракции и, уж во всяком случае, не отбросов Парижа!

Мирабо смотрел на своего молодого коллегу, крупное лицо его смягчилось от восхищения.

– Мы сделаем то, что лучше для Франции, взвесив должным образом, действительно ли это хорошо или плохо. Вам

⁵⁸ Клакеры (*фр.*)

это может нравиться или нет! Это не имеет никакого значения, даже менее того, вы понимаете? Мы сбросили иго рабства знати, и теперь вы, подонки общества, грязная пена, думаете диктовать нам! Тирания остается тиранией, от кого бы она ни исходила! И я не намерен кланяться ей!

– И я! И я! – раздалось с полсотни голосов со скамей правоцентристских и центра. Якобинцы и кордельеры на левых скамьях сидели молча, глядя на него исполненными ярости глазами.

– Я сегодня пришел сюда, – продолжал Жан, – чтобы заявить о своей отставке...

– Так уходи, будь ты проклят! – взвизгнула Теруань. Другие поддержали ее криками:

– В отставку! В отставку! В отставку!

Жан смотрел на них, его надменная полуулыбка стала насмешливой, в ней можно было различить ледяное презрение, которое разъярило их еще больше. Тогда, глядя в упор на Теруань, он начал смеяться. Раскаты его хохота заглушили их вопли и заставили их замолчать. Этот зловещий хохот привел их в чувство, заставил опомниться, как от порыва дождя.

– Ты, Теруань, – продолжал он, смеясь, – собираешься стать королевой Франции? Это дело потруднее, чем верховодить парижскими шлюхами! Что касается вас, остальных, то молчите и слушайте! Я сказал, что пришел сюда подать в отставку, но теперь я передумал. Меня не пугают трусы и шлюхи, я не подчиню свою волю, свои суждения, свое понимание

того, что будет, что должно быть, клаке, которая аплодирует или шикает по велению золота Филиппа Орлеанского! Меня нельзя сдвинуть, *mes pauvres*⁵⁹, я могу делать только то, что считаю правильным и справедливым в глазах Господа Бога и своего сознания – или умру, пытаюсь сделать это...

Он смотрел на них, его черные глаза были безжалостны.

– И прежде, чем вы слишком понадеетесь на такой исход, – спокойно продолжал он, – особенно тот глупец, который сейчас нашептывает мое имя для проскрипционного списка этих безумных пьяниц из Пале-Руайяля, предлагаю продемонстрировать вам, как дорого стоит моя жизнь. Вы, гнусные мерзавцы, можете заплатить за нее вашими собственными жизнями. *Alors, regarde!*⁶⁰

Он одним прыжком спрыгнул с помоста и пошел по коридору к выходу с галереи, потом вверх по лестнице, перешагивая сразу через четыре ступеньки, его черные глаза сверкали убийственным блеском. Они расступались перед ним, хотя были вооружены, многие были с пиками, саблями, пистолетами, не в силах противостоять этому совершенно непонятному для них явлению – чтобы один человек шел против всех, глядя на них не только без страха, но и с какой-то свирепой радостью. Они давали ему дорогу, пока он не дошел до громилы, который шептал его имя, остановился, запрокинул голову и разразился хохотом.

⁵⁹ Бедняжки (*фр.*)

⁶⁰ Ну, что скажете, зеваки! (*фр.*)

– Августин! Чтоб я пропал! Какое исключительное везенье!

– Не дотрагивайся до меня, Жан Марен! – заскулил Августин, лицо его побелело от ужаса. – Бога ради, не...

– Братство изуродованных лиц, так, что ли, Августин? – рассмеялся Жан. – По этой части мы с тобой квиты. Но, – его голос понизился до ледяного шепота, более пронзительного, чем крик, – но за четыре года, украденные из моей жизни, за четыре года в аду, вот тут мы, дорогой Августин, не квиты, так ведь, а? Нет, Августин, не квиты... никогда ты не расквитаешься со мной...

Он протянул свои большие руки и схватил бывшего кучера за ворот, расставил ноги, напряг мускулы ног, и Августин, крупный мужчина, не менее тяжелый, чем сам Жан, и примерно такого же роста, оказался оторванным от пола. Жан поднимал его все выше, пока Августин не оказался висящим в воздухе над головой Жана, потом повернулся к перилам, возле которых стоял, и вновь разразился хохотом.

– Господа депутаты! – смеясь, крикнул он. – У меня для вас подарок! Ловите!

И со всей силой швырнул Августина через перила. Депутаты бросились в укрытия, а огромный мужчина, переворачиваясь в воздухе, рухнул на скамьи, разломив три из них, и остался там лежать, пока Жан Поль прошел через перепуганную толпу клакеров и оказался около лестницы.

– Что касается вас всех, – сказал он, – предлагаю вам вер-

нуться к вашим обычным занятиям – продавать рыбу и другие товары, и оставьте нас делать наше дело, а именно управлять Францией. Предлагаю вам это терпеливо, но, как вы видели, терпение быстро иссякает...

С этими словами он повернулся и спокойно стал спускаться по лестнице. Через три минуты галереи Манежа для верховой езды впервые с того дня, как здесь начало заседать Собрание, опустели. Августин же, услышав шаги Жана по лестнице, вскочил на ноги с величайшей поспешностью и заторопился через зал, приволакивая одну ногу.

Жан остановился посреди зала и поклонился председателю.

– Думаю, господин председатель, – насмешливо сказал он, – можем продолжить наше заседание, и в гораздо более комфортабельной обстановке, чем раньше, не так ли?

Затем он спокойно занял свое место. Вспыхнули аплодисменты, но большинство депутатов смотрели на него, и в их глазах можно было прочесть два чувства. Эти чувства, Жан видел, были – восхищение и ужас.

“Я потерпел поражение, – горестно думал он, – их я не освободил, а себя вновь закабалил. Теперь я не могу уехать из Парижа, даже для того, чтобы предпринять розыски моей бедной Николь. И чем больше я позволяю этому делу оставаться без движения, тем труднее сдвинуть его с места. Все мои сегодняшние театральные жесты ничего не стоят, кроме того, что я подвергаю себя еще большей опасности...”

Он повернул на улицу де Севр и присел за столиком в кафе Виктоуар, где обычно встречались умеренные, число которых быстро уменьшалось. Он зашел туда просто по привычке и потому что был французом до мозга костей. “Как все французы, – с насмешкой подумал он, – я скорее умру, чем перестану заходить в кафе, где витают самые противоречивые идеи... Да, это глупость, я уверен. Я должен посещать кафе Шарпантье, где собираются кордельеры, или даже время от времени выпивать стаканчик с якобинцами. Тогда буду знать, какой следующий шаг они предпримут. Мало пользы разговаривать с теми, кто согласен с тобой...”

– Гарсон, – позвал он, – графин самого лучшего, если можно!

Однако в этот вечер даже вино не приносило ему облегчения. Он оставил наполовину выпитый графин и взял фиакр, чтобы ехать к себе в предместье Сент-Антуан. Но он не пошел к себе.

“Я видывал лицом к лицу толпу, – подумал он, – но это гораздо труднее. Почему в одном случае у человека избыток мужества и так не хватает в другом? Видимо, этого качества – морального мужества – я почти лишен. Сейчас я предпочел бы умереть, чем встречаться с Пьером и Марианной. И с Флореттой – о, Боже!”

Но деваться было некуда. Он вылез из фиакра, расплатился с кучером и отпустил его. Потом стал подниматься по лестнице.

– Входи, Жан, – спокойно сказала Марианна.

Он не протянул Пьеру руку. У него было ощущение, что Пьер не примет ее. Пьер сидел, глядя на него, и глаза его напоминали синий лед. Потом он встал.

– Если бы я не был человеком практически, – медленно произнес он, – и крестьянином по крови, я показал бы тебе на дверь, Жан Поль Марен. Но я и то и другое и к тому же, думаю, немного трус. Новое предприятие запущено. Мы наводнили Париж объявлениями о нем. И не проходит часа, чтобы толпы людей не обращались к нам, требуя одежду, из которой мы можем показать только образцы. Ладно. Дело пойдет хорошо. Что касается твоей личной жизни, это твое дело. При обычных обстоятельствах я посмеялся бы и забыл, я и сам не святой, как ты прекрасно знаешь...

Он замолчал, всматриваясь в лицо Жана.

– Но сейчас, зная, что ты творишь, жалею тебя от всего сердца и в то же время ненавижу за то, что ты сделал с Флореттой...

– Она знает? – задохнулся Жан.

– Предполагает. Жан, Жан, мы – Марианна и я – полюбили эту бедную нежную девочку, как будто она наш ребенок. Она каждую ночь плачет из-за тебя, она почти ничего не ест... Она сейчас у нас, в той комнате, и, когда я выскажу тебе все, ты должен пойти и успокоить ее, если сможешь. Одно я тебе должен сказать: когда станут поступать доходы от нашего предприятия, я верну тебе до последнего су все, что ты

вложил. Тогда мы будем в расчете, и нашей дружбе конец, потому что такую глупость и жестокость я считаю нестерпимой. Я все сказал. Возможно, я ошибочно сужу о тебе, возможно, у тебя есть какое-то объяснение...

Жан услышал просительную ноту в дрожащем голосе Пьера. Он знал, что его старый друг ищет любую точку, опираясь на которую, он мог бы согласовать свое чувство справедливости, свою веру в то, что хорошо и что плохо, с бесконечно дорогой для него дружбой.

– Нет, – глухо сказал Жан, – нет никаких объяснений. Могу я сейчас увидеть Флоретту?

Пьер посмотрел на него.

– Ладно, – сказал он. – Валяй.

И неожиданно голос его стал усталым и совсем старческим.

Флоретта лежала на маленькой кровати лицом вниз. Но, услышав его шаги, повернула голову, и он увидел, как слезы катятся по ее лицу, вытекая из прекрасных, ничего не видящих глаз.

– Жан, – прошептала она.

– Да, Флоретта, – с трудом выговорил Жан и потом добавил: – Пожалуйста, не плачь из-за меня, я этого не стою.

– Я плачу, потому что ты этого стоишь, – сказала она. – Но ты, мой Жан, не беспокойся, я... я буду в порядке...

– Я животное, – сказал Жан, и голос его был полон горького презрения к самому себе. – Послушай, Флоретта, я ни-

когда не оставлю...

Но она поднялась с постели и приложила палец к его губам.

– Не говори так, любовь моя! – прошептала она. – Иди к ней! Иди и насыться этой женщиной, чей даже голос – зло! А потом возвращайся ко мне. Ты вернешься, знаю, потому что ты хороший. Настанет день, когда тебя будет тошнить от нее, когда от одного вида ее лица тебя вырвет – тогда ты вернешься ко мне. Буду ждать тебя, мой Жан! А сейчас не могу позволить тебе оставаться здесь против твоей воли. Я женщина, Жан, – женщина с ног до головы, хотя ты никогда не верил в это. Я так же способна ревновать, как и всякая другая. И когда ты в конце концов станешь моим, ты им будешь полностью, весь, целиком. Я не стану делить тебя ни с Богом, ни с дьяволом!

– Флоретта! – начал Жан.

– Нет, выслушай меня! Она околдовала тебя, потому что только в одном твоя слабость. Знаю, она, должно быть, прелестна, а ты, как человек страстный, ошибочно принимаешь ее порочную телесную страсть за нечто гораздо большее. Когда-нибудь я покажу тебе, что такое подлинная страсть, что такое любовь, ибо я обладаю всем этим, это хранится в моем сердце, в моем теле, хранится для тебя... Думаю, могу сжечь тебя дотла, знаю, что могу! Какой бы она ни была, чем бы ни обладала – все это побледнеет рядом с тем, что кипит в моем сердце, горячей волной струится по моим венам каждый раз,

когда ты прикасаешься ко мне...

Она стояла, глядя на него своими невидящими глазами, и крупные слезы текли по ее щекам.

– Ты никогда не целовал меня, – прошептала она. – Хочу, чтобы ты поцеловал меня сейчас. Да, подойди и поцелуй меня, а потом – уходи!

Жан наклонился и обнял ее. Но ее маленькие ручки неожиданно взметнулись словно в конвульсии, обхватили его шею, она встала на цыпочки, нашла его рот и прильнула к нему, лаская его с ужасом и мукой, с нежностью и, в конце концов, с откровенной, неприкрытой страстью, похожей на огонь, порождающий жизнь, так она была чистосердечна, беззаветна, такой всепоглощающей, что ничего подобного он не испытывал в своей жизни, – даже поцелуй Николь был иным. Наконец, он высвободился из ее объятия и отодвинулся.

– О, Боже! – простонал он.

– Иди, Жан, – тихо сказала она и потом добавила: – Иди, проклятый!

Он спокойно повернулся и стал спускаться по лестнице.

У дверей своего дома Жан увидел фиакр. В нем сидела, ожидая его, Люсьена.

– Садись, – сказала она. – Я взяла на себя смелость взломать замок и упаковать твои вещи. Они уже в экипаже...

– Ты ведьма! – выругался Жан.

– О, не будь таким утомительным, – засмеялась Люсье-

на. – Садись!

Какое-то мгновение Жан Поль колебался, потом сел рядом с ней. Кучер щелкнул кнутом, и лошадь тронулась по темной, едва освещенной фонарями улице. Копыта в каком-то странном ритме зацокали по камням.

“Пропал, – выстукивали они по мостовой, – пропал, пропал, пропал...”

И звук этот эхом отзывался в сердце Жан Поля Марена.

– Ты собираешься увидеть ее, ты действительно намерен наконец-то встретиться с ней? – взволновано спрашивала Люсьена.

– Да, – улыбнулся Жан.

– Сегодня вечером? О, Жан! Думаю, это самое волнующее событие в жизни!

– Да, – медленно сказал Жан, – я собираюсь увидеть Ее Величество сегодня вечером. И признаюсь совершенно честно, с удовольствием ожидаю Этой встречи...

– Не уверена, что мне нравится эта фраза, – заявила Люсьена.

– Почему? – спросил Жан.

– Потому что я ревнивая женщина, мой дорогой! – рассмеялась Люсьена. – Ненавижу каждый момент нашей жизни, который ты проводишь вдали от меня. Обещай мне, Жанно, что ты не проведешь с ней слишком много времени. Я видела ее много раз, она прелестна. Обещай мне, Жанно!

– Возможно, – улыбнулся Жан.

Он глянул на календарь. Двадцать шестое февраля 1791 года. Через несколько месяцев исполнится год, как они с Люсьеной вместе.

– Иногда, – сухо сказал он, – я почти верю, когда ты говоришь такие слова...

Люсьена затанцевала вокруг него и крепко поцеловала.

– Я говорю правду, – прошептала она. – Никогда не думала, что смогу влюбиться снова. Влюбиться по-настоящему. Но на самом деле это не вновь. Теперь я знаю, что никогда не переставала любить тебя. Разве я смотрела на других мужчин все это время?

– Очень часто, – поддел ее Жан.

– Но только смотрела. Мне никто больше не нужен. Все остальные мужчины надоедают мне до слез. Это замечательно – быть с тобой, Жанно. Все замечательно – утром пить вместе с тобой кофе в постели и долго-долго разговаривать о всех твоих серьезных государственных проблемах. О, все это заставляет меня ощущать себя королевой!

– А ты и есть королева, – сказал Жан.

– Спасибо тебе, дорогой, за эти слова. А теперь, как хороший мальчик, беги в свое ужасное Собрание. Хочу еще часок понежиться в постели, а потом должна быть на репетиции. Ты сегодня вечером будешь на спектакле? Не можешь? Ну, ничего, все в порядке, на этот раз я не возражаю...

Жан поцеловал ее и сбежал вниз по лестнице. Слуга подвел ему оседланную лошадь. Он направился в Собрание, раздумывая по дороге, насколько беспочвенными оказались его опасения в отношении Люсьены. Она верная любовница, добрая, щедрая, занятная, судя по умным вопросам, которые она задает, видимо, ее глубоко интересуют его занятия. И на удивление бережливая.

“Я был полностью не прав, – рассуждал он, – когда думал, что она сделает меня несчастным, а вместо этого...”

– Здравствуй, Жан, – раздался тихий голос Пьера.

– О, Пьер! – откликнулся Жан. – Рад видеть тебя. Черт побери, каким благополучным ты выглядишь! Проедем до Тюильри, и ты расскажешь мне обо всех делах... Надеюсь, ты не таишь злобу против меня?

– Нет, – грустно улыбнулся Пьер. – Я считаю, что человек должен делать то, что должен. Дела у нас идут хорошо. Если так пойдет и дальше, я стану одним из самых богатых людей в Париже. У Марианны уже сотня платьев, и она садится на диету, чтобы стать стройной, как того требует мода.

– А как Флоретта? – спросил Жан.

Пьер заколебался.

– Она выглядит довольной, – медленно сказал он. – Прекрасно управляется с цифрами. Она – душа и сердце всего предприятия. Все рабочие – мужчины и женщины – обожают ее...

– Она счастлива? – спросил Жан.

– Дьявол тебя возьми! – выкрикнул Пьер. – Тебе-то что до этого, старый шут! Да, да, она счастлива! Так счастлива, что живет как во сне – в идиотском сне, что однажды ты вернешься к ней! Она в это верит и живет этой надеждой в ожидании этого дня. Но, видит небо, если этот день когда-нибудь настанет и ты вернешься, надеюсь, у нее хватит ума плюнуть в твое гнусное лицо!

– Извини, Пьер, – мягко сказал Жан, – я не хотел рассердить тебя...

– Нет, – покачал головой Пьер, – это я извиняюсь. Я полагал, что могу по-настоящему злиться только на тех, кого люблю. И когда я вижу, как двое людей, которых я люблю больше всех на свете, погрязли в гнусной, безнадежной путанице...

– Двое? – переспросил Жан.

– Флоретта и ты, старина. Предпочел бы видеть тебя в тюрьме, чем в руках Люсьены. Ах, не рассказывай мне ничего. Она красива, она прекрасно танцует, держу пари – лучше лежа, чем стоя, и я с ужасом представляю себе, что с тобой будет, когда она тебя бросит! А когда я вспоминаю, что тебя любит настоящий ангел, я готов плакать... Прости меня, Жан, но я никогда не мог держать язык за зубами.

– Все в порядке, – сказал Жан. – Только верные друзья говорят тебе правду. Могу я зайти как-нибудь повидать вас?

– Нет, – сказал Пьер, – лучше встретимся где-нибудь в кафе. Марианна и я решили, что теперь, когда Флоретта обрела некоторый покой, было бы ошибкой тревожить ее...

– Хорошо, – сказал Жан, – я часто бываю в кафе Виктоуар.

– Ладно, – проворчал Пьер. – Разыщу тебя там. А *bientot*⁶¹, Жан.

– А *bientot*, Пьер, – ответил Жан и пожал протянутую руку. Потом он повернул свою лошадь в сторону Тюильри, а

⁶¹ До скорого (*фр.*)

Пьер двинулся на улицу Сент-Антуан. Жан Поль почувствовал, что непонятным образом эти несколько простых слов разрушили ему весь день.

В тот вечер он одевался особенно тщательно, понимая, что купленный им новый костюм для встречи с королевой должен выглядеть отлично. Костюм был почти по моде muscadin⁶², но Жан был по натуре слишком консервативен, чтобы опуститься до такого нелепого щегольства. Новейшие парижские модники называли эту моду muscadin из-за своей привычки носить платки, надушенные одноименными духами. И все остальное в их наряде было в той же мере парадоксальным, отмеченным крайностями.

“Тем не менее, – рассуждал, одеваясь, Жан, – многие нововведения действительно красивы. Костюм хорошо скроен, но расцветка слишком пестрая”.

Про его собственный сюртук ничего этого сказать было нельзя: он был желтовато-коричневого цвета, вместо малинового или голубого, как требовала мода. И хотя скроен он был, как фрак, по нынешней моде, он и вполтину не достигал излюбленной щеголями длины ниже колен, ограничиваясь разумной длиной. Темно-коричневый бархатный воротник возвышался над тремя короткими пелеринками. Жану встречались пурпуровые, зеленые или алые воротники, кон-

⁶² Щегольская (*фр.*)

трастирующие с другими бьющими в глаза цветами одежды, у самых больших поклонников моды его времени.

Однако он должен был признать, что несколько поддался крайностям моды в том, как застегивается его сюртук. Большие коричневые пуговицы не проходили в петли, аккуратно пришитые на другом борту сюртука, а застегивались в петельки из замши – верхняя пуговица застегивалась на левом борту, средняя на правом и так дальше все остальные. Брюки, плотно облегающие ноги, были светло-серые, перевязанные ниже колен темно-коричневыми лентами, а верх темно-коричневых сапог для верховой езды вывернут так, что виднелась желтая подкладка. Сапоги эти были привезены из Англии и стоили целое состояние.

Он с опаской рассматривал в зеркало свое изуродованное лицо. Однако под волосами, причесанными по моде Кадоган и присыпанными мягкой сероватой пудрой, его лицо смотрелось не так уж плохо. Кружевные обшлаги прикрывали кисти рук, горло охватывал белоснежный воротник. Он ограничил себя только одними часами, совсем не стал душиться.

Вздыхнув, он взял ставшую модной в последнее время фетровую шляпу, даже более модную, чем двуугольная, сменившая вначале революции аристократическую треуголку. У нее были круглые, совершенно плоские поля и высокая, почти коническая тулья с обрезанной верхушкой. Жан потратил несколько минут на поиски того, чтобы найти нечто среднее между развязной элегантностью и слишком под-

черкнутым консерватизмом. В конце концов результат удовлетворил его.

Жан пожалел, что Люсьена сегодня танцует и ее нет дома, чтобы она могла его видеть. Он чувствовал, что добился небольшого чуда – выглядит модным во всех деталях своего туалета, ни на йоту не впадая в щегольство. Он взял перчатки, роскошную короткую трость, один конец которой хитро заполнен свинцом – на сегодня это его единственное оружие.

Он верхом выехал из Парижа, направляясь к дому Клавьер, друга Мирабо. Жан, Ренуар Жерад и Мирабо часто встречались в этом доме, обсуждая свои до сих пор тщетные планы, но Жан не собирался приближаться к дому.

Спешить не было нужды. Странно, как рука Божия так часто вмешивается в дела людские! Мирабо – ему не исполнилось и сорока двух лет – угасал на глазах. Он болел с Рождества, но никто из его друзей, знавших его богатырское здоровье, не слишком волновались. Однако титану не становилось лучше.

Он умирает, подумал Жан, и эта мысль его поразила. Мирабо – умирает! Это невозможно, но это правда. Мирабо теперь редко выступал, но даже в этих редких случаях голос его звучал только слабым эхом былого львиного рыка. Он с трудом добирался до зала Манежа, с неделю назад он упал бы там, если бы его не подхватили под руки...

Сейчас он выглядит несколько лучше, размышлял Жан, и я должен убедить королеву принять Мирабо. От этого зави-

сит все. Только Мирабо может убедить ее...

Говорят, она теперь не просит короля уехать за границу. Однако, видит Бог, она настаивает на Меце! Неужели она не понимает, что в глазах кордельеров и якобинцев это почти то же самое? Оттуда всего несколько лье до армии Буйе, расположенной в Австрии, – она может уговорить короля попытаться бежать через границу. Какая разница для республиканцев, будет ли она находиться в Австрии или на расстоянии двухчасового перехода от контрреволюционных армий? О, моя королева, надо ехать на Средиземноморское побережье! Тогда никто не сможет обвинить вас в том, что вы предательски настроены по отношению к Франции!

Он ехал, разыскивая перекресток. Не так-то легко обнаружить его в темноте. Но нельзя и думать о фонаре или об эскорте. Теперь они не должны привлекать к себе внимания.

Интересно, подумал Жан, как дела у Ренуара в Австрии? Способный человек этот Ренуар! Странно, даже Мирабо не знал, что Жерад говорит по-немецки, как немец, благодаря тому что пятнадцать лет прожил в Эльзасе в семье своего дяди, принадлежавшего к этому упрямому роду. Полезный он человек, Ренуар Жерад, – человек огромного такта и благоразумия. Думаю, у него абсолютно нет потребности доверяться кому бы то ни было, поскольку он надеется только на себя. В этом я ему завидую. Я так долго был одинок, что с ужасом думаю об одиночестве; я нуждаюсь в общении, в любви. Ренуару вряд ли кто-то нужен, сомневаюсь даже, де-

лится ли он с Господом Богом своими мыслями, когда молится ему в одиночестве!

Руки Жана крепче сжали поводья. Ему послышалось, что цоканью копыт его лошади вторит еще одно – другое цоканье. Он остановил лошадь. Да, теперь он ясно слышит. Какой-то всадник едет ему навстречу в темноте, а здесь никого не должно быть, и он почти безоружен, впервые за последние годы не ощущая успокаивающей тяжести пистолетов в карманах.

Он сжал свою тяжелую трость. Если тот подъедет поближе...

Из-за поворота показался всадник, скакавший легким галопом. В лунном свете Жан мог разглядеть белый овал его лица. Всадник остановил своего коня в нескольких ярдах от Жана Поля.

– Месье Марен? – спросил он.

– Да, – ответил Жан.

– Я герцог д'Аремберг, – произнес всадник, не протягивая руки. – Я здесь, чтобы проводить вас к королеве.

– Следую за вами, – кивнул Жан.

Молодой аристократ резко повернул коня. Жан тронул свою лошадь шпорами и поехал рядом. Он был уверен, что молчаливый спутник при лунном свете изучает его лицо, и мог прочитать мысли герцога, как если бы они были напечатаны на листе чистой бумаги:

“О, Боже, до чего же докатился мир, если мерзкий него-

дядя, да еще с такой физиономией, может получить аудиенцию у королевы!”

Жан улыбнулся. Эта мысль развлекла его.

– Знаете ли вы что-нибудь о графе де Граверо? Он все еще в Австрии?

Герцог д'Аремберг строго посмотрел на него.

– Почему это вас интересует? – спросил он.

– Он мой зять, – ответил Жан. – Во всяком случае был им до трагической гибели моей сестры...

– Вы шутите, – коротко отозвался д'Аремберг.

– Нет, – улыбнулся Жан. – Мы, Марены, странным образом притягиваем аристократов. Симона де Бовье моя невестка.

Он не хвастался, и д'Аремберг понял это. Он просто хотел привести мысли молодого аристократа в порядок. Была опасность, что этот молодой человек поведет себя неправильно и помешает ему увидеть королеву. Этого надо было избежать. Жан должен был любой ценой ослабить впечатление от своего чудовищного лица...

– Ах, вот как! – отозвался д'Аремберг, и голос его потеплел. – Это те самые Марены! Состоятельная семья. Я так понимаю, вы пострадали так же, как и мы, аристократы. Вы ведь тоже потеряли свой дом?

– Да, – мрачно сказал Жан, – и моя сестра погибла от рук крестьян Прованса...

– Кровожадные звери! – вырвалось у д'Аремберга. – При-

мите мои соболезнования, месье Марен.

– Спасибо, – сказал Жан. – Но вы не ответили на мой вопрос.

– Да, – сказал д'Аремберг. – Жерве в Австрии, где он выполняет важную миссию по поручению Их Величества. Храбрый человек этот де Граверо и умный. Говорят, он очень точно информирует императора о всех событиях во Франции. Как это ему удастся, никто не знает, но мой кузен писал мне, что де Граверо часто предугадывает, какой шаг предпримет Национальное собрание...

– Очень умно, – заметил Жан.

– Конечно. Теперь я понимаю, почему вы представились мне более подробно. Вы уж меня простите, месье Марен, но скажу вам как мужчина мужчине, ваше лицо не очень-то вызывает доверие. Где это вы получили такую страшную рану?

– Несчастный случай, – спокойно ответил Жан. – Мне еще повезло, могло быть хуже. На дюйм или два в сторону, и я потерял бы зрение. Однако и это дает известное преимущество. Мне не раз удавалось смутить толпу, только нахмурившись. Если бы я мог действовать так же мерзко, как я выгляжу, я мог бы в один прекрасный день стать хозяином Франции!

– У вас есть чувство юмора, – рассмеялся д'Аремберг. – Если бы такое случилось со мной, боюсь, я вырос бы очень угрюмым...

– Об этом не могло быть и речи, – заметил Жан.

Он понял, что достиг своей цели, когда его сопровождающий открыл ворота в задней стене Сен-Клу. Д'Аремберг вел себя теперь непринужденно, и Жан был уверен, что увидит королеву.

Но это произошло настолько неожиданно, что застало его врасплох. Через две минуты после того, как они спешили, д'Аремберг подвел его к королеве. Она сидела на некотором возвышении. Здесь было холодно, и королева куталась в меха, однако она проворно высвободила из огромной муфты руку и протянула ему.

Жан склонился в глубоком поклоне и поцеловал ей руку, от смущения он лишился голоса. Прежде всего ему бросилось в глаза, что перед ним на редкость красивая женщина, все еще молодая, лет тридцати пяти, и уже потом он осознал, что она не только красива, но и величественна.

Он заметил, что волосы ее не напудрены, а почти седые от забот и горя – ее первенец умер в младенческом возрасте, а те же самые люди, которые опускались перед ней на улицах на колени, воздвигали в ее честь статуи из снега и льда во время ужасной зимы 1788 года, когда она раздавала им бесплатно топливо и еду, теперь плюют в нее на улицах, проклиная ее, называют Австриячкой, иностранкой, возлагая на нее вину за все беды, обрушившиеся на Францию.

Однако при этом он видел, что все несчастья только укрепили ее решимость. Ее лицо было совершенно спокойным, голубые глаза, расширившиеся в момент, когда она увидела

его лицо, тут же вновь стали безмятежными и оставались такими все время их разговора.

“Как бы она ни была виновата, – торопливо подумал Жан, – она настоящая королева!”

– Ваш покорный слуга, мадам, – скороговоркой проговорил он.

– Так ли это? – жестко спросила Мария Антуанетта. – Сомневаюсь в этом, месье Марен. Мои покорные слуги не сидят в так называемом Национальном собрании и не составляют заговоры против блага Франции!

Жан отступил на полшага, но герцог д'Аремберг поспешил ему на помощь.

– Ваше Величество, – деликатно произнес он, – вы, должно быть, принимаете месье Марена за кого-то другого. Он в родстве через браки с двумя нашими аристократическими семьями: де Граверо и де Бовье. Кроме того, он понес трагические потери от рук народа, такие же, как все аристократы. Его дом около Марселя сожгли, его сестра погибла...

Взгляд королевы несколько смягчился.

– Примите мои соболезнования, – сказала она. – И все-таки мне кажется странным, что вы можете сидеть среди тех, кто непосредственно несет вину за убийство вашей сестры. Быть может, вы сумеете объяснить мне это...

Жан улыбнулся, он уже вернул себе самообладание.

– Ваше Величество, с вашего разрешения, могу ответить на это встречным вопросом. Разве королевский экипаж не

оборудован тормозами?

– Да... но я не улавливаю вашу мысль, месье Марен. Какое отношение имеют тормоза и кареты к тому, о чем я говорю?

– Ваше Величество, я и люди, подобные мне, являемся тормозами нации. Без нас Франция скатится сломя голову в анархию. А мы можем действовать только внутри Собрании. Вот почему я здесь: просить Ваше Величество отказаться от естественного и вполне понятного негодования и использовать нас.

– Любопытное сравнение, – проговорила королева вполголоса. – Что вы скажете, д'Аремберг?

– Совершенно верно, моя королева, – улыбнулся герцог. Жан поторопился использовать завоеванное преимущество.

– Ваше Величество сказали о нашем заговоре против блага Франции. Моя миссия и мое самое сокровенное желание убедить вас в том, что наши намерения совершенно иные. Рискуя вызвать неудовольствие его светлости, месье герцога, я должен заметить, мадам, что это именно аристократы были злейшими врагами короны. Выслушайте меня, моя королева! Не намеренно, не из вражды, а из-за глупости, расточительства они привели Францию на грань пропасти. Народ не сам пришел к революции, его подтолкнули! В настоящее время он похож на лошадей, которые сорвались с узды, мчатся как безумные к анархии, к полному разрушению всего, что для нас – для моих друзей и для меня, так же, как и

для вас и для аристократов, моя королева, – самое дорогое...

– Вы красноречивы, – заметила королева.

– Благодарю вас, Ваше Величество, – улыбнулся Жан. – Хочу, чтобы Ваше Величество убедилось в том, что вы можете располагать нами. С того дня, как пала Бастилия, бегство аристократов из Франции усилилось. За последнее время даже люди доброй воли и консервативных убеждений настолько затравлены, настолько запуганы, что в Национальном собрании не осталось никого из правых сколько-нибудь порядочных, честных консерваторов, и только несколько разрозненных умеренных стоят против неистового стада... Корона должна иметь друзей в Собрании, я не могу выразить это резче. К сожалению, друзей, которые есть у Вашего Величества, вы отвергли...

– Вы, конечно, имеете в виду, – напряженным голосом произнесла королева, – де Лафайета и Мирабо.

– Да. Вы считаете их обоих предателями, потому что они пошли против своего сословия. Но, моя королева, сто тысяч аристократов еще не Франция! Есть более высокий долг – долг перед нацией, перед двадцатью четырьмя миллионами подданных Вашего Величества! Ваше Величество должны знать, что существует движение, ставящее своей целью покончить с монархией и установить республику. Мирабо, которого вы презираете, моя королева, один, с некоторой помощью умеренных, вроде меня, приостановил это движение. Подумайте, Ваше Величество, о силе характера человека, ко-

гда корона, которой он хочет помочь, отказывается от него, а он тем не менее продолжает помогать короне, несмотря на ее неприятие и пренебрежение...

– Вы хотите, чтобы я встретилась с графом де Мирабо? – спросила королева.

– Да, Ваше Величество, – проговорил Жан негромко, – ради этого я здесь.

Королева задумчиво нахмурилась. Потом очень медленно улыбнулась.

– Хорошо, месье Марен, – мягко сказала она. – Передайте этому чудовищу, я встречу с ним...

Она встала, и Жан понял, что аудиенция окончена. Он еще раз поклонился, поцеловал ее руку и стал отступать к калитке.

– Вы можете повернуться и идти нормально, – сказала королева, – здесь слишком темно для такой учтивости. Но я благодарю вас, месье Марен, за это – так мало людей, которые сегодня заботятся о соблюдении даже самых необременительных форм этикета. Думаю, я кое-что потеряла, так мало соприкасаясь с моими лучшими буржуазными семьями. Ваши манеры и происхождение, месье Марен, достойны герцогского титула. Не так ли, д'Аремберг?

– Вы совершенно правы, моя королева, – отозвался герцог.

– Благодарю вас за ваше терпение, Ваше Величество, и вас, милорд, за вашу любезную помощь. До свидания, ваш

слуга, мадам!

Когда Жан Поль возвращался из Сен-Клу, он сообразил, что не обратил внимания на детали ее туалета, чтобы удовлетворить жадное любопытство Люсьены.

“Ладно, – подумал он, – я могу и так достаточно рассказать ей...”

В конце концов все кончилось, и судьба французского народа изменилась – сломалась из-за вмешательства рока в дела людей. Верная своему обещанию, королева приняла Мирабо, хотя эта встреча очень долго откладывалась из-за того, что старый лев вновь заболел.

– Она была, – рассказывал Мирабо Жану ослабевшим, когда-то громовым голосом, – очарована мною. Теперь, теперь мы завершим наше дело. Мы можем спасти Францию...

Но 4 апреля 1792 года Габриэль Оноре Ри-кети, граф де Мирабо, депутат Национального собрания, сбил с толку весь мир и все вероятные планы спасения монархии простым актом своей смерти.

Жан был около него до самого конца и плакал, ибо смерть Мирабо была столь же внушающей ужас, столь же достойной обитателей Олимпа, как и вся его жизнь. Благородный лев третьего сословия утратил всякую надежду, а только он мог спасти корону. Он знал это, знал это и Жан Поль Марен, весь мир это знал. Красивый, самовлюбленный генералиссимус

де Лафайет не годился для такой задачи. Достаточно храбрый, достаточно великодушный, но слишком запутавшийся в долгах, в связях. Таково было суждение Мирабо, и Жан Поль не мог не согласиться с ним.

И тем не менее, когда Мирабо приходил в сознание, он требовал от своей маленькой группы, чтобы она продолжала действовать. Отчаявшись сам, он не позволял им впасть в отчаяние. В Австрию пошло письмо с требованием Рену-ару Жераду вернуться. Но, учитывая кружные пути, которыми пересылалось это письмо, и предосторожности, предпринимаемые, чтобы оно не попало в чужие руки, Жан знал, что пройдет несколько месяцев, прежде чем его старый друг сможет вернуться во Францию.

В эти месяцы жизнь шла, как и раньше: одни волнения сменяли другие. Даже странно, задумывался Жан Поль, что скука, порождаемая постоянным возбуждением, становится такой же утомительной, как любая другая. Теперь мы зеваем при виде проливаемой крови, выстрелы и крики в ночи более не будят нас...

– Тебя ничто не может разбудить, Жанно, – рассмеялась Люсьена, когда он высказал ей эту мысль, – даже я. Что случилось с тобой, мой дорогой? Или ты вдруг постарел?

– Нет, – улыбнулся Жан, – просто устал от напряжения, которого я не могу выдержать. Это усталость сердца, усталость духа. Когда умер Мирабо, я потерял надежду, и это подавило меня. Знаю, что физически я не устал, но моя голова

и мысли в ней весят тонны...

– Ты... ты беспокоишься за королеву? – спросила Люсьена.

– Да, она не видит никого из нашей группы. Мы боимся, что она прислушивается к другим советчикам, которые причиняют ей вред. Что-то затевается, мы это знаем. Какие-то люди приезжают, уезжают – таинственные личности, которых допускают в королевские апартаменты только по запискам... Неужели они окончательно решили бежать? Они должны были пойти на это давно, до смерти Мирабо. И эта великолепная желтая карета, – они не могут быть настолько глупы!

– О, я думаю, нет! – весело отозвалась Люсьена. – Жанно, неужели ты не понимаешь, что это просто отвлекающий маневр? Великолепная желтая карета с перьями и стеклами, и все каналы, как сумасшедшие, скачут за ней в должном направлении, в то время как старенькая темная колымага проскрипит в безопасности и никто ее не будет преследовать?

Жан устался на нее.

– Будь прокляты мои глаза, Люсьена! – воскликнул он. – Уверен, ты права!

– Конечно, права, дорогой, – рассмеялась она. – А теперь передай мне нож для разрезания конвертов. Мне надо посмотреть свою почту...

– За последнее время ты стала получать много писем, – недовольно заметил Жан. – Из какого это города тебе пи-

шут?

– Что такое, Жанно? Каким ты стал подозрительным. Никогда раньше ты не задавал мне таких вопросов.

– Откуда письма? – с мрачным спокойствием повторил Жан.

– Если уж ты так хочешь знать, они из Австрии. Но не от Жерве, мой ревнивец. Посмотри сам – видишь, это женская рука?

– Вижу, – ответил Жан, – но почему ты вообще получаешь письма из Австрии?

– Глупец, эти письма от маркизы де Форетвер. Она мой друг. Перед революцией многие важные дамы стали вполне демократичны. Бедняжка Софи завидует мне и обожает меня. Уверена, она, не задумываясь, поменялась бы со мной местами. Последнее время она просто умирает от желания знать парижские новости и часто пишет мне. Я отвечаю ей, как могу. Сам понимаешь, моды и всякие другие женские глупости, у кого новый любовник, может ли возродиться светская жизнь в таких трудных условиях...

– И ни слова о Жерве ла Муате? – сухо спросил Жан.

– Конечно, нет! Иногда ты меня ужасно утомляешь, Жанно! Австрия большая страна. Софи никогда и не встречала его...

– Посмотри на меня, – мягко сказал Жан, – ревность жалкое чувство. Однако я должен возвращаться в этот несчастный зал, полный шума и ярости, где никогда ничего не до-

водится до конца...

Люсьена вдруг оторвалась от письма, лицо ее побледнело.

– Жан, – прошептала она, – когда возвращается Ренуар Жерад?

В ту минуту Жан не смотрел в ее сторону, но что-то в ее голосе заставило его обернуться. Кроме того, он немного замешкался, и она уже успела взять себя в руки. В этом ей не было равных.

– Не знаю, – ответил Жан. – У нас нет возможности поддерживать связь с ним непосредственно. Но мы ожидаем его со дня на день. Почему ты спрашиваешь?

– Софи... упоминает о нем в своем письме, вот и все. Просто немного странно, что она должна...

– Странно? – отозвался Жан. – Хуже, чем странно. Значит, Ренуар где-то оступился и дал себя опознать. Она упоминает его по имени?

– Да. Она пишет, что полиция подозревает его. Ты... ты хочешь прочитать ее письмо?

– Нет, – сказал он, – оно только нагонит на меня скуку.

На этот раз мимо его внимания не ускользнуло облегчение, мелькнувшее в ее глазах.

Здесь что-то затевается, мрачно подумал он, могу держать пари, она переписывается с ла Муатом через эту женщину. Сейчас нет времени заняться этим. Отложу до вечера...

Но это был вечер двадцатого июня 1791 года, и предназначался он совсем для других дел, чем предполагал Жан.

Он сидел на своем месте в Собрании, когда посыльный принес ему записку. Было уже довольно поздно, но бурные заседания Национального собрания частенько затягивались на двенадцать, а то и восемнадцать часов. Он распечатал записку и прочитал: “Жду тебя на улице. Необходимо срочно увидеться”. И подпись: “Р. Жерад”.

Жан схватил шляпу и трость и сразу же вышел.

Ренуар Жерад даже не спешил. Его покачивало в седле от усталости, лицо было покрыто таким густым слоем пыли, что зубы, когда он улыбнулся, ярко блеснули.

– У тебя есть лошадь? – прохрипел он.

– Есть, но не здесь, – ответил Жан. – Я оставил ее дома, а сюда приехал в фиакре. Но это не займет много времени...

– Тогда садись сзади меня! Сегодня ночью нам предстоит адская гонка...

Жан изумленно уставился на него.

– Ты не в состоянии скакать, – объявил он. – Скажи, что нужно сделать, и я сделаю.

– Нет, мы оба и еще столько людей, сколько мы сможем собрать... должны перекрыть абсолютно все дороги, расходящиеся из Парижа, подобно вееру.

Жерад нагнулся, его губы почти коснулись уха Жана.

– Королевская семья, – прошептал он, – сегодня ночью бежит из Парижа!

– О, Боже! – вырвалось у Жана. – Но, Ренуар, разве мы сами не хотели, чтобы они бежали?

– Не сейчас и не таким образом. Наши королевские идиоты, несмотря на все наши советы, направляются в Мец! Эмигранты взяли верх. Королева к ним прислушивается. С того дня, как я узнал о смерти Мирабо, я понял, что у нас нет шансов. Я старался выиграть время, но они опередили меня...

Жан шагнул на середину улицы и остановил проезжавший фиакр.

– Садитесь, – предложил он, – а вашу лошадь мы можем привязать сзади. Бедное животное совершенно загнано. У меня для вас есть другая лошадь и бочонок с вином. А мы сможем поговорить, пока едем. Так вы говорите, эмигранты обошли вас?

– Не все, – мрачно ответил Жерад, – а только один, твой старый друг Жерве ла Муат.

– Де Граверо! – прошептал Жан. – Во имя Господа Бога, Жерад, каким образом?

– У него есть какой-то источник информации здесь, в Париже. Не знаю, кто это или как он получает эти сведения, но, пропади мои глаза, Жан, он узнает о том, что собирается предпринять Собрание, раньше, чем я. И что еще хуже, он знает все планы нашей группы. Вот что сбивает меня с толку: у него может быть дюжина путей узнать про политические тенденции – заседания проходят в присутствии публики, – но как, во имя нечистой силы, он узнает о наших планах?

Жан сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Он не

двигался и не открывал рта. Он просто сидел в фиакре, ехавшем по одному из прекрасных бульваров Парижа, и умирал в сердце своем от медленной и жестокой пытки.

Ее губы у моих губ, шепчущие ужасные изумительные слова. Ее руки, ее руки, все ее тело, белоснежное, пылающее внутри, медленно ласкающее мое тело, нежные движения, сладостные движения, ускоряющийся ритм этих движений, это уже вихрь, это уже бешеная скачка, мучительно сладкая, извергается поток лавы, обжигающий, обволакивающий меня, покрывающий с головой, разрушающий меня, ввергающий в ад агонией слишком сильного наслаждения, в непереносимый экстаз, лишаящий меня разума, моей души, оставляя меня без сил, между сном и пробуждением – ради чего?

Ведь эти вопросы, так невзначай, так легко задавшиеся, и это искусное женское притворство – якобы она не понимает, выкачивая из меня все, что ей нужно, с такой легкостью, с такой проклятой легкостью, смеясь в глубине своего ненасытного тела над этим большим и неуклюжим дураком, которого она дважды предала: когда-то предала телом, а теперь еще хуже, в миллион раз хуже, – в душе...

Если она дома, подумал он с ужасным спокойствием, я убью ее. Если меня даже за это повесят, я заслуживаю такой кары, ибо я виноват так же, как она, нет, больше, потому что из-за своей похоти и глупости, из-за того, что уступил своей слабости и опустился до уровня животного, я, Жан Поль Марен, предал Францию!

– Почему ты молчишь? – спросил Ренуар Жерад.

– Задумался, – отозвался Жан. – Но вы не беспокойтесь, я все устрою...

Дома ее не было. Как только он перешагнул через порог, сразу понял, что ее нет. Она не ушла в Оперу, а уехала, сейчас она уже покинула Париж, а еще через два дня будет за пределами Франции. Из гардероба исчезло несколько ее простеньких платьев. Маленький шкафчик тоже был пуст: чулки, белье – все исчезло. Ее чемодан и его...

Потом он заметил на камине записку. Он, не читая, сунул ее в карман. Потом ровным, неживым, спокойным голосом приказал служанке подогреть воду для Жерада, принести бритву и приготовить что-нибудь поесть.

– У нас нет времени, – сказал Жерад, – они...

– Время еще есть, – сказал Жан. – Они не поедут быстро.

– Ты так уверен, – вздохнул Жерад. – Ладно, тогда я помоюсь.

Он отправился в ванную, а Жан вскрыл записку.

“Мой Жанно, – читал он, – которого я никогда не переставала любить и у которого я

даже не могу теперь просить прощения, поверь одному – я люблю тебя. Я опять предала тебя, да, но по причинам, не уступающим твоим: я люблю Францию – старую Францию, великую Францию, которую ты, мой любимый, помогал разрушить. Ненавижу то, что делаю, но это должно быть сделано. Потому что я сражаюсь за нечто более значительное, чем

наши с тобой отношения, более важное, чем счастье любого человека и даже его жизнь. Если бы мне приказали, я убила бы тебя и даже себя. Хотя ты и избрал неверный путь, ты настоящий патриот и, думаю, поймешь это...

Пишу и плачу, слезы ослепляют меня, они исходят из моего сердца, и они почти как кровь. Пока ты жив, верь в одно – когда я приходила к тебе, когда я обнимала тебя, принимала в свое тело, это были не ложь и не предательство, это я, любя тебя, желала тебя, как и буду желать до последнего дня, пока не умру и не освобожусь от всех желаний. Даже то, что я делала потом – расспрашивала, добивалась информации, предавала твое спокойное, мужское доверие ко мне, – не может осквернить этого.

Ты никогда больше не увидишь меня, и, зная это, как я знаю, что ты никогда, никогда не простишь меня, остаюсь твоя безутешная Люсьена”.

Жан застыл на месте, уставившись в записку широко раскрытыми глазами. Затем очень медленно взял свечу и поднес ее к листку. Он смотрел, как он сворачивается, становится коричневым, как желтые язычки пламени пожирают бумагу, и его глаза оставались ясными и очень серьезными. Он держал листок в руке, пока огонь не коснулся кончиков пальцев, не чувствуя боли, потом выпустил листок, глядя, как он переворачивается в воздухе медленной спиралью дымка и огня, пока он не упал на пол, превратившись в горстку пепла.

Через полчаса он сидел в седле, направляясь к фламанд-

ской границе, в сторону Брюсселя. Он полагался на идею Люсьены, что большая желтая карета только маскировка. Ренуар, непоколебимо веровавший в непреодолимую глупость людей, даже королей, не поверил в такую возможность. Он поскакал по другой дороге – на Варенн, в направлении Меца. Вот и получилось так, что неутомимый бывший комендант Прованса прискакал как раз вовремя, чтобы увидеть пленение короля и королевы. Ибо Жерад был прав: толстяк Людовик и его гордая королева оказались неспособны отказаться от привычных штампов мышления. Как он и предполагал, даже в бегстве они не могли отказаться от лакеев, ливрей, роскошной кареты, эскорта, разбудившего все окрестности своим конским топотом, от всей пышности и блеска их величия, которые в итоге оказались для них ловушкой, западней. Они даже не подумали о том, чтобы ехать кружным путем, а маскировка их была вовсе жалкой. Старому драгуну Друэ, почтмейстеру в Варение, понадобилось только поискать в карманах новый ассигнат и сравнить портрет, напечатанный на нем, с толстой, сонной физиономией, чтобы узнать короля. С этого момента королевская власть во Франции была обречена.

А Жан Поль Марен, считавший, что он умнее, скакал на север. Когда в конце концов не одна, а две зашарпанные кареты именно такого типа, как он и ожидал, въехали в сонную деревню, он тут же узнал в одной из них графа Прованского, брата короля, и мадам, его жену, в другой. Соблюдая

строжайшую конспирацию, они смотрели друг на друга, делая вид, что не знакомы, пока меняли лошадей.

Жан видел их, но не тронулся с места. Удастся ли бежать графу Прованскому и его жене, никак не влияло на судьбу Франции. Рад, подумал Жан, видеть, как они уезжают. Они хорошие люди, и их смерть никому не принесет пользы. Жан вновь сел в седло и собрался возвращаться в Париж, когда мадам, измученная жаждой, послала свою служанку с хрустальным бокалом к водяной колонке.

Чертовски приятная служанка, подумал он, глядя, как она направляется в его сторону, высокая, гибкая, как ива, с рыжеватыми волосами...

Потом он замер, глядя на нее в упор, прямо в ее карие глаза, расширившиеся от ужаса. Она замедлила шаги и остановилась, пока мадам, высунувшаяся из окна кареты, не окликнула ее:

– Поторапливайся, девушка!

– Да, да, – насмешливо сказал Жан, – поторапливайся!

Он запрокинул голову и разразился раскатами дикого, демонического хохота, звук которого волнами окатывал ее, горький, безрадостный, насмешливый – в нем было нечто звериное и одновременно сверхчеловеческое. А она стояла, дрожа под накатами этого смеха, с белым, как у привидения, лицом, пока Жан не приподнял свою шляпу и не сказал, обращаясь к ней:

– Иди, ведьма, ты не должна заставлять ждать графиню

Прованскую!

Потом он рванул поводья с такой силой, что его лошадь заржала, повернул ее на юг и поскакал в направлении Парижа, оставляя позади себя эхо сатанинского хохота.

Люсьена еще долго стояла после того, как он уехал. Затем она подошла к колонке и вернулась к карете с водой. Вода была кристально чистая, прозрачная.

Но и вполовину не чище и не такая сверкающая, как ее слезы.

Жан Поль сидел на краю постели, обхватив руками голову и как бы баюкая ее. Тишина в квартире подбиралась к его нервам миллионами крошечных шажков. Здесь ничего не изменилось – занавеси, драпировки, часы на камине, каминный экран, – каждый из двух дюжин предметов обихода напоминал об изысканном вкусе Люсьены и сквозь тишину кричал, шептал ее имя.

Надо уехать отсюда, подумал он. Надо вернуться в свою старую квартиру на улице Сент-Антуан, но это значит, что я каждый день буду видеть Пьера, Марианну и Флоретту... О, Боже, сколько всего намешано в человеке! Меня уважали за храбрость, потому что я не боялся физической боли и даже угрозы смерти. Но это то мужество, которого у меня нет. Вернуться к ним, сказать, что я сожалею, что я был не прав – это нетрудно или должно быть нетрудно. Но я не могу...

Идти туда по собственной воле и скромно просить прощения – это одно дело, и, по-своему, это было бы очень хорошо...

Но приползти сейчас, потерпевшим поражение, преданным, опустошенным – именно так, как они предрекали, – эффектно сказать своим друзьям: “Я ушел от вас гордый, упрямый, а теперь возвращаюсь к вам, к своему запасному варианту, потому что у меня ничего не осталось, потому что

обнаружил, что одиночество мое невыносимо” – могу ли я оскорбить их сильнее? Нет, я должен найти себе другое место, которое не будет постоянно напоминать мне былое, вести другую жизнь, менее насыщенную, попроще, в которой не будет ни больших радостей, ни больших огорчений и которая принесет мне ощущение мира и покоя...

Он встал и подошел к окну. Воскресенье, 17 июля, подумал он. Прошло меньше месяца после бегства Люсьены, а для меня это столетия, века молчания, одиночества. Человек должен получать хоть какое-то удовлетворение от жизни, я это знаю. Но за всю свою жизнь мне это удавалось так редко: один час, один день с Николь, разговоры с бедной маленькой Флореттой, месяцы, прожитые с Люсьеной, но даже это выглядит сейчас подделкой, обманом, кражей всего, что придало жизни великолепию, или достоинство, или радость...

Моя работа? Что это была за ловушка и обман – все эти тайные встречи с Пьером, эти ночные поездки, отчаянное волнение от сознания того, что играешь какую-то роль в судьбе страны и ее истории, рискуя всем: состоянием, свободой, даже самой жизнью во имя идеи... Существует ли на свете более пьянящее вино?

Посмотреть на все это сейчас! Тирания королей кончилась. Вероятно, только для того, чтобы на ее месте возникла другая, еще худшая. Ибо при всей своей путаной некомпетентности толстый Людовик человек добрый, но какое добро живет в сердцах Дантона, молодого Демулена, скользкого

Робеспьера, больного Марата? Лучше уж было бы оставить все, как было, ибо на каждое прежнее зло мы выпустили десять тысяч новых зол. Тогда потребовался плохой урожай, чтобы подорожал хлеб – теперь подорожало все, вне зависимости от того, плохой урожай или хороший. Страна завалена ничем не стоящими ассигнатами, дороги полны патриотами-разбойниками, так что провезти в Париж любые продукты или товары можно только под охраной... Теперь каждый полагает себя государственным человеком, королем, а убийства и насилия стали обычным делом...

И за это я и люди, подобные мне, несем ответственность – нет, даже вину. В своем тщеславии мы высвободили ураган, думая, что мы боги, что мы можем противостоять буре. А в итоге те самые силы, которые мы выпустили, разрушат нас, одного за другим, и это будет только справедливо, но заодно они погубят и Францию, а это уже чудовищно.

Он вздохнул и отвернулся от окна. Все жизненные усилия сводятся в конце концов к тому, что человек движется к смерти.

Улица внизу была заполнена людьми. Он знал, куда они все идут – на Марсово поле, где кордельеры и якобинцы воздвигли грубо сколоченный деревянный Алтарь Отечества. На нем лежал огромный свиток, на котором они надеялись получить тысячи подписей и десятки тысяч крестиков, старательно выведенных теми, кто не умеет писать.

До двадцать первого июня такой замысел со сбором под-

писей был немислим, но теперь, после колоссальной глупости с попыткой бегства короля, Эбер, Дантон, Марат, Робеспьер и другие могли смело выступить с идеей, владевшей ими с самого начала. Свергнуть короля! Сделать Францию республикой!

Абстрактно рассуждая, идея хорошая, думал Жан, беря шляпу, трость и пистолеты, но требуется, полагаю, одно обстоятельство: чтобы иметь республику, надо иметь республиканцев, а не этих пьяных безумцев, которые маячат на переднем плане, и не тот визжащий, немытый сброд, ставящий крестики под этой петицией. Достоинство, спокойствие, умение смотреть вперед, решимость – где все это в сегодняшней Франции? Куда девалось в реальной жизни бескорыстие, где он, отказ от личных интересов? Каждому из этих кровожадных, взбесившихся республиканцев на самом деле совершенно не нужна республика, а нужна только возможность, не откладывая, ухватить власть, богатство, славу своими грязными лапами. И ведь этому я тоже, будь проклята моя дурацкая душа, способствовал!

Он водрузил свою шляпу с высокой тульей на голову и спустился по лестнице. Очувтившись на улице, он немедленно оказался в водовороте толпы; его сразу же захлестнула тугая волна мерзейших запахов, один хуже другого; его ударяли, толкали грязные, вшивые грубияны, гогочущие беззубые старые ведьмы, большинство в красных колпаках; у всех были трехцветные кокарды, в разной степени испачканные гря-

зью. Он слышал реплики по поводу своей нарядной одежды и аристократической внешности, но он отталкивал их от себя руками с такой силой и затем обращал к ним свое страшное лицо так грозно, что они шарахались и пропускали его. “Мое наводящее ужас лицо, – подумал он насмешливо, – мое лучшее оружие...”

Толпа заполняла Марсово поле, распевая их ужасный гимн “Ca ira”:

Это будет, будет, будет,
Аристократов на фонарь!
Это будет, будет, будет.
Аристократы, мы всех их повесим!
Да, это будет!

Люди выстраивались в длинные очереди, чтобы подписать петицию. Ее главные авторы Робер, Шомет, Анрио, гнусный Эбер, Коффиналь и Монморен стояли рядом с деревянным алтарем и наблюдали. Однако Дантон, Марат и Робеспьер, которых Жан хорошо знал и которые оказали большое влияние при написании петиции, либо отсутствовали, либо скрывались за спинами толпы.

Эх, вы, гончие псы, нюхаете ветер! Жан мысленно посмеялся над ними. Ветер унесет запах раньше, чем вы покажете свои клыки...

Он стал в стороне, наблюдая. Группа молодых женщин поднялась к алтарю. Все они были юные и прелестные. Серд-

це Жана пронзила боль, когда он узнал в них бывших коллег Люсьены по Опере. Они были, как обычно, озабочены тем, чтобы быть на виду, устроить спектакль из своего патриотизма, потому что, поскольку их знатные любовники сбежали, им надлежало заставить публику как можно скорее забыть их вполне заслуженную репутацию игрушек аристократии.

“Сколько среди вас, – подумал Жан, – к тому же шпионки и изменницы? Я бы удивился, если...”

Ему так и не удалось додумать эту мысль. Одна из девушек вдруг пронзительно завизжала. Жан видел, как она подняла левую ногу и скачет на правой.

Толпа с ревом подалась вперед. В две минуты они почти разломали алтарь и вытащили из-под него двух несчастных, один из которых все еще держал в руке шило.

– Шпионы! – редела толпа. – Шпионы Мотье! Прихвостники генерала Лафайета! Смерть им!

Глупцы, подумал Жан, они не понимают, что у этих вонючих червей не было иного намерения, кроме как украдкой глянуть женщинам под юбки. Для этого они и сверлили дырки. Бедняги, как еще они – один слепой на один глаз, другой на деревянной ноге – могут каким-либо другим образом бросить взгляд на женскую плоть? И из-за этого слабоумия умирать!

В том, что они умрут, сомневаться не приходилось. Этим двум грязным старикам не дали даже объяснить ничего про их распутство импотентов. Они были убиты не сразу только

потому, что оказалось слишком много желающих выступить в роли палачей. Парижские головорезы сражались, как звери, за привилегию убить двух безвредных старых дураков. Их вырывали друг у друга разные компании, их одежда была разорвана и в крови от сотен ударов.

В конце концов человек сто хулиганов из Сент-Антуанского предместья взяли верх. Через две минуты оба любителя подглядывать кончили свою жизнь на веревке, перекинутой через фонарный столб. Было что-то непристойное в том, как дергались их тела: они стучались друг о друга, крутились, бородастые челюсти отвисли, грязные сероватые лица медленно становились синими, потому что убийцы не умели завязать петлю как следует, чтобы она сдавила шею надлежащим образом и вызвала тем самым мгновенную смерть. Поэтому старики умирали от удушья медленно, а толпа улюлюкала и хохотала.

Жан Поль отвернулся от этого зрелища, он испытывал приступ тошноты. Хотя ему часто приходилось видеть в Париже акты произвола толпы, у него это все еще каждый раз вызывало отвращение. Он не хотел видеть завершения этой сцены, но остался там, повергнувшись к происходящему спиной, пока новый всплеск криков не возвестил, что все кончено тем единственным способом, каким парижские гуляки обычно завершали всякое дело. Когда он взглянул в ту сторону, толпа уже уносила на пиках две кровоточащие головы.

Толпа расступалась, давая дорогу владельцам пик с их ужасными трофеями. Жан увидел, как какой-то мужчина потянул в сторону молодую женщину, которая стояла на их пути. На какое-то мгновение Жан удивился поведению женщины, прежде чем узнал ее.

– Флоретта, – пробормотал он. – Благодарение Богу, что ни Пьер, ни Марианна не видят меня здесь...

Его слова оборвал далекий гул оружейного залпа. Он поднял голову и, нахмурившись, стал прислушиваться. Как он и ожидал, через несколько секунд донеслась отдаленная барабанная дробь.

Прибыла Национальная гвардия, чтобы покончить с беспорядками. Это был предупредительный оружейный залп, провозгласивший своим медным гулом введение военного положения. Жан еще раз посмотрел в сторону Флоретты. Здесь может произойти кровопролитие. Пьер должен понимать это и немедленно увести отсюда обеих женщин. Жан начал проталкиваться к ним, но это оказалось трудным делом. Когда до них оставалось уже недалеко, он остановился. Ему не хотелось сейчас с ними разговаривать, более всего на свете он желал избежать этой встречи. Но надо было держаться поблизости от них. В случае возникновения беспорядков они будут нуждаться в его помощи. Он выжидал.

Ждать ему пришлось недолго. Перед строем Национальной гвардии появился на белом коне Байи, мэр Парижа, с красным знаменем в руке, означавшем введение чрезвычай-

ного положения. Рядом с ним ехал Лафайет, а за ними шагали шеренги национальных гвардейцев.

Была там и артиллерия. Толпа молча расступалась, давая им дорогу. Потом какая-то женщина завопила:

– Долой красный флаг! Долой штыки!

Сотни голосов тут же подхватили ее слова и принялись выкрикивать:

– Долой красный флаг! Долой штыки!

Рев стоял такой, что, казалось, от него расколются небеса.

Байи поднялся на шаткую платформу и начал читать прокламацию. Жан мог видеть, как шевелятся губы Байи, но расслышать слова было невозможно из-за несмолкающего рева толпы.

Кто-то схватил камень и швырнул в него. Это послужило сигналом, и на гвардейцев посыпался град камней.

Солдаты подняли мушкеты. Жан начал проталкиваться ближе к Флоретте. Протрещали выстрелы, и дула мушкетов плюнули дымками, но никто в толпе не упал, потому что солдаты целились поверх голов.

Толпа подалась назад, потом качнулась вперед, осмелев от такой снисходительности гвардии. Град камней усилился. Жан видел, как солдаты опустили мушкеты и стали их перезаряжать. Разъяренная толпа нажимала. Послышались отдельные pistolетные выстрелы. Адьютант генерала Лафайета качнулся в седле, получив рану в плечо. Никто – ни Байи, ни Лафайет – не отдавали приказа стрелять. Когда солдаты

дали второй залп, они сделали это только для сохранения собственных жизней. Несколько человек в толпе упало, карикатурно распластавшись на земле, жизнь вытекала из их израненных тел. Толпа отпрянула назад, потом повернула и, как стадо овец при звуке рожка большой кареты, ударилась в бегство.

Жан видел, как артиллеристы с горящими фитилями бежали к пушкам. Однако Лафайет, великолепный наездник, заставил своего коня встать между бегущей толпой и жерлами пушек.

Толпа бежала в ужасе, топча женщин, детей, стариков. Жан стал пробиваться к Флоретте. Но прежде чем ему удалось добраться до нее, он увидел, как ее вырвали из рук Пьера и стадо животных, утративших всякое подобие людей, бросило ее на землю.

Жан поднял свою тяжелую трость и принялся вращать ею, пробивая себе дорогу. Ударами трости он как по волшебству расчистил себе дорогу и в мгновение ока оказался рядом с ней. Он опустился на колени и взял ее на руки, увидел, что она не ранена, а только оглушена и тяжело дышит.

– Спасибо, месье, – прошептала она, – теперь вы можете опустить меня. Я в порядке.

– Нет, Флоретта, – серьезно сказал Жан. – Здесь слишком опасно. Пойдем, я выведу тебя отсюда.

Он увидел, как расширились ее большие невидящие глаза на маленьком лице. Потом они наполнились всем светом

мира, потеплели.

– Жан! – задохнулась она. – О, мой дорогой...

Она обхватила руками его шею и спрятала лицо в его воротнике.

Жан вывел ее из толпы и поднял трость, чтобы остановить фиакр, и тут он, к своему удивлению, заметил, что от трости осталась только рукоятка. Он даже не заметил, что, когда колотил ею по головам, сломал ее.

Раздобыть фиакр оказалось нелегким делом. Все, кто мог позволить себе нанять фиакр, торопились укатить отсюда. В результате Пьер и Марианна тоже успели выбраться из сильно поредевшей толпы и присоединиться к Жану и Флоретте.

Лицо Марианны было мокро от слез. Она сжимала Флоретту в объятиях, бормоча:

– Слава Богу, ты в порядке! Слава Богу! Я думала, они растоптали тебя...

– Они бы и растоптали, – гордо заявила Флоретта, голос ее звенел, – но Жан...

Марианна повернулась к Жану.

– Что касается тебя, Жан Марен, – резко сказала она, – так ты уже решил вести себя прилично и вернуться к нам?

– У меня, – засмеялся Жан, – нет другого выбора. Да, Марианна, завтра я возвращаюсь на свою старую квартиру.

Пьер поднял глаза на своего друга. Потом неожиданно протянул ему руку. Жан сильно сжал ее.

– Я рад, Жан, – серьезно сказал Пьер, – ты даже не пред-

ставляешь себе, как я рад.

Флоретта застенчиво коснулась руки Жана.

– Жан, – прошептала она, – значит, все кончено? Я хочу сказать, с той, другой? Ты больше не с ней?

– Нет, малышка, – сказал Жан, – ее здесь больше нет. Ее нет в Париже и даже во Франции.

Радость, вспыхнувшая в глазах Флоретты, была почти ослепительна. Жан почувствовал, как что-то поднялось в его сердце и отлетело прочь. Это нечто, темное, тяжелое, бесформенное, долгое время лежало у него на сердце и теперь исчезло. “Ты больше не с ней?” – спросила Флоретта, и вот теперь наконец, после столь долгого времени, он больше не с ней. Он свободен. Он стоял, не двигаясь, оберегая это ощущение. Это было очень глубокое, сильное и спокойное ощущение, имя которому умиротворение.

Потом они все вместе ехали домой на фиакре, который Пьер в конце концов остановил. Жан удивлялся, как легко все произошло. Он так боялся этой встречи, ожидая слез, взаимных обвинений, тяжелых объяснений, извинений. А все случилось иначе. Он дал все объяснения, какие от него требовались. Взгляд Пьера стал спокойным и теплым, а Марианна смотрела на него с тем выражением удовлетворения, с каким художник смотрит на законченное им творение...

Однако оставались еще дела, и Жану некоторое время ка-

залось, что их можно завершить. После так называемого избиения на Марсовом поле Национальное собрание с большим опозданием проявило мужество: оно проголосовало за запрещение подстрекательских газет, в число которых попали газеты: Марата “Друг народа”, Фрерона “Оратор народа” и Камиля Демулена “Революция во Франции и Брабанте”. Эти издания перестали выходить. Более того, когда поднялась эта волна умеренности, Демулен, Лежандр и Сантер скрылись, а Дантон бежал в Англию. Робеспьер, благо разумно утаивший свое участие в этом деле, довольствовался тем, что воспользовался гостеприимством состоятельного Дюпле и обрелся таким образом вдали от своей старой квартиры.

Лафайет, Барнав, Ламет, Ле Шапелье, Дюпор, Сиейес и Талейран образовали новый клуб, собиравшийся в монастыре фельянов и принявший это имя. Многие из этих основателей клуба фельянов были якобинцами, но поскольку верх в клубе взяли экстремисты, влияние отцов-основателей сошло на нет. Жан довольно часто бывал на собраниях фельянов, он более или менее разделял их политические взгляды, но стать членом клуба отказался.

– Если бы Национальное собрание, – говорил он, – проявило мудрость, оно закрыло бы все клубы. Депутат не должен подвергаться давлению со стороны. Это разрушение демократии...

Но Собрание оказалось далеко не мудрым. 3 сентября 1791 года оно приняло конституцию, гарантирующую сохра-

нение власти в руках буржуазии, но тридцатого числа того же месяца фактически лишило себя полномочий, проголосовав почти единогласно за самую большую политическую глупость, какая когда-либо рождалась в ущербном уме извращенного человека.

Максимилиан Робеспьер в фанатичном стремлении оправдать свое прозвище “Неподкупный” убедил депутатов Национального собрания проголосовать за то, чтобы они не могли заседать в новом Законодательном собрании. Таким образом, одним росчерком пера Франция была лишена столь дорого доставшегося ей опыта двух лет и вновь оказалась в руках новичков.

Жан Поль голосовал вместе со всеми. “Конечно, это безумие и даже хуже того, – думал он, – но я сделал все, что мог. Думаю, и все остальные устали, – так же устали, наверное, как и я. Они хотят вернуться к своим семьям, которых не видели годами, чтобы вновь взять в руки нить своей жизни и ткать ее самым подходящим для себя образом...”

В тот вечер он уже начал упаковывать вещи, когда в комнату вошла Флоретта и остановилась, прислушиваясь к тому, что он делает.

– Ты... ты уезжаешь, – сказала она, и это было утверждение, а не вопрос.

– Да, Флоретта, – отозвался Жан, подчеркивая веселость в голосе, – но я вернусь... так быстро, как сумею...

– Как долго тебя не будет, Жан? – прошептала Флоретта.

– Месяца два, может быть, три. Я собираюсь возродить фирму моего отца. Сейчас подходящее для этого время. После восстания негров в Сан-Доминго стало чудовищно трудно доставлять во Францию сахар и кофе. Думаю, что смогу доставлять эти товары, может быть, из Луизианы или с Мартиники. У меня есть суда, их нужно только отремонтировать и набрать команды...

Он продолжал говорить, глядя в отчаянии на ее лицо. Оно было совершенно бесстрастным. Через какое-то время он понял, что она вообще его не слушает.

Она подошла к нему ближе, ее большие темные глаза сосредоточились на его лице, так что у него возникла иллюзия, что она может его видеть, что ее пристальный взгляд читает его мысли.

– Жан, – сказала она просто, – не рассказывай мне всего этого. Это мужские дела, и меня они не касаются. Скажи мне только одно, мой Жан, – правду. Когда ты вернешься в Париж, ты вернешься ко мне?

Он стоял, внимательно глядя на нее. “Вот с этим я не могу справиться, подумал он, с ее простодушием. Это результат ее слепоты. Для нее все, что затрагивает ее интересы, не может не иметь жизненно важного значения. И что я могу ей ответить? Что я могу ей сказать? Что я вернусь, моя бродяжка, сладкая девочка, только в том случае, если женщина, которую я ищу, мертва. Только это имеет значение, но как я могу сказать ей это? О, Боже, как я могу сказать?”

Он коснулся своей большой рукой ее щеки, и это прикосновение было легким, как дыхание.

– Если я не вернусь к тебе, Флоретта, – пробормотал он, – я вообще не вернусь...

Она медленно подняла руку и сжала его пальцы. Потом отвела ее от своего лица, повернула ладонью вверх, поцеловала эту ладонь и сжала его пальцы в кулак, прикрыв ими место поцелуя.

– Сохрани это в память обо мне, – сказала она и выбежала из комнаты.

Жан еще некоторое время стоял и смотрел ей вслед. “Мне столь многое надо хранить в память о тебе, маленькая Флоретта, – подумал он, – все добрые и ласковые воспоминания, все цветы покоя...”

Потом продолжил упаковывать вещи.

Все оказалось гораздо сложнее, было просто дьявольски трудным. Начать с того, что путешествие до Марсея, отнимавшее в правление короля пять или шесть дней на самом быстром дилижансе, теперь, из-за расстройств работы транспорта, который попросту развалился, как и все во Франции, растянулось более чем на две недели. Во-вторых, оказалось очень трудным набрать команды матросов. Безработных моряков, как и предполагал Жан, было много, но они не так уж страдали от безработицы; во Франции в 1791 году

оставалось слишком много возможностей, чтобы грабить и просто воровать. И еще труднее, чем набрать матросов, оказалось найти опытных людей, желающих служить офицерами.

– Дело вот в чем, Жан Марен, сынок, – говорили ему старые морские волки. – Я знал твоего отца, много раз плавал на его судах, но сейчас все иначе. Эти дураки не соображают, что судно это не место для политики. Когда я отдаю приказ, я хочу, чтобы мои парни вскакивали и бежали его выполнять! Более того, их жизнь и моя подвергаются опасности, если они этого не делают. Если я приказываю рулевому положить право руля, потому что я ясно вижу буруны и скалы по левому борту, я не намерен обсуждать этот маневр с ним, не говоря уже о тех, кто чинит паруса и сматывает канаты! А эти идиоты республиканцы хотят по каждому поводу устраивать голосование, вплоть до того, чтобы самим избирать офицеров на борту торгового судна. А знание морского дела и умение командовать не делают человека уважаемым и популярным...

Но если политическая карьера чему-то научила Жан Поля, так это умению убеждать. С помощью слов и денег ему удалось снарядить три отцовских корабля: два больших и бриг, который возмещал свой небольшой тоннаж быстрходностью.

Жан подкупал, запугивал, умолял, льстил и стыдил моряков, служивших ранее его отцу, уговаривая их подписать но-

вый контракт, и тем не менее суда вышли в плавание не с полностью укомплектованными командами, потому что он категорически отказывался принимать новичков и неотесанную деревенщину.

Как он и предполагал, склады были разгромлены; то, что воры не смогли утащить, они разломали. Но так или иначе, может, из уважения к его отцу, полагал Жан, громилы не сожгли их. Жан нашел мастеров, которые поставили на окна прочные железные решетки, слесарей, сменивших все разломанные и бесполезные замки. Теперь, когда его суда вернутся с товарами, у него будет где их разместить.

Он нанял некоего Жозефа Кокто, сурового и честного человека, и поставил его во главе дела с правом принимать и увольнять людей по своему усмотрению.

Теперь, размышлял Жан, все сделано и остается только ждать. Это ведь рискованное предприятие, и любая неудача может меня погубить: потеря судов, срыв закупки товаров на охваченных беспорядками Антиллах – все, что угодно. Но если я выиграю на этот раз, на ноги я стану прочно. Сейчас, как никогда, высока потребность в кофе, сахаре, роме. После одной такой морской экспедиции я смогу открыть фирму “Марен и сыновья” в Кале и делить свое время между Кале и Парижем... Ибо здесь ничего не осталось – ничего...

Он ехал верхом по дороге, ведущей к Сен-Жюлю и Вилле Марен, когда в голове теснились эти мысли. Через минуту за поворотом дороги он воочию убедился, насколько они спра-

ведливы.

Он спешился и зашагал к черным от пожара руинам. Стены остались целы, но за окнами виднелось только небо; полы и крыша рухнули, между останками бурно росли сорняки; его шаги спугнули множество летучих мышей.

Жан сжал кулаки. “Я могу отстроить все заново, – мрачно подумал он, – могу все восстановить, и дом будет как новенький...”

Этого нельзя сделать, и он это знал. Разумеется, практически это было возможно: дом был выстроен так прочно, что стены выдержали огонь и непогоду в течение этих долгих двух лет, но все равно дом уже не будет тем же. Обстановку можно заказать точно такую же, но как придать всему теплоту, с которой это собиралось, к чему с нежностью прикасались руки его святой матери, его сестры, отца? А многое вообще нельзя восстановить. Диковинки, привозимые моряками из дальних стран в подарок Анри Марену, вышивки, выполненные нежными пальчиками его матери, – все это пропало, сгнуло, стало призраками любви и мастерства, вложенными в них.

“Наверное, даже хорошо, что все это нельзя восстановить, – размышлял Жан, – потому что, если бы я вновь увидел все эти вещи, напоминающие мне юность, сомневаюсь, чтобы мне было легко вынести их присутствие...”

Он пошел прочь от почерневших стен, от груд мусора, шагая по еле различимой дорожке, заросшей кустами и сорны-

ми травами, сел на своего коня, но не стал возвращаться на постоянный двор в Марселе. Он поехал дальше, пока не добрался до других развалин, – до маленькой виллы, которая когда-то служила домом Николь и Жюльену Ламону.

Их дом пострадал еще больше, чем Вилла Марен. Осталась только часть одной стены, все вокруг заросло еще гуще, чем там. В утренней тишине слышно было щебетанье птиц, вылетающих из разбитых окон, и рука смерти словно всей тяжестью легла на сердце Жана.

Он спешил и подошел ближе к развалинам, хотя знал, что не найдет там ничего, ибо ничего не осталось. Он обошел остаток стены, и в эту минуту тишину нарушило блеяние козы. К стене была пристроена лачуга, и при звуке козьего блеяния какая-то женщина отодвинула занавеску и посмотрела на него старческими слезящимися глазами. Она выглядела такой древней, древнее самой смерти. Клоки седых волос спадали на ее худые плечи, на лице запечатлелись следы возраста и несчастий.

– Кто вы? – прокрипела она и на том же дыхании продолжила: – Убирайтесь, не то я спущу собак!

– Подождите, – вежливо сказал он, – я только хотел узнать что-нибудь о людях, живших в этом доме...

Он заметил, что выражение ее лица несколько смягчилось.

– Они были вашими друзьями? – требовательно спросила она.

– Мадам – да, а его светлость я не знал, – честно ответил Жан.

– Тогда я скажу вам, – сказала старая ведьма, – потому что моя хозяйка была ангелом...

– Вы правы, – пробормотал Жан. – Расскажите мне о ней.

– Она лежит вон там, – показала рукой старуха. – Хотите, покажу ее могилу?

Губы Жана шевелились, но он не мог произнести ни звука и только мрачно кивнул.

– Пойдемте со мной, молодой человек, – сказала старуха.

Они остановились около трех маленьких холмиков, почти смытых дождями, один был несколько длиннее остальных, на них не было ни надгробных камней, ни каких-либо иных знаков, – просто три холмика поросшей травой земли скрывали его мечты, его надежды, все, что оставалось у него в жизни.

Но он не хотел признавать этого. Что-то глубокое, упорное, не желающее сдаваться гнездилось в его сердце и протестовало.

– Вы видели, как их хоронили? – резко спросил он.

– Нет. Я пряталась. Иначе я бы знала что-нибудь о моей бедняжке Мари...

Жан покопался в своей памяти и восстановил картину. Пышечка Мари, горничная Николь, с румяным смеющимся личиком, с волосами того же оттенка, что и у всех Муатов. Ходили даже слухи, что между ними были более тесные от-

ношения, чем между хозяйкой и горничной.

– Ваша дочь? – спросил он. – Ее так и не нашли?

– А почему вы считаете, я живу среди этих развалин? – с дрожью в голосе спросила старуха. – Только в надежде, что она когда-нибудь вернется ко мне. Но, увы, она бежала... бежала далеко, испугавшись этих дьяволов!

– Значит, вы не видели, как их хоронили, – задумчиво произнес он. – Спасибо вам, добрая женщина.

Он сунул ей в руку золотую монету и пошел к своей лошади.

Через час он вернулся с тремя крепкими парнями, вооруженными ломом и лопатой. Он стоял рядом и смотрел, сердце его возмущалось этим святотатством, но он должен знать. Он слишком долго жил в неизвестности, он должен знать точно.

Наконец, с ужасом он заглянул в могилу. Там лежал скелет маленькой женщины, одетой в шелковое платье, фасон которого он тут же узнал, припомнил с мучительной ясностью, как и все, что вспоминал о Николь. Череп был рассечен каким-то тупым орудием, возможно, лопатой, но несколько бледно-золотых прядей остались и тихо мерцали под солнечными лучами.

Теперь он знал. Здесь не было ошибки и не оставалось надежды.

Он приказал могильщикам обернуть останки трупов в мягкую ткань. Он не уехал до тех пор, пока ему не изготови-

ли великолепный мраморный памятник и женщина и оба ее ребенка не обрели покой в цинковых гробах, предохраняющих от мороза и влаги.

По пути на север, в Париж, Жан Поля Марена не оставляло ощущение, что большую часть своего сердца он похоронил вместе с ними, она осталась лежать там, в могиле.

Посмотрев на себя в зеркало 24 марта 1792 года, Жан Поль Марен увидел совершенно незнакомого человека. Виски стали совершенно седыми, а снежно-белая волнистая прядь протянулась от висков поперек головы через макушку, поразительно контрастируя с основным массивом иссиня-черных волос. Лицо похудело, и как-то незаметно большой шрам смягчился, так что, когда Жан бывал спокоен, лицо его становилось непривычно кротким.

Но больше всего изменились глаза. Они остались темными, большими и мрачными, какими были всегда, но из них ушла какая-то часть горечи, насмешливости и осталось одно – умиротворение.

Вот что делает жизнь с человеком, подумал он, берясь за бритву и пробуя горячую воду, принесенную горничным лакеем. Жизнь никогда не дает человеку того, что он хочет, и очень редко то, на что он надеется, но с течением времени все в конце концов становится на свои места и человек учится принимать жизнь такой, какая она есть.

Несколько месяцев я мучился сознанием того, что Николь действительно мертва, но лучше знать, чем пребывать в неопределенности... Она мертва и покоится с миром, уйдя из этой жизни, слишком грубой для ангелов... а я остался один, чтобы вновь соединить разрозненные куски своей

жизни. Но я уже не бунтовщик. В молодости меня называли философом, но я им не был. Я был одним из сердитых молодых людей, исполненных жадной несправедливости, стремлением исправить мир, – каким чудачеством это кажется теперь. Ибо если есть неоспоримый факт в мироздании, так это тот, что мы не что иное, как игрушки в руках космоса и Бога, если Бог существует, которым до нас очень мало дела, если вообще есть дело...

Он взял бритву и начал соскребать седеющую щетину с подбородка.

Это все суета сует, насмешливо подумал он, полагать, что существует такая вещь, как справедливость. Когда умирает еще одно двуногое насекомое, какое значение имеет, заслужило ли оно эту свою участь или нет? И самое странное, что я теперь могу думать об этом без горечи, а с некоторой даже долей нежности, которая обнимает все жалкие жертвы обстоятельств, ползающие, подобно мне, по поверхности земли. В действительности они мои братья, которых я могу только любить и жалеть, а не ненавидеть, не становиться в позу судьи или палача, поскольку я не Господь Бог...

Я предавал и был предан, и лучше быть жертвой, ибо, страдая, человек сохраняет больше достоинства, чем в противном случае, причиняя страдания другим. Бегство Люсьены украло у меня то, без чего мне лучше, то, что в конце концов погубило бы меня окончательно. Что же осталось? Умиротворение, я думаю, приятие мира. Остался Жан Поль

Марен, личность, живой человек, который дышит, держится, сумел выжить, выстоять, ибо то, что приемлешь, не может разрушить. Считать, что люди воры, лжецы, мошенники, чудовища, обуреваемые ненавистью, лживостью и тщеславием, это только половина правды, полагать же, что те же люди в то же самое время хорошие люди или могут ими стать, если у них хватит на это сил, любить их, если можешь, жалеть их, если не можешь любить, и никогда их не ненавидеть, тогда, я думаю, если так смотреть на жизнь, останешься победителем в жизненной схватке...

Он взглянул из окна на прекрасную желтую карету, ожидающую его. Не потому ли, размышлял он, что я никогда не стремился к земным благам, я их не столь уж высоко ставлю? Теперь у меня шесть кораблей, курсирующих между Францией и Антильскими островами, фактории в Новом Орлеане и в Порт де Франс, и я зарабатываю за месяц больше, чем отец зарабатывал за год. Думаю, он гордился бы мной, но это дело его рук. Такую империю невозможно было бы создать за полгода, если бы не основа, заложенная им за двадцать лет. Это его имя, как по мановению волшебной палочки, открывает передо мной все двери...

Он закончил одеваться, и слуга принес ему кофе и бриоши. Он медленно выпил обжигающий черный напиток, не притронувшись, как всегда, к бриошам. Потом, поправив прическу и оглядев свой туалет, он стал спускаться по лестнице следом за слугой, с усилием несшим его багаж, к карете.

Вот он опять едет в Париж после стольких месяцев. Каким он стал? По существу, он не переменялся. Мои друзья-фельяны утратили власть. Поднялась новая группа – жирондисты, отколовшаяся фракция якобинского клуба, возглавляемая сыном кондитера Бриссо, оппозиционная Робеспьеру и прочим. Прекрасная драка между ворами...

Клавьер, в доме которого я обычно встречался с Мирабо, Клавьер, который изобрел ассигнаты и тем самым разрушил экономику Франции, сидит в правительстве вместе с этой новой личностью Роланом, о котором Пьер ничего не сообщал в своих письмах, кроме того, что у него потрясающая жена. В салоне этой молодой мадам Ролан бывают все, Пьер там частый гость, и вообще там бывают вне зависимости от политических взглядов.

Дантон – заместитель прокурора Парижа! Думаю, это очень опасно, когда он рядом с Петрионом в качестве мэра и Мануэлем в должности прокурора, – ни один из этих двоих не обладает силой, чтобы противостоять Дантону... Есть и другие перемены. И тем не менее жизнь идет своим чередом: гражданские споры и полицейские облавы, убийства и грабежи, а жизнь все-таки идет...

Там ждет его Флоретта. Вот это главная проблема, пункт, которого я так долго избегал. Люблю ли я ее? Не знаю, и, вероятно, не в этом дело. Способен ли я теперь любить? Может ли любить человек моего возраста, с моим жизненным опытом? Ее слепота – это ничто, даже меньше, чем ничто,

в действительности это даже преимущество, потому что мое изуродованное лицо не может беспокоить ее. Но остается сомнение, могу ли я дать ей всю ту доброту и терпение, в которых она нуждается, нежность и понимание...

Он смотрел из окна кареты на тополя, растущие вдоль дороги. Теперь уже скоро, скоро. А что такое любовь? Безумие, исступление, которое я испытывал с Люсьеной? Жар, иссушающий плоть, слияние тел, разрушительный экстаз? Это плотская любовь, в которой слишком много похоти, это замечательное искусство, смертельная борьба, но в ней чего-то всегда недостает... Чего? Нежности, веры, взаимного уважения...

Все дело в том, что в этой любви есть элемент предательства, потому что слезы, которые я лил, были не столь слезы об утрате, сколь о разрушенной цельности любви. Думаю, я плакал не столько о Люсьене, сколько об утрате последней, самой дорогой, самой лелеемой иллюзии – что это подлинная любовь и что любимого человека нельзя предать, каким бы сильным ни было искушение. Но любовь это только свойство человека, а человек недолговечен...

Странно. Я любил Люсьену больше, чем люблю Флоретту, и одновременно меньше. Видимо, я хочу заботиться о Флоретте, нежно любить ее. Люсьеной же я хотел только обладать...

Что же касается Николь, то это была совершенная любовь, теперь-то я это знаю, потому что этой любви не было време-

ни утратить все свое совершенство. Но когда-нибудь это все равно произошло бы. Жизнь притупляет все, в конце концов разрушает все, превращает твою юность в старость, твою силу в усталость, надежды в безнадежность, пока в итоге ты не ощущаешь себя готовым принять смерть, – мало того, приветствовать ее...

Так что жди меня, моя любовь, моя маленькая, потерянная в вечном мраке любовь, я еду к тебе. Я буду улыбаться, буду нежен, и, благодарение Богу, ты никогда не узнаешь, как мало осталось во мне живого чувства, чтобы испытать любовь или радость. Но то, что во мне осталось, это твое, принадлежит тебе. И это счастье, даже больше, чем счастье, ибо я хоть в какой-то мере искуплю то зло, которое причинил своей стране и своим соотечественникам...

В Париж он въехал в начале дня и прежде всего остановился у лавки ювелира. Там он купил два кольца; одно с большим бриллиантом для церемонии принесения клятвы верности при обручении, другое массивное, золотое для свадьбы. После этого сразу же поехал к ней на квартиру.

Ее там не оказалось, но она была, как обычно, напротив, у Марианны. Теперь они обе гораздо меньше времени уделяли фирме; дело разрослось настолько, что они были вынуждены перепоручить свои обязанности хорошо подготовленным помощникам, так что и они, и Пьер могли позволить себе больше отдыхать.

Марианне не было нужды объявлять о его приходе. Фло-

ретта, услышав его шаги, вскочила на ноги и бросилась ему навстречу с сияющим от радости лицом.

– Пойдем пройдемся, Флоретта, – сказал он, – хочу кое-что сказать тебе.

– А ты не можешь сказать это здесь? – выдохнула она. – У меня нет секретов от Марианны...

– Нет надобности говорить много слов, – улыбнулся Жан. – Дай мне твою руку...

Флоретта с удивленным лицом протянула ему руку.

– Не эту, – сказал Жан, – другую...

Она протянула левую руку, он надел кольцо ей на палец и сжал ее ладонь, так что ей понадобилось мгновение или два, чтобы освободить руку и дотронуться пальчиками до камня.

Флоретта медленно повернулась к Марианне и вытянула руку. Свет упал на большой драгоценный камень, и он за сверкал. Марианна смотрела на кольцо в ошеломлении, и две большие слезы выкатились у нее из глаз.

– В чем дело? – удивленно воскликнул Жан.

– Поцелуй ее, дурак! – выкрикнула Марианна. – Какого дьявола ты ждешь?

Флоретта привстала на цыпочки и коснулась губами его губ. Это прикосновение было таким воздушным и мимолетным, что он даже не ощутил ее поцелуя, а в следующий миг она оказалась в объятиях Марианны, и они обе разрыдались так, словно у них разбиты сердца.

– Что я такое сделал? – недоумевал Жан. – У меня не было

никаких намерений...

– Да заткнись ты, Жан Марен! – всхлипнула Марианна. – Неужели не знаешь, что женщины плачут от счастья?

– Помилуй Бог! – вырвалось у Жана, и он шагнул к двери, но в этот момент из другой комнаты вышел Пьер. Он вынул трубку изо рта и уставился на свою жену и Флоретту.

– Что ты им сделал? – закричал он на Жана.

– Страшно оскорбил их, – ухмыльнулся Жан. – Попросил Флоретту выйти за меня замуж, только и всего.

– *Sacre blue!* – воскликнул Пьер и заключил Жана в свои медвежьи объятия. – Такое дело требует вина, – много вина, всего благословенного вина, какое только есть в этом благословенном мире!

Он исчез, но уже через мгновение вновь появился с графином и бокалами.

– Пейте, мои малышки! – кричал он. – *Morbleu*, как долго я ждал этого дня!

– Когда это произойдет, Жан? – спросила Марианна.

– Как можно скорее... завтра, если я сумею все подготовить...

– Ни в коем случае! – завопила Марианна. – Как ты думаешь, могу ли я к завтрашнему дню сшить подвенечное платье? Оно должно быть из самого лучшего, самого тяжелого белого шелка, какой ты когда-либо видел. У меня в мастерской как раз есть такой материал с маленькими жемчужинками по всему платью. Что же до вуали... завтра, ха, ха! Жан

Марен, ты сможешь обвенчаться только через две недели... нет, через три. Так что я начала говорить про вуаль?

Жан стоял и смотрел на обеих женщин в полном остолбении. Пьер подошел и взял его за руку.

– Пойдем прогуляемся, – смеясь, сказал он. – Мы с тобой сейчас здесь совершенно лишние. И так будет еще некоторое время. Пойдем...

Жан подошел к Флоретте и быстро ее поцеловал.

– Флоретта... – начал он.

– Дорогой, пойди погулять с Пьером, – засмеялась она. – У нас с Марианной сейчас тысячи дел...

– Я думал, – хмыкнул Пьер, когда они спускались по лестнице, – ты человек опытный, а оказывается, ты ничего не знаешь о женщинах. Во всяком случае, порядочных женщинах, на которых женятся...

– Начинаю думать, что ты прав, – печально отозвался Жан.

– Конечно, прав. Пойдем в кафе Шарпантье и выпьем по стаканчику, а по дороге можем поговорить. Дело в том, что твой опыт был односторонним, – с любовницами, а не с женами.

– А есть разница? – спросил Жан. – Помимо официального оформления я не вижу...

– Есть разница. Жена и любовница – это две совершенно разных породы. Быть женой – это душевное состояние. Я предвижу твое возражение, что одна и та же женщина может

быть женой одного мужчины и любовницей другого, и все равно так оно и есть...

– Не вижу...

– Ты никогда не видел! Замолчи и слушай. За этот урок я возьму с тебя деньгами. Прежде всего муж всегда только приложение к действию, вне зависимости от того, как бы сильно ни любила его жена; он делает возможным колоссальный спектакль, в котором его невеста выступает героиней: великолепная, замечательная церемония бракосочетания, когда она может надеть белое с дымкой платье, стать на час, на день королевой, а потом муж обеспечивает еще более изумительный спектакль рождения ребенка, материнства... Поверь мне, старина, если бы женщины могли в этих делах обойтись без хлопотного присутствия мужчин, они бы так и поступали. Мы, мой друг, только средство для достижения цели, а никогда не сама цель.

– А потом? – улыбнулся Жан.

– Потом мы добываем деньги, необходимые для содержания дома, даем возможность нашим женам играть с живыми куклами, созданными их воображением, замечательным подарком их тщеславию, позволяющим им говорить: “Смотри, кого я родила! Смотри, ради этого ребенка я перенесла агонию, граничащую со смертью, а ты, грубиян? Час наслаждения – и никаких мучений!” Воистину, Жан, я верю, Господь Бог создал жен для того, чтобы научить мужчин смирению!

Жан громко рассмеялся.

– Сядем за этот столик? – спросил он. – Отлично! А чем отличаются любовницы?

– Очень многим, – сказал Пьер, делая знак гарсону принести вина. – Прежде всего любовницы глупы...

– Вряд ли это так, – возразил Жан, подумав о Люсьене.

– Да, да, – настаивал Пьер, – даже если любовник человек богатый, осыпаящий ее подарками. Она в любой день может оказаться на мели, когда ему придет в голову сменить свою привязанность; ее дети, будучи незаконнорожденными, не могут ничего унаследовать; она должна раболепствовать и льстить, чтобы удерживать его при себе. Представь себе Марианну, которая раболепствует передо мной! Да она для этого использует сковородки с тяжелой ручкой! И тем не менее она любит меня, я думаю. Просто она знает – это вековая мудрость женщин, мудрость, не имеющая ничего общего с логикой или разумом, – что мужчины – это несмышленные дети, которым никогда нельзя доверять. И она права...

– Однако ты, – улыбнулся Жан, потягивая вино, – не очень высокого мнения о мужском поле, не так ли?

– О, да. Просто мужчины и женщины дополняют друг друга – или должны дополнять. Женщины – существа более примитивные, более зависимые от своих инстинктов, и поэтому они ближе к истине. Мужчины же – по крайней мере, они так думают – более логичны, разумны, объективны. Исходя из этого, они пытаются построить государство, а получается у них возмутительная чепуха! Человечество, Жан Поль,

никогда не руководствовалось разумом или логикой, а только эмоциями и предрассудками. В любой большой группе людей что-либо простое, ясное, логичное, объективное не срабатывает. Надо прибегать к идолам, колдовству, пышным представлениям, песнопениям, фейерверкам, к драматическим представлениям. Даже если ты убежден, что данная мера хороша и разумна, ты вынужден прибегать ко всем этим фокусам, чтобы внушить это людям. Даже твои политики поняли это. Вспомни Праздник Федерации, праздники по тому поводу, по этому, – с фонарями, красными колпаками, статуями свободы, деревьями свободы, пока Жан Простак не убедится, что он свободен, хотя в действительности его свобода сводится к свободе бунтовать, грабить, напиваться и голодать!

– Старый циник! – усмехнулся Жан.

– Нет, это не цинизм, Жан, это реализм, который является подлинным основанием счастья, поскольку он исключает разочарование.

Они долго сидели так, разговаривая. Пьер посвятил Жана в политическую ситуацию последнего времени. Он описал террор, благодаря которому якобинцы захватили власть в полном несоответствии со своей численностью.

– Если бы не раскол в их рядах, они, упаси нас Бог, правили бы сейчас Францией. Но они расколоты. Теперь наиболее умеренные из них, которых называют бриссотинцами по имени их лидера, а чаще жирондистами, потому что их глав-

ные ораторы Верньо, Гадэ и Жансонье – все из Жиронды. Инсор, Кондорсе, Фоше и Валезе сидят вместе с ними, но всеми ими управляют со стороны.

– Со стороны? – спросил Жан.

– Да, Жан, сегодня Францией управляет женщина. Мадам Ролан, чей старый и педантичный муж занимает пост министра внутренних дел, стоит только приподнять бровь, и мир приходит в движение. Ты должен встретиться с ней, она невероятно хороша собой. Наш старый друг Сейес думает, что она находится под его влиянием и он управляет ею, а на самом деле все наоборот. Дюмурье влюблен в нее, Барбару влюблен в нее, Бюзо тоже, и, думаю, она ему отвечает тем же. После твоей женитьбы я представлю тебя. В ее салоне ты встретишь всех: от крайне левых, таких, как Робеспьер, до крайне правых, как Барнав и Дюпон де Немюр...

– А ее влияние сказывается благотворно или, скорее, наоборот?

– Боюсь, скорее наоборот. Она ненавидит королеву с такой силой, на какую способна только женщина. Похоже, до революции королева отказала Ролану в какой-то мелкой награде или в титуле, и Манон Ролан никогда не простит ей этого. Вся Жиронда выступает за войну как за повод уничтожить королевскую власть. И они добьются своего, я уверен. Когда мадам Ролан пускает в ход свои ухищрения и чары, дни трона сочтены!

– Но война! – прошептал Жан. – Они что же, действитель-

но думают, что мы можем воевать против всей Европы? При нашей-то неподготовленности – все опытные офицеры бежали, дисциплина в армии развалена... а они думают воевать?

Пьер с грустью посмотрел на своего друга.

– Да, – сказал он, – но тогда они безумцы, запомни это...

Когда дело дошло до такого частного акта, как женитьба, Жан Поль узнал, насколько осложнилась жизнь с началом революции. Прежде всего брак стал гражданским контрактом, хотя закон и не был разработан. Теперь Жану требовалось получить разрешение от муниципальных властей. Те же настаивали, не без оснований, чтобы эту церемонию проводил их представитель.

– Никогда не знаешь, Марен, какие последствия в жизни человека может иметь даже малейшая ошибка в наше время. Будь хорошим мальчиком и соглашайся на гражданскую церемонию. А потом, если захочешь, можешь спокойно отправляться к священнику.

Пьер одобрил такой план развития событий, рассматривая его как вынужденное обстоятельством проявление мудрости, но глубоко религиозная Флоретта со слезами на глазах обрушилась на Жана. Пришлось убеждать ее Марианне.

– Ты любишь Жана? – требовала ответа Марианна. – Тогда почему же ты готова рисковать его жизнью, подвергая сомнению законность гражданского брака? Людей объявля-

ли предателями и за меньшие проступки. Таков закон, вот и подчиняйся ему. А потом священник сделает все как надо...

Так и сделали, но после церемонии, на которую Флоретта упрямо отказалась надеть подвенечное платье, она вернулась в свою комнату.

– Я не замужем за тобой, Жан, – сказала она без всякого выражения. – Когда мы дадим клятву перед священником, я стану твоей женой, но не раньше!

Жан вздохнул. Он оказался в затруднительном положении и знал это. В годы своей мятежной юности он участвовал в войне против церкви, в той войне, которая лишила церковь во Франции всех ее владений, расколола церковнослужителей на два лагеря: на тех, кто согласился отвергнуть власть папы и принес присягу нации как власти, стоящей выше церкви, и на тех, кто отказался от такой присяги. Для каждого верующего католика священник, принявший такую присягу, становился еретиком и общаться с ним было нельзя. Даже король предпочел скорее подвергнуть риску свою жизнь, чем пойти в этом вопросе на компромисс; он упорно накладывал вето на все меры, направленные против неприсягнувших священников, как называли тех священников, которые оставались верны ортодоксальным принципам.

– И вот теперь, – вздыхал Жан, разговаривая с Пьером, – я пожинаю плоды собственной глупости! Где я найду неприсягнувшего священника? А если даже найду, не окажется ли такой брак политически вне закона, не подвергнет ли опас-

ности наше будущее и будущее наших детей, если они у нас будут?

– Флоретта не будет считать ваш брак законным, если ты этого не сделаешь, – ухмыльнулся Пьер. – Не беспокойся, старина, я что-нибудь придумаю...

Пьер действительно сотворил чудо. Ранним утром 14 апреля желтая карета Жана тихо выехала из Парижа. Ни Жан, ни Флоретта не были в подвенечном платье. Оно лежало в саквояжах, привязанных к крыше кареты. Перед церемонией они переоденутся, а потом, перед возвращением в Париж, вновь сменят одежду.

По дороге в Фонтенбло Пьер рассказал, как ему удалось все устроить. Путем невероятно сложных маневров он сумел получить аудиенцию у короля и королевы, которые после своей жалкой попытки бежать из Франции стали пленниками в старинном дворце Тюильри. История, которую он поведал Их Величествам, была рассчитана на то, чтобы завоевать их симпатии. Людовик готов был немедленно оказать помощь любому человеку, который захочет, чтобы его обвенчал неприсягнувший священник, а когда Пьер напомнил королеве о ее встрече с Жаном Полем, она улыбнулась и сказала:

– Конечно, я помню нашего друга – очаровательного мужчину с невероятно изуродованным лицом. Нам доставит удовольствие помочь ему...

Мария Антуанетта подошла к секретеру и написала соб-

ственноручную записку своему духовному отцу в Фонтебло, запечатав ее королевской печатью. Теперь все было готово, священник ожидал их в маленькой часовне королевы.

Когда Флоретта, прогуливаясь с Пьером, появилась с огромным побегом лилии в руке, казалось, вся радость мира сосредоточилась в ее маленьком лице, – такой от него исходил свет. Жан глубоко вздохнул.

“Никто в целом свете, – подумал он, – никогда не выглядел так прекрасно!”

Ее мягкие волосы казались полуночной мглой под пред-
рассветным туманом ее вуали; на ней было кремовое платье – желто-белое, – и как капельки молока светились на нем крошечные жемчужины. Но самой прелестной была ее улыбка, – столько в ней было умиротворения, ясного спокойствия и тихой радости...

Жан ощутил некое подобие ужаса, заполняющего его сердце.

“Святой Боже, – молился он, – сделай так, чтобы я заслужил это! Сделай меня таким, чтобы я принес ей радость, счастье, покой, для которых она предназначена. Благодарю тебя, отец наш, за это чудо, которое ты даруешь мне...”

Всю процедуру Марианна проплакала, ее всхлипывания пунктиром отмечали величественные латинские фразы, которые произносил старый священник. Когда все было конечно и Жан Поль поцеловал свою Флоретту, обняв ее так бережно, как это бывает только когда обнимаешь бесконечно

хрупкое и любимое существо, коснувшись ее губ, столь нежно, будто более материальное прикосновение могло оставить на них следы ушибов, священник шагнул к ним, держа в руке маленькую коробочку.

– От Ее Величества, – улыбнулся он, – она собственноручно вышила это для новобрачной.

Там лежал кружевной носовой платочек, очень красиво вышитый. На карточке было написано:

“Большого счастья вам, дорогая. Мария Антуанетта, королева”.

Когда Флоретте сказали о подарке королевы, слезы потекли по ее лицу, а Марианна зарыдала так, что вынуждена была выбежать из часовни.

Обед, заказанный Пьером в лучшей гостинице Фонтбло, оказался великолепен, но должное ему отдал он один; Жан сидел тихо, держа Флоретту за руку; Марианна хлопотала над ними, как клуша над цыплятами, и ела так же мало, как и они.

– А теперь, – сказал Пьер, когда они закончили обедать, – у меня есть сюрприз для всех вас.

Он проводил их к экипажу, и кучер погнал лошадей в Париж. Они добрались туда, когда уже начинало смеркаться, хотя все вокруг еще можно было разглядеть. Кучер переехал через Новый мост, они оказались в квартале Сен-Жермен-де-Пре, и можно было подумать, что уже несколько часов подряд они едут по кривым улочкам, пока наконец эки-

паж не остановился перед каким-то домом.

Слуга открыл маленькую калитку в высокой стене, и они прошли в сад, засаженный цветами, запах которых остро ощущался в теплом апрельском воздухе. Раньше этот дом был владением некоего герцога, роскошный, с высокими окнами, ловившими последние лучи вечернего солнца.

Слуги, встретившие их в холле, кланялись, мажордом взял у них шляпы, перчатки, трости.

– Великолепно! – вздохнул Пьер. А Жан почувствовал, как маленькая рука Флоретты тянет его за рукав.

– Расскажи мне, Жан, – прошептала она, – как он выглядит, наш новый дом?

А Жан Поль стоял, не в силах вымолвить ни слова, понимая, сколь мало значит все это великолепие в глазах той, которая не может его увидеть.

Рано утром, когда еще не рассвело, его разбудило легкое прикосновение ее пальчиков, блуждающих по его лицу. Он мгновенно проснулся и крепко схватил ее за руку.

– Позволь мне, Жан, – прошептала она. – Твое предубеждение насчет твоего лица – просто большая глупость. Ты теперь мой муж, и я имею право знать, как ты выглядишь...

Он медленно отпустил ее руку и лежал спокойно, пока она исследовала линии его лица, шепча:

– Мой Жан, это всего лишь шрам! И ты так долго скрывал

это от меня? Шрамы – это не уродство, уродство исходит изнутри, из сердца. А я думаю, ты красивый, красивый, как Бог, – такой же высокий и сильный...

Ее руки скользили по его телу, легкие, как дыхание, без вызова или влечения, с простым детским любопытством.

– Вот каков, оказывается, мужчина, – бормотала она про себя, – вот каков мой мужчина – такой прекрасный и сильный, так замечательно сложенный... О, Жан, Жан, как я хотела бы тебя увидеть!

Он не двинулся и не произнес ни слова. Лежал, сдерживая где-то в глубине дыхание, боясь разрушить очарование этого момента.

Она прижалась к нему.

– Поцелуй меня, Жан, – прошептала она, – поцелуй меня так, как ты любишь меня, как женщину, Жан, а не как хрупкую куклу. Я не сломаюсь, ничего у меня не сломается, кроме моего сердца, если ты дальше будешь держать меня на расстоянии вытянутой руки... Я знаю почему. Думаешь, я слабая, ничего не знаю о жизни, и ты прав, но только отчасти. Я не опытна, но с той любовью, какую я испытываю к тебе, я больше не могу оставаться такой, Жан. Жан, я вышла за тебя замуж, чтобы стать твоей женой, а не слепой и беспомощной куклой, требующей ухода!

Она заплакала, и он прижал ее к себе, стирая поцелуями соленые слезы с ее щек. Постепенно она начала успокаиваться.

– Учи меня, Жан, – сказала она.

– Мне сказали, я найду вас здесь, – произнес Ренуар Жерад, – но, признаюсь, я не был подготовлен к такому великолепию. Начинаю даже думать, не лишает ли смысла мой визит...

– Тем не менее, – улыбнулся Жан, – искренне благодарен поводу, которому обязан честью вашего визита. А уж если говорить о великолепии, то ваша форменная одежда не дает вам права насмехаться над... Может, выпьете кофе?

– С удовольствием. Я на ногах с самого рассветами чашка-другая будет очень кстати. Я уже не так молод, как был когда-то, вы знаете...

Жан дернул за шнур колокольчика.

– Есть ли какая-то связь, – спросил он, – между вашей военной формой и целью вашего визита ко мне?

– Разумеется. Не буду тратить времени зря, Жан. После того как все наши планы рухнули, я стал искать, чем бы заняться. Всю жизнь я был солдатом: или в военной разведке, или на действительной службе. Та команда, охранявшая казначейников, где мы познакомились, была самым низким моим падением...

– Кофе, Жанна, – сказал Жан горничной, – и посмотрите, проснулась ли мадам. Если да, отнесите ей тоже чашку, – an

lait⁶³, конечно. А месье и мне черный. Так на чем мы остановились, Ренуар?

– Я говорил о том, что пытался найти такую сферу, в которой я что-то знаю. К счастью, я накопил немного денег; генерал Лафайет предложил мне командование Национальной гвардией...

– Но на вас форма не гвардии, – заметил Жан.

– Да. Это форма новой Национальной армии. Группа почетных буржуа занялась призывом добровольцев. Когда они предложили мне принять командование, я ухватился за этот шанс. Мне нужен заместитель командира, вот почему я здесь...

– Но я ничего не смыслю в военной тактике, – возразил Жан.

– Это-то и хорошо. Вам не нужно переучиваться. Чтобы разбить австрийцев, мы должны воевать по-новому. Это будет война молниеносных передвижений: сегодня сильный удар в одном месте, завтра совсем в другом секторе, где его никто не ожидает. Не хочу иметь заместителя, который будет доназывать мне необходимость массовых фронтальных атак и передвижения войск по канонам классической военной науки. Тому, что нужно, я обучу вас...

– Значит, война, – вздохнул Жан. – Мог ли кто-нибудь подумать, что эти безумцы настолько безумны, чтобы объявить войну? Давайте поглядим. Сегодня двадцать пятое апреля,

⁶³ С молоком (фр.)

мы уже пять дней в состоянии войны. Признаюсь, я ожидал в любой день увидеть, как австрийцы входят в Париж...

Жерад стукнул кулаком по столу.

– Не будь глупцом! – выкрикнул он. – Мы разобьем их. Немецкое мышление самое косное в мире. У нас есть ум, мы по натуре импровизаторы и, видит Бог, у нас нет недостатка в мужестве...

– И все-таки, – вздохнул Жан, – хотя ваше предложение и интересует меня, есть другие обстоятельства.

– Ваша фирма? Жан Марен, что останется от вашего предприятия, если мы проиграем войну? Подумай, человек! Ты будешь сражаться не за якобинский клуб, а за Францию, а для тебя в этом вопросе существует разница.

– Существует, – отозвался Жан, – и все-таки...

Но в этот момент они оба услышали шаги домашних туфель Флоретты по лестнице.

Она сразу направилась к креслу, где сидел Жан, и обняла его за шею. Жан поражался, как быстро она научилась свободно ориентироваться в доме, не натываясь на мебель или на стены.

– Прости меня, любимый, – сказала она, – но мое женское любопытство сильнее меня. Я услышала ваш оживленный разговор...

Ренуар Жерад уже встал.

– Капитан Жерад, – сказал Жан, – позвольте представить вам мою жену. Флоретта, мой давний друг капитан Ренуар

Жерад.

Жерад сделал шаг и протянул ей руку.

– Вы должны что-нибудь сказать, господин капитан, – с достоинством произнесла Флоретта, – чтобы я нашла вас. Видите ли, я совершенно слепая...

Жан заметил выражение жалости, мелькнувшее в глазах Жерада.

– Я, – произнес он своим хриплым голосом старого солдата, – бесконечно рад знакомству с вами, мадам...

Он склонился в поклоне и поцеловал ее маленькую ручку.

– Садитесь, капитан Жерад, – сказала Флоретта. – Для нашего дома это большая честь...

– Примите мои поздравления, Жан, – обратился к нему Ренуар Жерад. – Думаю, это самое мудрое, что вы сделали. Что касается дела, которое мы обсуждали, считайте его закрытым. Сейчас я увидел самую убедительную из всех причин, почему вы не должны даже думать об...

Он вновь обернулся к Флоретте и взял ее за руку.

– Простите мне, мадам Марен, – сказал он, – мой краткий визит. Но время солдата не принадлежит ему, особенно теперь, ведь вы понимаете. Наверное, настанет день, когда я доставлю себе огромное удовольствие посвятить своим друзьям больше времени, но это произойдет не раньше чем будут разбиты враги нашей страны...

– Внешние или внутренние, капитан Жерад? – спросила Флоретта.

– Надеюсь, и те и другие, – улыбнулся Ренуар Жерад. – У вас острый ум, мадам. До свидания, для меня была большая честь познакомиться с вами. До свидания, Жан.

– Я провожу вас до дверей, – сказал Жан. – Флоретта извинит нас. Так ведь, дорогая?

– Только в том случае, если ты не будешь отсутствовать слишком долго, мой Жан. Я ужасно ревнивая женщина, капитан Жерад.

– Вам совершенно нечего опасаться... – отозвался Жерад.

– Я должен встретиться с вами, Ренуар, – сказал Жан, – прежде чем вы покинете Париж. Есть многое, о чем я хотел бы потолковать с вами...

– Это не составит труда. Пока враг не продемонстрирует больше сил, чем он это делал до сих пор, я вряд ли уеду из Парижа. Во всяком случае, до того момента, когда будет закончена мобилизация, а это, вероятно, произойдет не раньше середины июля. Если же хотите поговорить, почему бы вам не пойти со мной сегодня днем посмотреть казнь? Меня чрезвычайно интересует...

– Я, – ровным голосом отозвался Жан, – ненавижу убийство, в какой бы форме оно ни совершалось. Какая разница для жертвы, используют ли меч, топор или это новое дьявольское изобретение доктора Гийотена? Бедняги все равно лишаются головы.

– Но на этот раз совершенно безболезненно. Так во всяком случае утверждает добрый доктор. Меня это привлекает.

Если эта штука работает, то двадцать пятое апреля 1792 года станет историческим днем – впервые в человеческой истории наказание окажется в разводе с жестокостью...

– Если она работает, – сухо заметил Жан. – Не забудьте, раньше ее не опробовали. Кроме того, боль явление не только физическое. Думаю, само сознание того, что в следующую секунду ты умрешь – когда тебя выводят из камеры, провожают на помост с этой новой дьявольской машиной и ты видишь, что все готово для того, чтобы навеки пресечь все твои мечты, надежды, даже простейшую радость сидеть на солнышке – разве это не утонченная жестокость? Нет, благодарю, они могут испытывать эту машину столь гуманного доктора Гийотена без меня!

– Alors, вы правы, как обычно, – вздохнул Жерад, – но я вспомнил еще кое-что: мадам Ролан, жена министра внутренних дел, поставила передо мной задачу привести вас на ее следующий большой прием в первую пятницу мая. Я не знал тогда, что вы женились, но уверен, что Манон Ролан будет очарована вашей Флореттой. Естественно, я буду там, я никогда не пропускаю приемов у Манон...

– Значит, – улыбнулся Жан, – прекрасная мадам Ролан пленила даже вас, Ренуар? Каково вам водить компанию с Робеспьером, Дантоном, Демуленом, Петионом и – как мне говорили – даже с Маратом?

– Они всего лишь шумные люди в толпе, – ответил Жерад, – у Роланов собираются все оттенки политических те-

чений, и Манон, слава Богу, умеет устанавливать мир между ними. Думаю, она симпатизирует крайне левым, но она так дьявольски умна, что никогда нельзя быть уверенным, А у меня есть причина просить вас принять это приглашение: Манон Ролан пользуется огромным влиянием на молодых политиков, которые все влюблены в нее, и на стариков, вроде Сиейеса, которые ее уважают. И в ее влиянии, столь значительном, есть опасный женский изъян: она ненавидит королеву совершенно безграничной ненавистью. Это было бы не так существенно, если бы Манон Ролан не обладала влиянием, но она им обладает...

– Мне говорили, – заметил Жан, – она самая влиятельная фигура во Франции.

– Едва ли это преувеличение. Мужчины, окружающие ее, всего лишь марионетки, пляшущие на ниточках, которые она дергает, а она знает, как заставить их танцевать! Ее старый педант-муж обожает ее, и его мучает ревность к молодым людям вокруг нее, особенно к Барбару, хотя он ошибается, ибо ее глаза останавливаются на Леонаре Бюзо... *Ma foi!*⁶⁴ Каким же старым сплетником я стал! О чем бишь я?

– Полагаю, – сказал Жан, – вы хотите, чтобы я убедил мадам Ролан не нападать беспрестанно на королевскую семью с помощью ее политических прихвостней. Ради этого, думаю, вы и устроили мне приглашение на ее знаменитые приемы...

– Это не я, – поклялся Жерад. – Я только подумал, что из

⁶⁴ Право же! (фр.)

этого можно извлечь кое-какую выгоду, как она сама попросила меня. У вас, Жан Марен, есть имя в Париже, но даже если бы вы и не были популярны, ваша внешность, манеры, ваше богатство и этот ваш романтический шрам не позволили бы вам долго оставаться в неизвестности...

– Благодарю вас, – рассмеялся Жан. – Передайте мадам Ролан, что я с удовольствием принимаю приглашение, но только если оно распространяется и на мою жену. Выясните это и дайте мне знать.

– Обязательно, – сказал Жан и протянул ему руку: – До свидания, Жан.

Флоретта все еще была в маленькой гостиной, когда вернулся Жан. Она сидела нахмурившись. “Мой маленький ангел, – с тайным удовлетворением подумал Жан, – обладает характером”.

– Почему ты так задержался, Жан Марен? – выпалила она. – Мне не нравится этот человек со своим грубым и честным голосом. Думаю, он обманщик и разрабатывает какой-то план, чтобы увести тебя от меня!

– Как ты изменилась! До женитьбы ты никогда не повышала голос громче шепота, а теперь! Сколько потребуется времени, чтобы ты начала швырять в меня чем-нибудь, как Марианна?

– Не так много, – отозвалась Флоретта, – если все эти вульгарные люди из твоего прошлого будут появляться здесь. Это я тебе обещаю, Жан Марен...

– Уже второй раз, – с шутливой суровостью сказал Жан, – ты называешь меня Жаном Мареном и примерно с одним и тем же выражением. Это будет стоить тебе штрафа... – И он без лишних слов обнял ее и крепко поцеловал.

Какое-то мгновение она оставалась в его руках напряженной, потом расслабилась, и ее губы прильнули к его губам. Она подняла руки и запустила их в его черные волосы.

– Прости, любимый, – прошептала она, – это все потому, что я иногда так боюсь... Я помню попрошайку, какой я была, когда ты меня подобрал, и когда я ее вспоминаю, мне кажется таким невероятным, что ты полюбил меня. Ты должен быть терпелив со мной, Жан, – мне еще так многому надо учиться...

– Мне тоже, – вздохнул Жан, – но мы будем учиться вместе. Что же касается Ренуара, то он рисковал жизнью, позволив мне бежать из арестантского лагеря, где он был комендантом. Он остается моим верным другом и восхищается тобой. Он получил для нас приглашение посетить знаменитую мадам Ролан...

– О, Жан, я не могу! – начала причитать Флоретта. – Я не буду знать, что говорить, что делать! Я даже не уверена, что правильно все говорю, и я могу опрокинуть какие-нибудь вещи...

– Ты войдешь, – серьезно сказал Жан, – под руку со мной. Уверяю тебя, я не буду толкать тебя на столы и вазы. Говоришь ты прекрасно, и ты необыкновенно красива, – сейчас

гораздо больше, чем раньше. И это все благодаря мне...

– Хвастун! – рассмеялась Флоретта и еще раз поцеловала его. – Но думаю, что это правда. Если счастье делает женщину прекрасной, тогда я самая прекрасная женщина в мире!

– Так оно и есть, – сказал Жан.

Через несколько дней, в первую неделю мая, когда известие о поражении 29 апреля дошло до Парижа, Жан задумался о том, что бывают времена, когда никто не может располагать своей жизнью. “Выбор, который маячил передо мной, был прост, но теперь его просто нет. Париж стал невыносим, даже оставаться здесь означает молчаливое согласие со всей этой мерзостью... И теперь, когда Ренуар предложил мне почетный путь бегства из этого города, я не могу воспользоваться им из-за Флоретты. Отправиться на войну, сражаться, защищая страну, на это нужно некоторое мужество, а таким мужеством я обладаю...”

Я не могу перенести другого: знать, что они замышляют новые убийства, новые беспорядки, новые оскорбления в адрес этого несчастного безобидного идиота, носящего корону, знать, что они никогда не успокоятся, пока не осуществят свое самое сокровенное желание – убить его и особенно королеву... Святой Боже, нет опьянения хуже, чем опьянение властью! Ничто их не трогает, ничто не может остановить их. Они ввергли нас в войну совершенно неподготовленны-

ми финансовыми банкротами, наши самые опытные офицеры бежали, наши солдаты – это вооруженные каналы, они готовы пожертвовать страной ради своих безумных мечтаний, сумасшедших амбиций...”

Флоретта подошла сзади к его креслу, положила руки ему на плечи, прислушиваясь к крикам продавцов газет, доносящихся с улицы.

– О чем они кричат, Жан? – спросила она.

– Дийон и Брион, – ответил Жан, – два заместителя генерала Рошамбо, несколько дней назад столкнулись с врагом около Турнэ и Монса. Их войска побросали оружие и снаряжение и бежали, как овцы. Дийон пытался остановить своих солдат, так они убили его. Австрийцы перешли границу и взяли Кюврейн...

– Это серьезно, – сказала Флоретта. – Жан...

– Что, любовь моя?

– Тот капитан именно поэтому был здесь? Чтобы ты пошел в армию, я имею в виду?

– Да, Флоретта, – ответил Жан.

– И почему ты не согласился? Из-за меня?

– Да.

Она медленно обошла вокруг кресла и остановилась перед ним.

– Скажи мне одну вещь, мой муж, – произнесла она. – Как твоя жена, я имею право это знать. Как повлияет война на твое предприятие?

– Если высадутся англичане, а почти все в этом уверены, мое дело погибнет. Насколько низок боевой дух в армии, но на флоте он еще хуже. Мы не можем противостоять британскому флоту. Французское торговое судоходство будет за полгода изгнано с морей. Я купил дома и в других городах. в Марселе, Кале, Тулоне, Бордо – главным образом, потому, что не хотел сосредоточивать весь свой капитал в одном месте, где он будет беззащитен вследствие безумных решений политиков и действий погромщиков.

– Значит, это не дела, а лишь я одна удерживаю тебя от вступления в армию?

– Да, любимая, – улыбнулся Жан. – Я считаю, что ты самая веская из всех возможных причин.

– Знаю, ты не боишься, – медленно произнесла Флоретта. – Ты храбрее льва. Послушай, сердце мое, – помнишь, какой упрямой и неуступчивой я была в этой истории со священниками и бракосочетанием? Так вот, у меня есть и другая вера, почти такая же крепкая – это вера во Францию. Я умру от ужаса и одиночества, если ты покинешь меня, но, думаю, буду ненавидеть тебя и себя, если ты не вступишь в армию...

– Флоретта... – начал Жан.

– Выслушай меня. Не сейчас, ведь стране еще не угрожает серьезная опасность, несмотря на все крики газетчиков. Полагаю, те люди играют только второстепенную роль, значит, они командовали в лучшем случае несколькими сотнями

солдат. Это небольшое сражение, продавцы газет преувеличивают, раздувают, как всегда. Но если положение станет серьезным, если Франции действительно будет угрожать опасность, я буду презирать мужчину, который поставит свое дело, свою личную безопасность, даже свою любовь к жене выше интересов родины...

Мы наделали много дурного во Франции, но идеи, за которые ты боролся, были хорошие; не ты и не твои друзья испоганили их. Только сейчас, здесь, во Франции, у простого человека есть шанс – здесь и, наверное, в Америке. Австрийцы и пруссаки хотят перевести стрелки часов назад. А мир перерос королей...

Жан изумленно смотрел на нее. Он всегда знал, что она умна, но сейчас ее проницательность поразила его.

– Ты удивительная женщина! – прошептал он. – Думаю, эта мадам Ролан найдет в тебе ровню...

– Мы едем к ней сегодня? – спросила Флоретта. – Я этому рада, больше я не боюсь. Никто не рискнет презирать твою жену, хоть она и слепая...

– Никому это и в голову никогда не придет, – сказал Жан. – Самое печальное в твоей слепоте то, что ты не можешь увидеть, как ты прелестна...

– Благодарю, мой господин! – засмеялась Флоретта и поцеловала его. – Только, пожалуйста, Жан, если почувствуешь, что должен идти на войну, отправляйся. Господь Бог, который благословил меня, даровав твою любовь, никогда не

будет так недобр, чтобы отнять тебя у меня. Ты вернешься с почетом, и мы будем жить в новой Франции, где все будут ценить твое благородство и уважать тебя, как уважаю тебя я...

– Если возникнет необходимость, – медленно произнес Жан, – я отправлюсь, любимая. Рад, что ты высказала мне все это, – ты сняла тяжесть с моей души. Но я не так окрылен надеждами, как ты. Думаю, мы состаримся, а возможно, и умрем раньше, чем во Франции вновь воцарится мир. Скажу тебе, о чем я думал. Однажды, когда я еще был подростком, отец взял меня в плавание на Антильские острова. Ты не можешь себе представить, как прекрасны Мартиника и Гваделупа, Гаити и Сан-Доминго... теперь там уже ничего нет, негры сожгли дотла все плантации...

– Не могу обвинять их, – прервала его Флоретта. – Если кто-то может покупать и продавать меня, словно я лошадь...

– Я тоже не могу обвинять, – вздохнул Жан, – но дело заключается вот в чем: мой отец владел землей на обоих островах. По его завещанию эти земли следует разделить между Бертраном, Терезой и мной. Когда худшее здесь окажется позади, мы можем уехать туда и дожить там свои дни в мире. Я поехал бы сейчас, но не прощу себе, если Франции потребуются все сыновья, чтобы защитить ее, а я буду далеко...

– Я готова ехать куда угодно, мой Жан, – прошептала Флоретта, – или лечь в землю, но только вместе с тобой.

Салон Роланов, расположенный в доме, который когда-то занимал Неккер, был великолепен. Повсюду блистали огромные зеркала, так что количество гостей удваивалось, а то и утраивалось, отражаясь в них. Жана с Флореттой встретила сама Манон Ролан, как всегда, облаченная в белое. Жан, взглянув на нее, ощутил разочарование. Во-первых, она была излишне полной, что было не в его вкусе, а во-вторых, хотя она и была безусловно красива, красота ее была грубоватой, а это его отталкивало. Но лишь до той минуты, пока она не заговорила. Тогда он ощутил всю глубину ее очарования. У нее был низкий голос, великолепно модулированный, а ее французский язык доставлял истинное наслаждение. Ее речь походила на сверкающую рапиру, так что Жан почти физически ожидал увидеть в воздухе светящийся след искрометной фразы. Она быстро отошла от молодого Барбару, в прошлом городского служащего в Марселе, а теперь, хотя ему не так давно минуло всего двадцать лет, набиравшего силу во Франции, и обратилась к Флоретте:

– Садитесь, моя дорогая, – начала она, – вы даже не представляете, какое удовольствие видеть такое прелестное создание, как вы, у себя в гостях. На моих приемах присутствуют в основном мужчины, которые редко привозят своих жен...

– Думаю, это потому, – отчетливо произнесла Флоретта, – что их жены, вернувшись домой, будут устраивать из-за вас

сцены ревности...

– О, да вы маленький льстец! – засмеялась Манон Ролан. – Но вам, я думаю, нечего опасаться в этой связи: любой мужчина, который не оценит вашего очарования, просто глупец...

– Но ведь мужчины, – возразила Флоретта, – так часто оказываются глупцами, ведь правда, мадам?

– Она к тому же еще и остроумна! – объявила мадам Ролан. – Поздравляю вас, гражданин Марен, с вашим выбором.

– Благодарю вас, мадам, – отозвался Жан. – Надеюсь, я не нарушил заведенного порядка, взяв с собой жену. Вижу, я здесь единственный мужчина, который отважился на это, но ведь вы понимаете, мадам Ролан, она еще не настолько надоела мне, чтобы оставлять ее одну надолго...

Флоретта искала его руку, пока не нащупала ее, и прижала к своей щеке.

– Прекрасно сказано, гражданин Марен, – восхитилась Манон Ролан, – и к тому же такая очаровательная сценка! Вам повезло – такая подлинная любовь редко встречается в наше время. Но вы не должны тревожиться, здесь присутствуют еще три или четыре жены. Они наверху, приводят себя в порядок. И здесь еще одна семейная пара, с которой вы должны познакомиться... Бетюны... Он провинциальный коммерсант, культурный и довольно интересный, но она! Она статуэтка дрезденского фарфора, такая же красивая, как и ваша жена, но совсем в другом роде, вы меня по-

нимаєте. Уверена, вам обоим она понравится...

– Мне она наверное понравится, – улыбнулась Флоретта, – но при условии, что она не слишком понравится Жану. Иначе у меня возникнет искушение вцепиться ей в волосы...

– Они должны быть где-то здесь, – сказала Манон. – Подождите, я найду их.

– Еще будет время, – заметил Жан, – и мы познакомимся с вашими друзьями, а сейчас я бы хотел, с вашего разрешения и с разрешения Флоретты, побродить среди гостей, чтобы почувствовать, какие дуют политические ветры. Вы меня извините?

Он постоял около одной группы, другой, прислушиваясь к яростным спорам о войне, – одни были за войну, другие против. Жорж Дантон ткнул его кулаком под ребро.

– Будь я проклят, Марен! – громыхнул он своим зычным голосом. – Ваша жена красивая ведьмочка! К тому же, не сомневаюсь, очень подходящая в определенных случаях – по крайней мере, вы можете ущипнуть какую-нибудь девку за задницу, не вызвав сцены. Моя жена в таких случаях устраивает жуткий скандал!

Жан улыбнулся. Он давно уже привык к сочной вульгарности Дантона.

Он начал обдумывать шуточный ответ, но так и не додумал. Дантон с любопытством уставился на него, видя, как побледнело лицо Марена, как шевелятся его губы, но ни один звук не выходит из них.

– Вам нехорошо, Марен? – пророкотал он.

– Я, – с трудом выдавил из себя Жан, – увидел сейчас призрака... Вы извините меня, гражданин Дантон?

И он двинулся в сторону маленькой женщины с серебристо-светлыми волосами, которая вошла в зал под руку с высоким представительным мужчиной лет под шестьдесят.

Подойдя к ней, он остановился, лицо его потемнело и стало ужасным.

– Николь! – прохрипел он.

Она взглянула на него, и ее синие глаза расширились от удивления.

– Меня действительно так зовут, месье, – спокойно произнесла она, – но откуда вы знаете мое имя? Никогда в жизни я не видела вас...

Жан стоял, переводя взгляд с ее маленького, такого знакомого, любимого до боли лица на смуглого мужчину, сопровождавшего ее. В темных глазах мужчины было беспокойство.

– Моя жена говорит правду, гражданин, – сухо произнес мужчина, – можете быть в этом уверены.

– Я уверен в этом, – медленно выговорил Жан, – и, признаюсь, это пугает меня, месье...

– Бетюн, Клод Бетюн из Марселя. Почему это должно пугать вас, гражданин? Обычная ошибка, люди часто бывают похожи один на другого, вы знаете...

– Потому, гражданин, – сказал Жан, – что это заставляет

меня усомниться, в своем ли я уме. Это не схожесть, а чудо. Если только... у вашей жены есть сестра-близнец, родившаяся тогда же от той же матери, – но вопрос в имени...

– Дорогой, – шепнула Николь Бетюну, – возможно, он действительно знал меня! Быть может, он сумеет рассказать нам...

– Тихо, дитя, – произнес Бетюн. – Не будете ли вы так любезны, гражданин, проводить нас к хозяйке дома, мы еще не успели засвидетельствовать ей свое почтение...

– С удовольствием, – отозвался Жан, – но позвольте прежде представиться. Жан Поль Марен, в прошлом житель Марсея и Сен-Жюля.

– Марен? – улыбнулся Клод Бетюн и протянул ему руку. – Я хорошо знал вашего отца, гражданин Марен. Я даже имел с ним кое-какие деловые отношения. Для меня большая честь...

Жан пожал руку Бетюна. Николь смотрела на него и потянула мужа за рукав.

– Клод, – умоляюще начала она.

– Позже, дорогая, – твердо сказал Бетюн. – Прежде всего мы должны придерживаться светских приличий.

Жан проводил их к Манон Ролан.

– Ах, вы уже познакомились, – сказала она. – Очень рада, я так хотела этого. Гражданин Марен и его жена идеальная пара, чтобы подружиться с вами. Вы из одной и той же части Франции, у вас схожие идеалы, и, я уверена, вы обладаете

двумя самыми красивыми женщинами во всей Франции.

Жан заметил, что при слове “жена” в глазах Клода Бетюна промелькнуло облегчение.

– Мы будем рады познакомиться с гражданкой Марен, – улыбунулась Николь. – Она здесь, гражданин Марен?

– Пойдемте, я познакомлю вас. Но я должен вас предупредить – моя жена совершенно слепа...

Он увидел в глазах Николь жалость. Она не изменилась, подумал Жан, все такая же добрая и красивая. Но почему она не узнает меня? И этот новый муж, святой Боже! Хороший человек, насколько я могу судить, предан ей, как был бы предан любой мужчина. Надо написать Бертрану. Прошел год, а то и больше с тех пор, как он упоминал Жюльена Ламона, но если Ламон был жив год назад, нет никаких оснований думать, что за это время он умер. Ламон моих лет, нет, даже моложе. И поскольку он оставался в Австрии, ему не угрожала никакая физическая опасность...

Он подошел к группе, окружавшей Флоретту. Вокруг нее уже толпилось несколько молодых людей. Бюзо и Барбару соперничали в ухаживании за ней, стараясь превзойти друг друга в любезностях. Сам Ролан де ла Платьер, министр внутренних дел, “жена” Манон, как его насмешливо называли, стоял рядом с Флореттой. Это был высокий мужчина, худой, как палка, сухой, педантичный и скучный. Молодая интеллектуалка Манон вышла за него замуж, потому что один из соавторов “Энциклопедии” казался ей полубогом. Одна-

ко вскоре выяснилось, что это титан на глиняных ногах – на самом-то деле он весь был глиняный, – что обнаружилось со всей очевидностью.

– Флоретта, – обратился к ней Жан.

И опять этот быстрый поворот головы, а ее темные прекрасные глаза пристально заглянули ему прямо в лицо так, словно она могла его видеть.

– О, Боже, – прошептала Николь, – как она невыразимо прелестна!

– Хочу представить тебе двух наших новых друзей, – медленно произнес Жан, – которые, надеюсь, станут со временем нашими старыми друзьями. Гражданин и гражданка Бетюны... моя жена...

Клот Бетюн поцеловал Флоретте руку. А Николь, подчиняясь какому-то неосознанному порыву, вышла вперед, наклонилась и поцеловала ее в щеку. Флоретта при этом ощутила ее слезы.

– Почему вы плачете гражданка? – спросила она.

– Простите меня, – прошептала Николь, – я ужасно импульсивна. Муж говорит, это из-за того, что я много болела. Дорогая моя, я заплакала при мысли, что такие прекрасные глаза не видят...

– Николь! – возмутился Бетюн.

– Не осуждайте ее, месье, – сказала Флоретта. – У нее добрый голос, а я привыкла к тому, что меня жалеют. Иногда это бывает утомительно, но только тогда, когда жалеют из чув-

ства превосходства. А когда это искренняя жалость, идущая от доброго сердца, меня это не обижает. Присаживайтесь ко мне, гражданка Бетюн.

Николь подошла, и красивый Барбару уступил ей место.

– Вы только посмотрите на них! – воскликнула Манон Ролан. – Венера и Диана – два противоположных облика совершенной красоты!

– А я бы сказал, – пробормотал Бетюн, – день и ночь. Они удивительно оттеняют друг друга. Гражданин Марен, вы не против выпить по бокалу вина и немного поговорить?

Жан кивнул и последовал за этим провинциальным предпринимателем. Обернувшись, он увидел, с каким увлечением разговаривают Николь и Флоретта, как будто они знали друг друга всю жизнь.

Остановившись у буфета, Бетюн мрачно посмотрел на Жана.

– Вы знаете, гражданин Марен, – медленно выговорил он, – я очень боялся этого дня...

Жан стоял, ожидая продолжения.

– Я знал, что этот день придет, вопреки всем моим надеждам. Я переехал сам и перевел свое дело в Париж, чтобы избежать этого. И вот ирония судьбы – здесь я сразу же столкнулся...

– Думаю, что понимаю ход ваших мыслей, – заговорил Жан. – Вы ничего не знаете о прошлом вашей жены, не так ли?

– Не знаю. И не хочу знать. Вы, гражданин Марен, вышли из известной семьи. Кроме того, вы сами по себе человек примечательный...

– Лесть здесь ни к чему, месье Бетюн, – сухо заметил Жан.

– Я не лщу. Я слышал о вас, как и всякий, кто прожил в Париже хоть какое-то время. У вас репутация справедливого и благородного человека. Говорят, вы открыты для сострадания. На это я и надеюсь...

– На сострадание? – переспросил Жан. – Почему?

– Как вы видите, я не молод. Поставьте себя на мое место. Теперь, на излете своих лет, я обрел полное счастье. Естественно, я оберегаю это счастье.

– Естественно, – отозвался Жан.

– Я уже сказал вам, что у меня нет желания узнать о прошлом моей жены. И что еще важнее, я не хочу, чтобы она о нем узнала. Он все забыла, – думаю потому, что это прошлое было столь ужасным, что ее рассудок не в силах был этого вынести...

– Так и было, – мрачно произнес Жан.

– Не рассказывайте мне! Теперь я убедился в правоте своих общих предположений на этот счет. Когда я нашел Николь, чью фамилию я до сих пор не знаю, она была, что называется, не в себе. Она день и ночь плакала и не могла есть. Она была ужасно, ужасно больна от пережитого потрясения, от голода, от... жестокости...

– Ее изнасиловали, – с неприкрытой жестокостью спросил

Жан, – так это было, гражданин Бетюн?

В глазах Бетюна отразилось страдание, и Жан тут же почувствовал сожаление. “Я возненавидел этого человека, – подумал он, – и моя ненависть мелкая и жалкая. Он человек, и все это не его вина...”

– Да, – прошептал Бетюн, – и не один раз...

Жан положил свою сильную руку на плечо Бетюна.

– Друг мой, – сказал он, глядя прямо в глаза Бетюну, – вот что я должен сказать, потому что вам это полезно знать. Ваша жена была самой прекрасной, самой прелестной и самой достойной из женщин. Я хорошо ее знал. Я вам не лгу. Не буду говорить вам ничего больше, потому что в ее прошлом есть моменты, опасные для ее сегодняшней жизни.

Но в нем нет ничего, что могло бы бросить на нее тень. Она была и осталась ангелом...

Бетюн испытующе смотрел на него.

– Она аристократка? – прошептал он.

– Она женщина благородного происхождения, – выговорил Жан, почти не двигая губами. – Из самых знатных фамилий Франции.

– Так я и знал. Ее манеры, ее изящество...

– Тихо! – оборвал его Жан. – Достаточно хотя бы одному из этих чудовищ якобинцев услышать это, и...

– Благодарю вас, Марен, – тихо сказал Бетюн. – Вы даже не знаете, какую тяжесть сняли с моего сердца. Я истерзал себя бессмысленной ревностью, что она могла быть курти-

занкой, к примеру. Они тоже часто обладают прекрасными манерами.

– Знаю. Поэтому я и рассказал вам.

– Но больше всего я опасаясь, что психическое состояние моей жены все еще зыбкое. Вы видели, как легко она начинает плакать. Если она начнет вспоминать, если прошлое вернется к ней, она легко может соскользнуть в безумие, из которого я с таким трудом ее вытащил...

Жан вдруг с горечью подумал о двух холмиках земли, о косточках детей Николь, жестоко убитых.

– Вы правы, – сказал он, – я знаю лучше, чем вы, насколько вы правы. Клянусь вам, гражданин, что никогда в жизни не скажу ни вашей жене, ни своей и вообще кому бы то ни было на свете ничего, что может вызвать перед ней призрак ее трагического прошлого...

Клод Бетюн протянул ему руку. Жан пожал ее.

– Марен, – сказал Бетюн, – я вам бесконечно благодарен, можете рассчитывать на мою дружбу до конца моих дней. Наконец-то я встретил человека, в котором есть все то, чем наделяет его молва...

– Благодарю вас, – улыбнулся Жан, – но нам лучше вернуться. Наши дамы могут что-нибудь заподозрить.

– Вы правы, – отозвался Клод Бетюн.

– Жан, – обратилась к нему Флоретта, – я просто влюби-

лась в эту Николь Бетюн! Она очаровательная женщина, я пригласила ее навещать меня как можно чаще.

– Нет, – вырвалось у Жана.

– Почему – нет? – спросила Флоретта.

– Я... я не могу тебе объяснить. Поверь мне, любимая, мы должны как можно реже встречаться с ними. Связь с ними опасна в политическом отношении...

– Ого! – воскликнула Флоретта.

Дальше они ехали в молчании. И только когда карета повернула на их улицу, Флоретта вновь заговорила.

– Жан, – спросила она, – почему ты мне лжешь?

– Я лгу? – изумленно воскликнул он. – Почему ты так думаешь?

– Потому что знаю. Это не имеет никакого отношения к политике. Из того, что говорили о ней молодые люди, я поняла, что мадам Бетюн необыкновенно хороша. Ты ведь знал ее раньше? Был в нее влюблен?

Жан Поль пристально посмотрел на свою жену.

– Да, – спокойно ответил он. – На оба твои вопроса – да.

Вновь воцарилось молчание. Оно тянулось до тех пор, пока карета не остановилась у ворот их дома.

– Бога ради, Флоретта! – выкрикнул он. – Скажи что-нибудь!

– Что? – отозвалась Флоретта. – Что я могу сказать? Она ничего не помнит о своей прошлой жизни до болезни. Она сказала мне, что ты узнал ее, и она надеется, что ты расска-

жешь ее мужу то, что тебе известно о ней. Теперь я знаю, что ты ничего не сказал ему, потому что не мог. Она мне понравилась. То, что она когда-то была влюблена в тебя, не имеет значения. Это просто доказывает ее хороший вкус...

– Спасибо, – сухо отозвался Жан.

– Вижу, ты разволновался, вновь встретив ее, но ты преодолеешь это. Я об этом позабочусь. Не спрашиваю тебя, что ты чувствуешь к ней сейчас, потому что, думаю, ты и сам этого не знаешь. Вы, мужчины, ужасно глупы. Но это все не имеет значения, ибо она замужем за человеком, которого любит. А у тебя, мой замечательный медведь-муженек, поразительное чувство чести. Какое бы сильное замешательство ты ни испытал в тот момент, когда увидел ее, ты ничего в этой связи не будешь предпринимать. Во-первых, потому, что ты просто не способен на низость, а во-вторых, потому, что я тебе не позволю...

Жан в изумлении взглянул на нее: откуда эта удивительная уверенность в себе? Думаю, оттого, что жизнь сотворила с ней все, что только возможно, и теперь она чувствует свою силу...

– Я весь внимание, госпожа генерал! – пошутил он.

Флоретта обернулась к нему и взяла своими ручками обе его большие руки.

– Я люблю тебя, Жан, – просто сказала она, – гораздо больше, чем ты когда-либо любил меня. Я знаю это. Но мне безразлично. После такой горестной жизни я наконец обре-

ла счастье. Больше, чем когда-либо мечтала. И я не собираюсь упускать его. Я буду сражаться за свое счастье, за тебя любым способом. Не думаю, что эта бедная, наполовину помешанная женщина представляет какую-то опасность. Даже если она потом станет опасной, я справлюсь с ней, – к своему удовлетворению, я уже доказала, что могу управлять тобой, хотя ты даже не подозреваешь, что тобой управляют. Чего мы ждем? Помоги мне выйти, мой большой, красивый муж несметного количества таинственных возлюбленных!

Жан долго изумленно смотрел на нее. Затем наконец рассмехался. Но это был очень добрый смех, в котором даже не чувствовалось насмешки. Флоретта прервала его смех поцелуем.

– Пойдем, – шепнула она, – и я докажу тебе раз и навсегда, что тебе незачем смотреть на других женщин. Ибо, мой дорогой, что ты можешь найти на стороне такого, чего у тебя не было бы дома?

Бетюны нанесли им визит, и Жан, видя непритворную радость Флоретты от общения с Николь, понял, что бессилен воспрепятствовать их встречам. Между этими двумя женщинами завязалась тесная дружба, похожая на дружбу Флоретты и Марианны.

– Это очень хорошо, – высказался Клод Бетюн, – для женщины, у которой нет настоящих друзей-женщин. Кроме то-

го, эта дружба благотворно влияет на Николь, а ваша Флоретта получает удовольствие. Вы... надеюсь, вы ничего ей не сказали?

– Нет, – улыбнулся Жан. – Я достаточно хорошо знаю женщин. Они и минуты не могут сохранить тайну.

Однако он был совершенно не подготовлен к тому, что эти две женщины стали неразлучными подругами. Николь бывала в их доме утром, днем и вечером. Слушая ее веселый, счастливый смех, он страдал. А когда видел ее задумчивой, грустной, то страдал еще больше. Он часто замечал, как ее синие глаза наблюдают за ним и в них проглядывает осуждение. В первый раз, когда она потребовала от него, чтобы он рассказал о ее прошлом, Жан отказался, объяснив, что это не принесет ей добра. Казалось, она приняла такой ответ, но он все чаще обнаруживал в ее взгляде сердитое недоумение.

Наконец-то он получил от Бертрана ответ на свое письмо.

“Конечно, Ламон жив, – писал Бертран. – Я его, беднягу, частенько здесь вижу. Почему ты о нем спрашиваешь? Здесь ла Муат и твоя рыжая лиса, мадемуазель Тальбот. Она превращает его жизнь в ад: между ними происходят отвратительные сцены, даже на людях... Здесь все волнуются насчет войны. Я наконец получил паспорта для нас с Симоной, чтобы уехать в Англию. Ты был очень добр, высылая мне деньги, но сейчас у меня возник замечательный план! Вышли мне, если сможешь, то, что осталось от моей доли наследства. Я открою в Лондоне контору фирмы “Марен и

сыновья”. Ты упомянул, что боишься, как бы война с Англией не разорила тебя. Мое отделение фирмы будет для тебя гарантией. Я, как только смогу, стану британским подданным. Ты вложишь как можно больше в мое отделение фирмы. А когда война кончится, присоединишься ко мне. Можешь быть уверен, что английская фирма “Марен и сыновья” никогда не будет изгнана с морей...”

В письме было еще много всего. Но главный факт установлен. Брак Николь с Бетюном оказался незаконным, результатом искреннего заблуждения. А план Бертрана, как сохранить капиталы семьи от превратностей войны, казался вполне выполнимым.

“Но будет ли это патриотичным? – размышлял Жан. – Если разразится война, не получится ли так, что я буду способствовать вооружению врага? Даже мой брат может оказаться врагом? От всего этого голова идет кругом...”

А теперь еще и это осложнение. Рассказать Бетюну, что Николь ему не жена, а любовница, бессмысленно, это только причинит ему боль и ничего не изменит... Черт побери! Неужели в этой жизни нет ничего простого?

Да, все было непросто. Уже в Законодательном собрании сам факт обладания состоянием превращал человека в объект разнузданных нападков. Это сняло у Жана последние сомнения насчет вложения капитала в фирму Бертрана. Если моя страна лишает меня права обладать деньгами, которые я честно заработал, я вынужден ограничить свое участие в

ее защите непосредственно борьбой с оружием в руках, ибо она не права, и я должен защищать свои интересы...

На растущую опасность обратил его внимание Пьер.

– Послушай, старина, – сказал он, – я взял на себя смелость купить квартиру в Сент-Антуанском предместье, в которой ты раньше жил. Если они будут продолжать свои нападки, она может тебе понадобиться. Тебе лучше продать этот великолепный дворец...

– Никогда! – зарычал Жан.

– Послушай, не будь упрямым дураком. Францией сегодня управляют люди, потерпевшие поражение во всех своих начинаниях, они – неудачники, безумцы, а их политика – просто зависть, возведенная в религию. Завтра твое бросающееся в глаза богатство может стоить тебе жизни, и Флоретте тоже! Упакуй свои роскошные костюмы и возвращайся на ту квартиру, живи просто, но с удобствами, на людях громко жалуйся на финансовые потери, и тебя оставят в покое...

– В тот день, – решительно заявил Жан, – когда я спрячусь в нору из-за помоечных крыс Парижа, я предпочту умереть. Что же касается вшей, которые за последнее время наводнили Собрание, то они не заслуживают, чтобы я плюнул им в их грязные физиономии. До сих пор, мой друг, я всегда вел себя как мужчина. Если придет такой день, когда они заставят меня скулить, выражая покорность им, в тот день я умру!

Пьер пожал плечами.

– Дело твое, старина, – сказал он.

Утром 20 июня Жан был один в доме, не считая прислуги. Флоретта отправилась вместе с Марианной по магазинам, чтобы купить какие-то шелка, привезенные недавно контрабандой в Париж. Жан сидел в маленьком кабинете на втором этаже, где он часто работал в одиночестве. Там, под замком, вдали от назойливо любопытных глаз чиновников он хранил свои потайные конторские книги, в которых фиксировалось подлинное положение его дел.

В дверь постучал слуга.

– Мадам Бетюн внизу, – доложил он.

Жан в глубине сердца застонал. “Как я могу видеть ее, – подумал он, – вот так – наедине? Каждый раз, когда я вижу ее, все мое тело трепещет от воспоминаний. Думаю, иногда и она почти припоминает все – меня поражает выражение ее лица, похожее на нежность. Впрочем, наверное, это просто мое воображение...”

Он встал из-за стола, поправил прическу и спустился вниз.

Николь протянула ему свою маленькую ручку.

– Флоретты нет дома? – спросила она.

Жан медленно покачал головой.

– Тогда я должна уйти, – нервно сказала Николь.

– Почему? – насмешливо спросил Жан. – Вы боитесь меня?

Николь разглядывала его смуглое, изувеченное лицо.

– Да, – прошептала она.

– Почему? Из-за моего лица?

– Нет. Я... я не знаю почему. Позвоните, чтобы принесли кофе, месье Марен, и я попытаюсь объяснить...

Жан открыл дверь в маленькую гостиную.

– Прошу, мадам, – предложил он.

Николь села на краешек кресла, глядя на него. Жан не проронил ни слова, пока слуга подавал кофе. Затем он печально улыбнулся.

– Вы собирались рассказать, почему вы боитесь меня, – сказал он.

– Должна ли я? – прошептала она. – Это, я думаю, нечто постыдное.

– Как хотите, – серьезно произнес он. – Я никогда не буду настаивать...

Николь напряглась, и глаза ее вспыхнули синим огнем.

– Я вам скажу. Наверное, я не права. Во всяком случае, я больна от этого, – от того, как я себя чувствую. Я люблю своего мужа. Он самый добрый, самый лучший. Но прошлое мое неизвестно. Я должна спросить вас об одном: была ли я в моей прошлой жизни замужем за вами?

– Нет, – ответил Жан.

– Значит, я сумасшедшая, – в ужасе прошептала Николь.

– Почему вы так думаете? – спросил Жан.

– Потому что... потому что... о, Жан, я не могу сказать

этого!

– Вы назвали меня Жаном, – заметил он. – Вы никогда раньше так ко мне не обращались...

– К вам не обращалась. Но бесчисленное количество раз к себе самой, когда я одна. Я вынуждена останавливать себя, чтобы не назвать своего мужа “Жан”. Вы спрашиваете меня, почему я боюсь вас, ответ заключается в том, что я боюсь не вас – я боюсь себя! Я смотрю на вас, и мои руки изнывают от желания погладить ваше лицо, как когда-то давно, как будто они гладили вас – сколько раз это бывало прежде? – как будто они привыкли к этому ощущению. Я смотрю на ваш рот, ваш ужасный рот, вечно улыбающийся, словно вы насмехаетесь над Богом и сатаной, и знаю, я точно знаю, как ощущаются ваши поцелуи...

Она опустила голову и дала волю беззвучным рыданиям.

Жан сидел, не двигаясь.

– Я люблю своего мужа. Я люблю его всем своим телом, как должна любить хорошая жена. Но, Жан, скажите мне, у вас есть шрам от старой раны – думаю, от пистолетной пули – на спине слева, под самыми ребрами?

– Да, – мрачно отозвался Жан, – у меня есть такой шрам.

– Откуда я могу знать это? Объясните мне. Откуда я могу знать ваше тело так, как свое собственное? Я приличная женщина, но я знаю, что у вас бронзовая кожа, шелковистая, с небольшим пушком на груди. Знаю, что ваши руки как стальные обручи, а ваш рот...

Она резко встала.

– Позвольте мне уйти, – всхлипнула она, – выпустите меня отсюда!

– Я вас не удерживаю, – сказал он, но уже в следующую секунду она оказалась в его объятиях.

Он ощущал ее рот, сладкий и соленый от слез, неистово жаждущий, дикий, нежный, шепчущий приглушенные слова:

– Жан, мой Жан, мой! Как, когда и где – не знаю, но мой! Я зверь, самка, я не стою и ноготка бедной Флоретты, и все равно, Жан, Жан...

Дверь тихо открылась.

– Простите меня за вторжение, – спокойно произнес Ренуар Жерад, – но это действительно очень важно, Жан...

Они отскочили друг от друга. Краска стыда залила лицо Жан Поля от подбородка и до корней волос.

– Ладно вам, Жан, – засмеялся Ренуар. – Я не блюстителю нравственности. Кроме того, у меня нет времени. Уверен, мадемуазель простит нас...

Николь схватила свою шляпку с маленького столика и убежала из комнаты.

– У вас бесспорно хороший вкус, – заметил Жерад со сдержанным удивлением.

– Послушайте, Ренуар, – захлебываясь, начал Жан, – я не... я не думал...

– А я думал, – пошутил Ренуар. – Кроме того, вы оба оде-

ты, вы в маленькой гостиной, что же тут особенного? Конечно, это в вашем собственном доме, когда ваша жена может в любой момент вернуться – боюсь, должен осудить вашу неосмотрительность. Судить же вашу нравственность я не имею никакого права – уровень моей нравственности еще ниже!

– По какому поводу вы пришли? – проворчал Жан.

– Толпа ворвалась в Тюильри. Они держат короля и королеву пленниками, стараются, думаю, спровоцировать их на какие-то действия, которые дадут этим исчадиям ада повод убить их. На охрану полагаться нельзя, разве только на швейцарцев. Мы должны отправиться во дворец и попытаться уговорить толпу уйти оттуда, и таким образом сорвать замысел якобинцев и жирондистов. Если нам это не удастся, мы должны умереть, если понадобится, защищая их...

Жан вышел из гостиной и взбежал по лестнице. Через две минуты он вернулся со шляпой, пистолетом и тростью.

– Я готов, – сказал он.

Он оказался в маленькой группе, взявшейся охранять покои королевы. Поэтому он не стал свидетелем спокойного героизма Людовика, отказавшегося отменить свое вето, который принял шпагу и, размахивая ею над головой, выкрикивал “Да здравствует нация!” с полным достоинством; он даже надел красный колпак, не выглядя при этом дураком,

пока в конце концов не смягчил их, отправив после подлой и трусливой речи Петиона, не отступив ни на дюйм от своих принципов.

Зато Жану довелось видеть, как Мария Антуанетта продемонстрировала свое величие. Одна из последних парижских шлюх Пале-Руайяля остановилась перед ней и заорала:

– Autrichienne! Entrangère!⁶⁵

Королева пристально посмотрела на нее.

– Я вам сделала что-нибудь дурное? – спросила она.

– Нет, но вы принесли много вреда нации! – завопила проститутка.

– Вас обманули, – спокойно сказала королева. – Я вышла замуж за короля Франции. Я мать дофина. Я француженка. Я никогда не увижу свою родину. Я не буду счастлива или несчастна нигде, кроме Франции. Когда вы меня любили, я была счастлива.

К изумлению Жана, шлюха расплакалась.

– О, мадам, – всхлипывала она, – простите меня! Я вас не знала. Я вижу, вы были очень добры...

Сантер, революционер-пивовар из Сент-Антуанского предместья, грубо схватил ее за руку.

– Эта девка пьяна! – заорал он и силой оттащил ее от королевы.

Жан шагнул к нему.

– Сантер, – сказал он сквозь зубы, – я знаю, почему вы

⁶⁵ Австриячка, иностранка (*фр.*)

сделали это. Не хотите, чтобы они правили, так ведь?

– Да, черт меня возьми, не хочу! – выкрикнул пивовар.

– А я хочу. Если вы еще раз откроете свой отвислый рот, я всажу двойную порцию свинца в ваши кишки. И не говорите мне, что ваши друзья разорвут меня на куски, меня это не волнует. Я пришел сюда, готовый умереть...

Сантер уставился на него.

– И что бы вы ни сделали, – Жан четко, без всякого выражения выговаривал слова, – вам это не поможет. Потому что к тому времени вы, мой друг, будете мертвы.

Сантер отшатнулся от него и поспешно выскочил за дверь.

Жан вернулся к королеве.

– Благодарю вас, месье Марен, – сказала Мария Антуанетта.

Когда после долгих часов это испытание кончилось, Жан Поль разыскал Ренуара Жерада.

– Ренуар, – устало сказал он, – зачисляйте меня в вашу роту. Завтра же я начну строевую подготовку.

– Отлично! – улыбнулся Жерад. – Могу держать пари, половина армии состоит из мужчин, которые от чего-то сбегают...

– Что вы имеете в виду? – спросил Жан.

– Вы это знаете так же хорошо, как и я, – пошутил Ренуар, – так чего ради я буду утруждать себя и рассказывать вам?

К тому времени, когда они наконец выступили из Парижа на север, навстречу смерти и славе, Жан Поль стал настоящим солдатом. Тридцатого июля они промаршировали по Елисейским полям, а в это время в другом конце Парижа в город входили марсельцы, сплошь бандиты, распевая новую песню Руже де Лиля “Военная песня для Рейнской армии”.

Жан слышал эти трубные звуки, отдававшиеся гулко в его крови:

К оружию, граждане!
Стройтесь в батальоны!
Марш вперед, марш вперед!

Это было великолепно, захватывающе, грандиозно. Жан мог разглядеть темную головку Флоретты и прижавшуюся к ее плечу светлую голову Николь.

Но он был уже слишком далеко, чтобы разглядеть слезы на их лицах.

Жан Поль Марен лежал на грязной больничной койке в военном госпитале на Ман-мартре и смотрел в окно на ветряные мельницы. Два дня назад, 1 октября 1793 года, его привезли в Париж, спустя год и два месяца после того, как он выступил из этого города навстречу смерти или славе. Он глядел на ветряные мельницы, не обращая внимания на крики, стоны и проклятия раненых, лежащих вокруг. Ветряные мельницы напоминали ему о героической обороне Вальми, где на вершине этого исторического холма тоже стояла ветряная мельница. Вальми оказалась единственной битвой, которую он хорошо запомнил, потому что это было его первое сражение. Все последующие слились в потоке времени, так что он никогда не мог вспомнить, было ли это с ним при Жемаппе или при Неервинден, или при Майнце, Вердене или даже при Ондешютте. Впрочем, это уже не имело значения; разум находил способ отгораживаться от кошмаров.

“Нечто похожее, – размышлял он, – произошло и с Николь. Она видела, как убили ее детей и Мари, ее горничную. Странно, я не вспомнил, что она тоже была блондинкой. Один локон – и я тут же потерял всякую надежду. Я никогда не обращал большого внимания на Мари. Знал, что она белокурая и толстенькая, но ведь это не определишь по скелету. Бедняжка Мари, в этой жертвенности сказала ее

преданность. Почему на ней была одежда Николь? Зачем же, если не для того, чтобы сбить со следа тех негодяев и дать своей хозяйке шанс спастись. Да благословит, тебя Бог, бедняжка Мари, если он есть и воздаст должное за преданность и награждает за жертвенность...

Думаю, никто и никогда не узнает, что происходило с Николь в промежутке между пожаром имения и тем утром, когда Клод Бетюн нашел ее спящей в его конюшне, несчастную женщину, которая даже не знала, как ее зовут...

Флоретта придет сюда, как только получит мое письмо. Санитар отнес его на почту вчера, сейчас она уже должна его получить. Интересно, изменилась ли она, – все вокруг так изменилось... Странно, уходил из Парижа при королевской власти, а вернулся уже при республике. Республика цареубийц. Бедный Людовик! Говорят, он храбро встретил смерть – после всех этих ужасных месяцев, которые он с семьей провел в башне тюрьмы Темпл, – он нашел в себе силы достойно встретить казнь. Не знаю, правда ли, что они разлучили королеву с детьми и поместили ее в Консьержери? Если это так – это означает и для нее конец...

О, Боже, Боже, как все изменилось! Король кончил свои дни ни гильотине, Дюмирье стал предателем и бежал в Австрию, Марат убит в собственной ванне девчонкой – благослови ее Господь, кем бы она ни была! Робеспьер стал хозяином Франции, и даже Дантон не может противостоять ему...

И я вернулся, но не благодаря моим почетным двадцати

трех шрамам – я с этими шрамами ушел с поля боя в Ондешютте, – а из-за лихорадки и постоянной слабости; врачи называют это гриппом”.

Он взял в руку медаль, которую вручил ему на поле боя генерал Ушар за храбрость, и долго смотрел на нее. Потом протянул к окну свою слабую руку и выбросил медаль. Он проявил тогда не храбрость, а просто глупость, поведя за собой цепь солдат на вражеский фланг только потому, что узнал в офицере Жерве ла Муата. Он опрокинул неприятеля, но так и не добрался до ла Муата или похожего на него офицера, потому что одна из австрийских батарей ударила по его роте, из которой в живых осталось только пять человек, и из этих пяти он один не был тяжело ранен.

В его тело вонзились двадцать три осколка шрапнели. Он был весь в крови, но на самом деле все раны оказались поверхностными, потому что он находился дальше всех от взрыва. Свалили его заражение и последовавшая за этим лихорадка, а не полученные раны. Когда болезнь пройдет, он будет как новенький. Но он не мог себе простить, что, хотя его атака опрокинула фронт австрийцев и англичан (которые в феврале 1793 года вступили в войну вместе с испанцами и датчанами, замкнув огненное кольцо вокруг Франции и погубив своей морской блокадой судоходное предприятие Жана) и способствовала замечательной победе при Ондешютте, он потерял почти всю свою роту...

– Убийца! – в сердцах обозвал он себя и отвернулся от

окна. Военный госпиталь на вершине Монмартра походил на все военные госпитали того времени; если человек выживал там, было совершенно очевидно, что он рожден кончить свои дни на гильотине. Еда была хуже, чем в свинарнике. На койке, на которую положили Жан Поля, рваные простыни были испачканы запекшейся кровью бедняги, который выкашлял на ней свою жизнь. Но хуже всего была вонь. В ней смешивались запахи гангрены, человеческих экскрементов, больных, невымытых человеческих тел. День и ночь санитары выносили трупы, освобождая места для раненых, доставляемых с фронта.

За эти три дня Жан Полю стало заметно хуже. На четвертый день появилась Флоретта вместе с Пьером и Марианной, – она только в тот день утром получила письмо, которое Жан послал ей на следующий день после того, как его привезли. Госпитальное начальство было только радо передать раненого на попечение жены – каждая койка была на счету.

Флоретта держалась отлично. Она даже не плакала. Она сидела в наемной карете, прижимая его грязную, завшивевшую голову к своему плечу, и гладила его заросшее бородой лицо с почти материнской нежностью. Она что-то говорила ему, но он ее не слышал – он находился в состоянии между сном и обмороком, очнувшись на достаточно долгое время только для того, чтобы пробормотать несколько нечленораздельных слов, когда его вытащили из кареты и понесли вверх по лестнице.

Когда он в конце концов проснулся, был полдень следующего дня, а комната была залита солнечным светом. Флоретта сидела у его постели, но он проснулся так тихо, что она не заметила. Он лежал, не двигаясь, и смотрел на нее, замечая, как переживания и одиночество несколько изменили ее облик, понимая, однако, что это лишь малозаметные черточки, а не свидетельства разрушения ее красоты. Она выглядела более солидной, но что-то в ней появилось странное...

Вскоре он понял, в чем дело: она одета в дешевое платье, какие носят парижские домохозяйки низших сословий. Быстро оглядевшись вокруг, он убедился, что находится не в роскошном особняке, который купил для Флоретты, а в своей старой невзрачной квартире.

Он слегка изменил положение, чтобы снять тупую боль в теле, но даже это легкое движение Флоретта заметила.

– Жан? – прошептала она.

– Да, любовь моя, – ласково отозвался он.

– Жан, – шептала она, – мой Жан, ты вернулся, и я никогда больше не отпущу тебя!

Она шарила рукой по покрывалу, пока не нашла его лицо, и, склонившись над ним, стала медленно, долго и нежно целовать его, словно черпая от него жизненные силы. Он выпростал из-под простыни руки и притянул ее к себе, глядя одной рукой ее волосы и улыбаясь ей, как будто она могла увидеть его улыбку.

– Ты поправляешься, – сказала она. – Вчера вечером ты

был такой слабый, что я почти пришла в отчаяние. Но Пьер уверял, что ты будешь в порядке. Я держала твою голову, пока Пьер брил твою ужасную бороду; но чтобы выкупать тебя, понадобились усилия всех нас четверых. Главная работа досталась на долю Пьера; он переворачивал тебя с боку на бок, а мы, женщины, мыли тебя с мылом так осторожно, как только могли...

– Четверых? – ужаснулся Жан. – Женщин?

– Конечно, глупенький. Марианна, Николь Бетюн и я. Трое женщин и Пьер. Получается четверо, так ведь?

– И Николь! – пробормотал Жан. – О, Боже!

– О, не будь таким застенчивым, – засмеялась Флоретта. – Мы все немолодые и замужние женщины, не забывай. А у тебя сейчас и смотреть не на что, мой Жан. От тебя остались кожа да кости, а судя по тому, что они говорили мне, так и кожи не так много осталось. Марианна говорит, ты весь в дырках, как решето.

– Что говорила Николь? – простонал Жан.

– Да почти ничего. Просто плакала. У нее очень нежное сердце, и, кроме того, я не думаю, что она когда-нибудь избавится от любви к тебе. Я могу это понять. Это роковая болезнь, от которой редко кто вылечивается...

– А ты, – пробормотал Жан, – вылечилась?

Она прижала свой рот к его рту так тесно, что он почувствовал ее дыхание.

– Нет, – прошептала она, – это та болезнь, от которой я

умру...

Она тихо лежала рядом с ним. Больше они ничего не говорили. Просто спокойно лежали и смотрели на солнечный свет, падающий в окно, и слушали шум, доносящийся с улицы Сент-Антуан, далекий и слабый, словно идущий из других миров.

– Надеюсь, – спокойно сказала Флоретта, – я никогда не научусь ненавидеть Николь Бетюн...

– А ты можешь ненавидеть ее? – спросил Жан.

– Нет. Не сейчас. Что бы она ни делала, ничто не заставит меня возненавидеть ее. Только ты можешь толкнуть меня на это...

– Я? – удивился Жан. – Каким образом, Флоретта?

– Если ты забудешь клятву, которую дал. Самую лучшую, самую прекрасную клятву на свете – “Отрекаюсь от всех других...”

– Я не забыл ее, – сказал Жан, глядя на нее вдумчиво и нежно. – Флоретта, почему мы здесь?

– Потому что эти ужасные люди – Робеспьер и те, что еще хуже его, Шомет и Эбер... Во Франции стало небезопасно иметь хороший дом, красивые туалеты и деньги. Я... я заперла наш дом, Жан. Пьер посоветовал мне это. Теперь, когда они хотят избавиться от кого-нибудь, все, что им нужно, это обвинить его в “отсутствии патриотизма”. В это понятие входит все, что угодно: от приличной одежды до обладания каретой или наличия слуг. Теперь быть неряшли-

вым, одеваться как грузчик, как монтер и разговаривать скверным языком, доказывая тем самым, что ты человек из народа – это признаки идеала. На человека могут напасть на улице только за то, что он хорошо одет. Поэтому я запаковала наши вещи и уехала из дома. Кроме того, мы сейчас вообще не можем содержать его...

– А как дела фирмы? – шепотом спросил Жан.

– Рухнули. Английская блокада еще несколько месяцев назад покончила с ними. У нас, Жан, единственным источником существования осталась только рента от твоих домов, да и то не от всех, потому что теперь стало обычным делом объявлять домохозяина монополистом, капиталистом или выдвигать против него такое всеобъемлющее обвинение, как “отсутствие патриотизма”, если кто-то не хочет платить квартирную плату. Впрочем, это уже не имеет значения, есть у тебя деньги или нет, – люди все равно голодают. Хлеба купить нельзя; все предприятия закрылись; Париж превратился в ад...

Пьеру удалось сохранить несколько рабочих, а Клод Бетюн потерял все; если бы не помощь Пьера и моя, он и Николь давно бы уже голодали. Ладно, хватит о грустном. Теперь, когда ты опять дома, все будет в порядке.

– Надеюсь, – прошептал Жан. – Видит Бог, как я надеюсь...

Но далеко не все приходило в порядок. 14 октября, несмотря на все доводы, какие могли выдвинуть его друзья,

он заставил их отвезти себя в кресле-коляске на галерею Революционного трибунала, где начинался суд над королевой. Он был слишком слаб, чтобы идти самому, и Пьер дю Пэн вместе с Клодом Бетюном подняли его в коляске на галерею. Три женщины шли позади, бледные, с застывшими лицами. Посредине шла Флоретта, Николь и Марианна поддерживали ее под руки. Никто из них не разговаривал – в словах не было нужды. Все они молча возносили только одну молитву: – О, Боже, только бы он не утратил контроль над собой! Только бы он не выкрикнул что-нибудь!

Молитва была бесполезна, и они знали это. С того момента, как Эбер встал и начал зачитывать чудовищные обвинения, на которые королева с величественным презрением отказалась отвечать, Николь и Марианна видели, что никакая сила на свете не может удержать Жан Поля от того, чтобы выступить в защиту этой великой женщины, перед которой он преклонялся. Но Марии Антуанетте помочь уже ничто не могло, даже защита Жана.

Зачитали обвинительный акт, она отвечала спокойно, царственно, высмеивая каждый пункт обвинения, выдвинутый этим обезумевшим сатиром. Но одно ужасное обвинение она обошла молчанием. Флоретта могла услышать, как участилось дыхание Жана. Присяжный заседатель задал королеве вопрос:

– Вдова Капет, почему вы не ответили на этот пункт обвинения?

– Я не ответила, – медленно произнесла она, – потому что сама Природа отказывается отвечать на подобное обвинение, обращенное к матери. – Она обернулась к женщинам, сидящим на галереях, простерла к ним руки и воскликнула: – Я обращаюсь к каждой присутствующей здесь женщине, которая рожала ребенка!

Все женщины на галереях расплакались.

Председатель трибунала Эрман тут же потребовал тишины и стал выкрикивать своим хриплым, грубым голосом пункты обвинения.

Он не дошел до половины обвинительного акта, как раздался скрип коляски Жан Поля, которую он оттолкнул от себя назад. Он встал, покачиваясь, с лицом белым, как смерть, от гнева и слабости, но прежде чем он успел открыть рот, Николь бросилась на него и толкнула обратно в коляску, закрыв ему рот своими маленькими ручками, и со слезами стала шептать:

– Не надо, Жанно, ради Бога, помолчи! Они убьют и тебя, а я этого не переживу! Пожалуйста, Жанно, пожалуйста, пожалуйста!

Он пытался оторвать ее руки от своих губ. И внезапно все показалось ему невыносимым: ощущение собственного бессилия, вид этой женщины внизу, виновной только в собственной глупости, которую травила до смерти худшая свора мерзавцев, какая когда-либо пятнала собой лицо человечества; его слабость и стыд, сознание и своей вины открылось

в его сердце, как зияющая рана, и крупные слезы пролились на пальцы Николь.

Она отпустила его и отступила назад; но он ничего не выкрикнул, ничего не сказал, только сел – большая человеческая глыба, рухнувшая, тихо плачущая от страдания, такого подлинного и ужасного, что перенести его было совершенно невозможно.

Пьер кивнул Клоду Бетюну. Они взялись за коляску, выкатили ее из галереи, потом она пересчитала все ступеньки длинных лестниц, так что каждый из его двадцати трех красных, недавно заживших шрамов, заболел вновь, и он, бессильно опустившись в кресло-каталку, со слезами, которые струились по его изуродованному лицу, смирился со своим бессилием, не жалуясь, зная, что эта физическая боль не значит ничего, меньше, чем ничего, по сравнению с ужасной, невыносимой болью в его сердце.

Он уже лежал дома в постели, Флоретта умывала его, и только тут ему в голову пришла мысль об одной странности, которую он заметил утром.

Он припомнил, что Николь сегодня назвала его Жанно. Неужели она начинает вспоминать?

Прошло две недели, прежде чем он смог встать с постели. И то, что произошло именно так, было благом. 16 октября он слышал только шум толпы и возгласы одобрения, доносящиеся с улицы. Флоретта и Марианна оставались с ним, а Пьер, побуждаемый своеобразной притягательной силой, которой

обладают ужасные зрелища, отправился на бывшую площадь Людовика XV, которая теперь стала площадью Революции, где статуя Людовика XV была низвергнута, а на ее месте водружена огромная гипсовая статуя Свободы, где тридцать тысяч пеших и конных солдат выстроились в два ряда, чтобы предотвратить беспорядки. Там, в плотно сбившейся толпе, он видел и слышал все детали трагедии, ставшей здесь обычным явлением: видел высокую двухосную тележку, двигавшуюся со скрипом сквозь толпу, мимо женщин, вяжущих на спицах не пропуская ни одной петли и считающих отрубленные головы, бой барабана, крупную фигуру Самсона, ожидающего около адской машины милосердного доктора Гильотена, и вот, наконец, тележка появляется на мосту со стороны острова Сите и мрачного здания Консьержери, и она сидит там, одетая в белое, со связанными за спиной руками, как рядовая преступница.

Она выглядела очень усталой и постаревшей, волосы снежно-белые, хоть ей всего тридцать восемь лет, и все равно настолько защищенная своим достоинством, своей невозмутимостью, что все крики, все оскорбления отскакивали от нее, словно их и не было вовсе. Толпа поняла, что она вне их досягаемости, и это еще больше разъярило орущих, удвоило их усердие. Рядом с ней на тележке стоял священник из присягнувших в мирской одежде, бормоча что-то по-латыни, но она презрительно игнорировала его, считая вероотступником, предателем, подонком.

Твердыми шагами взошла она на эшафот. Самсон привязал ее к доске. Все остальное Пьер видел только урывками. Когда раздались крики “Да здравствует Республика!”, он быстро взглянул на некий истекающий кровью круглый предмет, который Самсон поднял высоко, чтобы толпа могла его видеть, и быстро стал выбираться, его трясло от отвращения.

Так умерла Мария Антуанетта, королева Франции. Ибо, как бы ее ни называли в толпе – “Вдова Капет”, “Австрийская тигрица” или другими, реже употребляемыми в печати эпитетами, они не могли отнять у нее ее титул. Она была королевой и ею осталась, и никогда она не выглядела столь царственной, как в день собственной гибели.

В первую неделю ноября Жан начал вставать и выходить, опираясь на крепкую трость. Он выздоровел. Оставалась еще некоторая слабость, но время и уход излечат ее. Вот чего он не мог излечить, так это бездеятельности.

Он подолгу бродил по улицам, посвящая целые часы бесконечным поискам хлеба, переходя от одного квартала в другой, иногда вместе с Клодом Бетюном, который, как и Жан, потерял во время революции все свое состояние; но обычно Жан предпочитал совершать эти экскурсии в одиночестве, в надежде купить хлеба для Пьера, Марианны, Флоретты и для себя. Беспокоило его не столько недостаток денег, сколь-

ко отсутствие продуктов. К чему были ассигнаты или даже золото, если на них нельзя купить хлеба...

В то утро он стоял в конце длинной очереди у булочной. Он был уверен, что прежде чем доберется до дверей, весь хлеб будет распродан. Однако могло все-таки и повезти, и лучше он постоит в очереди, чем посылать потом Флоретту в толчею и давку голодной толпы.

Ему не долго пришлось ждать. Булочник вышел раньше, чем половина очереди дошла до дверей.

– Все кончилось, дети мои! – с мольбой в голосе произнес он. – Поверьте мне, хлеба больше нет!

Гневный ропот пробежал по толпе. Жан Поль услышал выкрики:

– Он прячет хлеб! Он аристократ!

Какая-то женщина завопила:

– Все булочники стали аристократами!

– Дети мои! – почти со слезами умолял булочник. – Зайдите, взгляните на полки! Пекарня пуста. Если хотите, обыщите мой дом! Моя жена и дети плачут от голода! Я выпекал бы больше хлеба, если бы имел больше муки.

Его лицо покраснело от гнева.

– Идите и ищите того, кто прячет муку! – выкрикнул он. – Вешайте тех, кто привозит пшеницы в Париж так мало и такого плохого качества! Вешайте их, а не вашего соседа и приятеля, который живет среди вас столько лет!

– Он прав, – сказал кто-то в толпе. – Ладно, добряк Фран-

суа, постарайся, чтобы у тебя завтра был для нас хлеб.

– Хлеб будет, – заявил булочник, – но приходите пораньше. Не могу обещать, что хватит всем, так что купить хлеб сумеют только те, кто придет первым. . .

Толпа стала с ворчанием расходиться. Жан повернулся, чтобы продолжить бесконечный поиск того булочника в Париже, у которого найдется черствый хлеб для продажи, и увидел идущую ему навстречу Николь. Она прижимала к груди длинный батон.

– Пойдем, Жан, – сказала она, – проводи меня и возьмешь половину, нет, две трети для твоей семьи. Они больше нуждаются в хлебе. А когда ты идешь рядом, у меня не станут вырывать хлеб. Меня уже дважды на этой неделе обокрали. . .

Жан пошел рядом с ней, тяжело опираясь на палку. Николь легко шагала, поглядывая на него уголком глаза. Когда они добрались до жалкого дома, в котором она жила с мужем, Николь обернулась к нему, улыбаясь.

– Зайдем, Жан, – предложила она.

– Клод дома? – спросил Жан.

– Нет. Он уехал из Парижа поискать где-нибудь в другом месте удачу. Он отправился в Прованс, в Марсель посмотреть, не сможет ли начать там все сначала, вдали от глаз этих чудовищ в Париже. . .

Жан содрогнулся, подумав о новостях со средиземноморского побережья и из Прованса. Республиканские армии подавляют восстание “лучших людей” в Вандее и на Побережье

(в обоих местах были выступления против правительства) с необыкновенной жестокостью. В Марселе даже гильотина оказалась слишком медленной. И там, и в Лионе республиканцы залпами из пушек расстреливали сразу по двести человек.

– Нет, Николь, – сказал он, – я не стану подниматься.

– Потому, – прошептала она, – что я тогда в трибунале назвала тебя Жанно? Не знаю, почему я назвала тебя так, но когда уже назвала, поняла, что называла так и раньше – тысячи раз до этого... Я раньше называла тебя так?

– Да, – со стоном сказал Жан.

– Жан... Жанно... пожалуйста, поднимись со мной ненадолго. Я буду хорошо себя вести. Прошу, потому что чувствую себя такой одинокой. Кроме того, сегодня я боюсь...

– Боишься?

– У меня весь день странное ощущение, будто за мной следят. Я знаю, что подвержена фантазиям, но на этот раз я почти уверена. Я дважды видела этого человека, но каждый раз он отворачивался или скрывался за углом. Знаю... вижу по твоему лицу, ты думаешь, это мое воображение. Клянусь, это не так. И самое странное во всем этом, мой Жан, то, что в этом человеке было нечто до странности знакомое...

– Знакомое? – спросил Жан.

– Да, да! Я его знаю... хорошо его знала! Это кто-то из моего прошлого, из того прошлого, которого я не помню. Человек, которого я знала раньше и даже лучше, чем тебя. По-

нимаешь, Жанно, тебя я сначала не узнала, а этого человека узнала в ту же минуту. Вот почему я хочу, чтобы ты немного побыл со мной. Я ужасно боюсь!

Жан внимательно смотрел на ее маленькое овальное лицо. Действительно ли она встретила человека из прошлого или это ей померещилось, но испуг ее был подлинным.

– Хорошо, – проворчал он, и они стали подниматься по лестнице.

Откровенная нищета маленькой комнаты болью отозвалась в его сердце. Здесь было очень чисто, но никаких удобств. Николь поставила перед ним хлеб, сыр, даже кусочек мяса и бутылку вина. Жан выпил немного вина, зная, что в вине недостатка нет, но к еде не прикоснулся, не без основания подозревая, что это ее ужин.

Она сидела напротив, пожирая его глазами.

– Жан, – прошептала она, – когда ты расскажешь мне... я имею в виду про меня... про нас?

– Никогда, – спокойно ответил Жан. – Возможно, со временем ты сама вспомнишь. Молю Бога, чтобы этого никогда не произошло. Не потому, что там было что-то дурное, но очень тяжелое и страшное. Лучше тебе об этом не знать, маленькая Николь...

Она встала и подошла к стулу, на котором он сидел.

– Однако, – медленно произнесла она, – я многое знаю. Это память моего тела, не сознания. Позволь мне подойти к тебе ближе... вот так... я уже вся трепещу...

– Тогда не подходи ко мне, – сказал Жан Поль.

Она посмотрела на него, боль затуманивала ее ясные синие глаза.

– Почему ты ненавидишь меня? – прошептала она. – Потому что я что-то сделала... раньше?

– Я не ненавижу тебя, – серьезно сказал Жан. – Когда-то я любил тебя. Может быть, я и сейчас тебя люблю. Но у меня есть жена, она Божий ангел. И ты замужем за прекрасным и честным человеком. То, что было, умерло и похоронено. Пожалуйста, оставим все так, как есть...

– Нет, – сказала Николь, – я... я не могу. Спаси меня Боже, Жан, не могу! Я женщина, а для женщины мораль это всегда нечто такое, что она принимает до тех пор, пока это не вступает в противоречие с велением ее сердца. А когда это происходит, она без зазрения совести выбрасывает мораль в окно. Я люблю твою Флоретту, я... я уважаю Клода. Но предам их обоих в тот же момент, когда ты протянешь мне руку...

Жан сидел неподвижно, глядя на нее.

– Даже если ты и не протянешь руку, – выдохнула она и начала искать его рот таким неистовым поцелуем, таким болезненным и жадным, что все отговорки оказались пустым звуком, и его большие руки помимо его воли обняли ее, а она, плача, прильнула к нему, ее руки проникли под его грубую рубашку, и пальцы заскользили по телу, лаская его, ошупывая каждый шрам, пока он не встал и, движимый чем-то

близким к ужасу, не оторвал ее от себя, выбежал из комнаты и спустился по лестнице.

Однако домой он не мог пойти. Смятение в уме и сердце гнало его по темным извилистым парижским улицам под безжалостными звездами. Ему необходимо было побыть одному. Он не собирался перебирать в уме случившееся или обдумывать свои взаимоотношения с Флореттой или свое место в этой ужасной пародии, которая стала теперь жизнью. Он вообще не хотел ни о чем думать; только побыть одному, ибо в данный момент присутствие любого другого человека, любимого, или вызывающего ненависть, или даже вовсе безразличного ему было бы несносно. Ему нужны были тишина, темные улицы и далекие звезды. Какой-то смутный отшельнический инстинкт руководил им, и он слепо повиновался ему.

Домой он вернулся на следующее утро довольно поздно и обнаружил ожидающего его визитера. Жан с тупым любопытством посмотрел на этого человека, сознавая, что лицо это ему знакомо, хотя и не знал, к какому моменту своего прошлого отнести этого человека, пока тот не заговорил.

– Вы Марен, не так ли? – спросил мужчина. – Вы не должны оставлять квартиру незапертой. Чертовски неосторожно с вашей стороны...

– Вы меня ждали, – сказал Жан, – так что совершенно очевидно, что вы не вор.

– Нет, не вор, – ровным голосом ответил человек, – но,

возможно, убийца. Меня зовут Жюльен Ламон, маркиз де Сен-Гравер, и я пришел убить вас.

С этими словами он хладнокровно вытащил пистолет с уже взведенным курком и направил его в сердце Жан Поля.

Жан довольно долго изумленно разглядывал его, затем, опираясь на свою палку, опустил на стул. Жюльен Ламон по-прежнему стоял с пистолетом в руке.

С губ Жана сначала сорвался тихий смешок, а затем он захохотал своим издевательским, ужасным, демоническим смехом, а Ламон уставился на него в изумлении и смятении, причем дуло пистолета в этот момент слегка опустилось.

– Вы сумасшедший? – прошептал он; но его реплика запоздала, ибо Жан неожиданно выпрямился и ударил Ламона своей тяжелой тростью по кисти, выбив у него пистолет.

– А теперь, – любезно сказал он, – мы можем обсудить проблему. Но прежде немного вина. Я должен проявить по отношению к вам гостеприимство...

Он встал, прошел по комнате и поднял пистолет, спустил курок, высыпал порох и вернул пистолет Ламону.

– Не думаю, – спокойно заметил он, – что вы захотите убить меня после того, как мы поговорим, но в Париже пистолет вам понадобится...

Он достал из буфета бутылку и бокалы.

– Почему вы смеялись? – поинтересовался Ламон.

– Потому что ваше лицо мне знакомо, – улыбнулся Жан, – но я не сразу узнал вас, пока вы не представились. У вас мое

лицо, каким оно было до этого шрама...

Ламон взгляделся в него и понял, что Жан сказал правду. Он взял бокал, который протягивал ему Жан.

– А теперь, – сказал Жан, – объясните, почему вы хотите меня убить?

– Из-за Николь. Около года назад Люсьена Тальбот сказала мне, что я глупец, если верю, что Николь осталась мне верна. Я... я думал, что она умерла, но незадолго до того разговора один подлый мерзавец, который вышел здесь из фавора, бежал через границу и представил мне доказательство, что Николь жива. Когда я сказал об этом Жерве, Люсьена расхохоталась и сказала: “Ищите ее в Париже, потому что там Жан Поль Марен...”

– И вы приехали сюда, – заметил Жан.

– Так скоро, как только сумел. Это оказалось дьявольски трудным. Потребовалось четыре месяца, чтобы добыть необходимые поддельные бумаги. И еще месяц, чтобы добраться сюда. Остальное время я потратил, обшаривая парижские улицы одну за другой. Я не решался задавать вопросы, – моя речь, мое произношение сразу бы выдали меня...

– Но вы нашли ее.

– Да. Я встретил ее на улице, но она сделала вид, что не узнает меня. И вот тогда я начал верить Люсьене. Я стал следить за Николь изо дня в день. А вчера вечером я увидел, как вы вошли с ней в ее квартиру и... остались там.

Если бы Жан не уделял столько внимания своему посети-

телю, он различил бы звук, который исходил с лестничной площадки, где появилась Флоретта и стояла, прислушиваясь к их голосам. Этот звук был знаком ему. Он слышал его много раз на поле боя. Этот смертельный хрип – даже если он вырывается из женского горла – всегда одинаков.

– Почему же вы не поднялись наверх? – спросил Жан.

– Боялся того, что мог там увидеть. Я знал, что в ярости могу убить вас обоих. А я не хотел убивать Николь. Я хотел только простить ее и вернуть...

– Это очень благородно с вашей стороны, – насмешливо заметил Жан, – но вам не за что было бы прощать ее. Если бы вы подождали десять минут, вы увидели бы, как я выхожу...

“Зачем ты лжешь, мой муж? – воскликнула в сердце своем Флоретта. – Ты же не боишься его, почему же ты лжешь? Всю ночь... ты провел с ней! О, Боже!”

Она повернулась и побежала вниз по лестнице, не думая о том, что не видит ступенек.

– Вы вышли? – с надеждой в голосе переспросил Жюльен. – Это правда, Марен?

– Послушайте! – зарычал Жан. – С меня довольно этих глупостей! Ваша жена, Ламон, больная женщина. Она не притворяется, что потеряла память. Сейчас она на грани безумия. Если бы вы оставались дома и защитили ее и своих детей, как это должен делать муж, она бы сегодня не находилась в таком состоянии. Потому что с ней это приключилось после того, как у нее на глазах убили ее детей!

– О, младенец Иисус! – всхлипнул Жюльен. – Марен, Бога ради...

Жан тронул его за плечо.

– Простите, – сказал он. – Это было жестоко с моей стороны. Ваша жена ближайшая подруга моей жены. Я изо всех сил старался защитить ее и помочь ей. Когда-то я любил ее, это было задолго до того, как вы женились на ней. Сейчас же я испытываю к ней только одно чувство – жалость...

– Извините меня, – сказал Жюльен Ламон. – Я не знал...

– Теперь знаете. Хочу дать вам один совет, месье Ламон. Немедленно уезжайте из Парижа. Сейчас здесь жизнь аристократа не стоит и свечки.

– Я знал это, – прошептал Ламон, – и шел на этот риск. Но теперь я не могу уехать, не забрав с собой Николь.

– Это ваше дело, – пожал плечами Жан, – но, Бога ради, будьте осторожны. Если вам суждено быть гильотинированным, не тащите ее с собой. Мы очень любим Николь, моя жена и я...

– Спасибо, – сказал Жюльен Ламон и пожал протянутую Жаном руку.

После бессонной ночи ожидания, когда наконец рассвело, Жан отправился на квартиру Пьера. Дверь открыла Марианна, ее широкое лицо выражало презрение.

– Убирайся отсюда, Жан Марен! – выпалила она. – Она не

хочет видеть тебя!

– Может, у тебя хватит воспитания, – сердито сказал он, – объяснить мне, почему?

– А ты не знаешь? И чего только иные женщины не делают, чтобы украсть чужого мужа! А бедная слепая ничего не видит. Знатное происхождение не укрепляет женскую мораль, так ведь, Жан Марен? Надеюсь, ты получил свое удовольствие, потому что оно стоило тебе жены!

С этими словами она захлопнула дверь перед его носом и задвинула засов. Не открыла она и на его бешеный стук.

– Бог ты мой! – вырвалось у него. – Мог ли кто-нибудь на всем белом свете когда-либо вообразить такое!

Он повернулся и пошел прочь от этого дома, передвигая ноги как очень уставший и очень старый человек.

Он знал, где найти Флоретту. Это было нетрудно. Портняжное предприятие, основанное ею, Марианной и Пьером, смогло выдержать бурю, вызванную абсурдными мерами эбертистов и монтаньяров, так что Флоретте не угрожала страшная перспектива вновь продавать цветы на улицах. Потребности ее были невелики и даже при том, что оборот фирмы осенью 1793 и зимой 1794 года сократился, ей на жизнь хватало. Жан сразу же понял, что она найдет убежище у дю Пэнов; не знал он другого: что никакие протесты с его стороны, никакие просьбы не растопят ее ледяную решимость.

“Это я ей дал, – с горечью думал он, – эту железную гордость. Иначе и не могло быть. Я из попрошайки превратил ее в женщину, нет, более того, в принцессу; и хотя это превращение погубило меня, все равно это прекрасно”.

В конце концов, когда он после пятой или шестой попытки увидеть Флоретту возвращался в свою одинокую квартиру, ему пришло в голову, что в этой ситуации есть своя положительная черта: когда у человека отбирают что-либо, он начинает это ценить. Теперь он с полной уверенностью знал, что любит Флоретту, что эта любовь не имеет ничего общего с жалостью или с желанием защитить ее, не связана с ее слепотой или еще с полудюжиной любых несообразностей. “Те-

перь она зрелая женщина, – думал он, – она справилась со своей слепотой, более того, она справляется с жизнью. Ибо, когда человек отказывается подчиняться, он самоутверждается в жизни, а Флоретта твердо отказывалась склоняться перед тем, что считала неправильным... Она храбрее меня. Она скорее отказалась бы от меня или умерла, чем произнесла бы слова клятвы перед присягнувшим новой власти священником. Думаю, она все еще меня любит, но скорее откажется от меня, чем согласится на осквернение нашей любви или смирится с существованием другой женщины... Я могу пойти к Николь и убедить ее рассказать Флоретте правду, но что толку? Флоретта поверит ей, полагаю, еще меньше, чем она верит мне. Это слишком трудно объяснить, даже Пьер не поверит, что я всю ночь ходил по улицам, потому что был в смятении и хотел побыть в одиночестве...”

Он горько рассмеялся, подумав о том, что небольшая ложь могла бы сослужить хорошую службу. Но в этой ситуации он не мог солгать; он слишком часто видел, как благородная цель оскверняется недостойными для ее достижения средствами. Он мог существовать, имея кое-какую ренту и припрятанную значительную часть денег, оставленных ему отцом, хотя воспользоваться этими деньгами он не мог, поскольку в ходу были новые монеты. Обменивать золотые монеты невозможно, потому что в мире, полном подозрительности, достаточно самого факта обладания золотом, чтобы осудить человека. Но Жан Марен готов был оберегать свой

мирок и жить тихо, устранившись от всякой политики, пока не настанет день, когда он и другие люди его склада смогут выступить. Его жизнь во всех отношениях состояла теперь из ожидания...

Он даже привык к этому и испытывал некое мрачное удовлетворение от своего одиночества, зная, что в любой момент может покончить с ним, отправившись к Николь. То обстоятельство, что он не наносит ей такой визит, служило ему источником гордости. Когда не остается ничего больше, говорил он себе, человек выживает. Он скрашивал скуку своего ожидания, посещая ежедневные казни, ибо террор приобрел теперь невиданный размах. Казни ужасали его, но верх брала двойственность его натуры, а бесконечная череда смертей обладала некоей притягательной силой. Он говорил себе, что существует определенная связь между тем, каким был человек, и тем, как он умирает. Он убеждался, что только люди, обладающие честью, оказывались способны кончить жизнь достойно. Утром 10 ноября 1793 года Манон Ролан подтвердила ему это.

Она, гордая, невозмутимая, подошла к эшафоту, держа за руку старика Ламарка, трясущегося от страха, помогла ему сойти с двуколки, попросила дать ей перо и бумагу, чтобы записать некоторые странные мысли, пришедшие ей в голову, в чем ей отказали. Тогда она обратилась с еще одной просьбой: чтобы старика казнили первым, потому что вид ее крови обессилит его. Потом, все такая же гордая и прекрас-

ная, поднялась по ступенькам; осужденная за какую-то чепуху по сфабрикованным обвинениям, она, будучи душой и сердцем казненных жирондистов, женой своего мужа, глянула на уродливое, осыпающееся гипсовое чудовище, названное ими Свободой, и сказала ясным громким голосом, разнесшимся по всей площади Революции:

– О, Свобода, какие преступления совершаются от твоего имени!

Так вслед за Марией Антуанеттой умерла вторая женщина Франции, потому что революция, как всегда, во все времена и везде, пожирала своих собственных детей...

Возвращаясь с площади Революции и перебирая мысленно все увиденное, Жан заметил шумную толпу фигляров, одетых в священнические рясы и митры, пьяных, смеющихся и распевających песни. Явными пленниками в этой процессии тащились депутаты Собрания.

– Чем хорошо безделье, – посмеялся сам над собой Жан, – оно поощряет вмешательство в чужие дела. Но это редкое и любопытное зрелище, а чем еще мне заняться?

Он смешался с толпой. Толпа перелилась через мост на остров Святого Людовика, и Жан понял, что они направляются к собору Нотр Дам. Собор уже не был церковью, над его входом висела странная надпись: “Храм Разума”. Внутри собор изменился еще больше: статуи седых святых выброшены из ниш, на их месте установлены бюсты Марата и других революционных “героев”, распятия сломаны, выбро-

шены, изображения ангелов уничтожены, а высоко на алтаре девица Кандейль из Оперы, завернувшаяся в прозрачную ткань, представляла собой Богиню Разума. Рядом с ней расположились другие актрисы, еще более обнаженные, их балетные туники прикрывали фигуры только от бедер до талии, все же, что выше, демонстрировалось так, как создала природа.

Жан рассматривал их с холодной усмешкой, раздумывая над тем, что изобретение одежды было одним из серьезных достижений цивилизации, ибо так редко встречается достаточно красивое тело, чтобы открыто демонстрировать его людям.

Его насмешливый взгляд в конце концов задержался на одной фигуре, заслуживавшей внимания: гибкой, высокой девушке с великолепной грудью – высокой, острой, крутой, и его врожденное любопытство заставило его взглянуть на ее лицо, чтобы убедиться, соответствует ли оно совершенству ее тела. Оно соответствовало – и даже более того. Он остолбенел, у него перехватило дыхание от удивления, губы шевелились, выговаривая ее имя.

– Люсьена! – выдохнул он.

Потом очень тихо начал смеяться. Он был достаточно осторожен, чтобы не хохотать громко, так как она могла услышать его. Однако что-то в сосредоточенности его взгляда привлекло ее внимание, и ее карие глаза встретились с его глазами, после чего ее зрачки расширились в непритворном

ужасе. Он стоял, изумленно глядя на нее, и лицо его было искажено этим нечестивым смехом, который казался тем более страшным, что она не могла его слышать.

Теперь они пели гимн, сочиненный Мари-Жозефом Шенье на музыку Госсека:

Приходи, о, Свобода, дочь Природы...

После этого главари эбертистов вставляли один за другим и разглагольствовали, сообщая о закрытии церквей, о необходимости атеизма, о величии возвращения к чистому разуму. Жан не прислушивался к легкомысленным глупостям, которые лились потоком из их уст. Его глаза были прикованы к Люсьене Тальбот, терзали ее своим взглядом.

Представление становилось все более необузданным – взад и вперед носили святые дары, издевательски подражая причастию, зрители раздражались пьяным гоготанием. Из боковых приделов, отгороженных занавесями от остального храма, до Жана доносились другие звуки: Эбер, Шомет и их сподвижники не стеснялись поклоняться культу более древнему, чем служение разуму, восходящему к почитателям Астарты в Ниневии, и еще более древним.

“Храмовые проститутки”, – тихо засмеялся Жан, но смех его был полон презрения. Существует ли вообще какое-нибудь непотребство, недоступное этим грязным свиньям?

Спустя полчаса он получил ответ на свой риторический

вопрос: границ испорченности нравов у эбертистов не было совершенно никаких и ни в чем. В священных стенах собора Нотр Дам полуобнаженные танцовщицы из Оперы под жадными руками парижских подонков быстро оказались совершенно голыми, и то, что началось как танец, превратилось в такую животную оргию, что Жана покинула даже присутствующая ему насмешливость. Ему неудержимо захотелось блевать, освободиться от омерзительнейшего ощущения в животе.

Он повернулся, перешагивая через корчащиеся, переплетенные на полу тела, заткнув уши, чтобы не слышать животных стонов, непристойных ругательств, но прежде чем он добрался до двери, кто-то крепко схватил его за руку. Он полуобернулся, поднимая свою тяжелую трость, чтобы нанести удар, и рука его замерла, а потом медленно опустилась; он глядел в карие глаза с насмешкой и презрением; полуулыбка искривила его изуродованный рот, потом стала жестокой, как сама смерть.

– Жан, – тяжело дышала она, – пожалуйста, Жанно, уведи меня отсюда!

– Почему? – засмеялся он. – Думаю, ты находишь свое окружение вполне соответствующим...

– О, Жан, Жан, я не знала! Поверь мне, я не знала! Они сказали мне, что это будет просто праздник...

– И ради этого просто праздника, – насмешливо произнес он, показывая своей железной тростью на ее обнаженную

грудь, – ты вот так оделась!

– Я не знала! – всхлипнула она. – Мы должны были давать представление. Бога ради, Жанно, уведи меня отсюда!

Жан улыбнулся, глядя ей в глаза и не помогая накинуть плащ, который был с нею. Затем взял ее за руку и повел к двери; но вакханалия уже выплеснулась на улицы, и толпа полуобнаженных дикарей танцевала фарандолу и карманьолу, распевая куплеты, целиком состоящие из слов, которые нельзя печатать ни на одном языке мира, и совершая при свете дня все те акты, которые люди всегда скрывают от посторонних глаз...

Жан не стал утруждать себя поисками фиакра – после восстания религиозных жителей Вандеи и волнений в Марселе и Лионе так много лошадей было реквизировано для армии, сражающейся с врагами внешними и внутренними, что какой бы то ни было общественный транспорт прекратил существование. Он шел, а Люсьена, повиснув у него на руке, внимательно изучала его. Он немного постарел, она могла это видеть; в волосах было больше седины. Но это был он. На его узком лице прибавилось морщин. Ему оставался год до тридцатилетия, но выглядел он гораздо старше; его волосы и лицо носили следы тревог и печалей, а не возраста. Фигура у него по-прежнему была отличная, и что-то в ней появилось новое – спокойствие, достоинство, самообладание, которое она нашла странно возбуждающим...

– Ты был ранен, – прошептала она.

– Да, – кратко ответил он. – Война, идет война, ты знаешь...

– Знаю, – сказала Люсьена. – Тяжелое ранение?

Он посмотрел на нее своими большими черными глазами.

– Нет, укус блохи. Я рожден для гильотины.

При слове “гильотина” ее улыбка застыла. Ведь достаточно ему сказать одно слово, и она тоже “чихнет в мешок” или ее “укоротят”, как выражаются они на своем гнусном жаргоне. Я становлюсь, подумала она, его пленницей, его рабыней. Он может делать со мной все, что захочет, и мне нет спасения. Слава Богу, я сохранила свою фигуру. Однажды я его отравила собой – я могу это сделать еще раз. Я знаю его слабость ко мне. Это большая удача, что природа сотворила мужчин такими чувственными животными, а иначе женщины никогда не могли бы управлять ими...

Но когда они дошли до ее маленькой и бедной комнаты, она была сама нежность. Она приготовила ему ужин, поставила на стол вино, и только когда он поел и выпил, она присела на ручку его кресла и принялась ласкать своими гибкими пальцами его жесткие волосы.

– Жанно, ты даже не представляешь себе, как это хорошо опять оказаться дома...

– Так ли уж? – холодно спросил он.

– Знаю, ты считаешь меня лживой. Я действительно была такой. И только когда я попала в Австрию, я поняла насколько ошибалась. Они все глупые напыщенные идиоты, среди

них нет ни одного настоящего мужчины. Такого, как ты, мой Жанно...

– Спасибо, – невозмутимо отозвался он.

– Кроме того, я не причинила никому никакого вреда. Все, о чем я сообщала, происходило здесь, во Франции, и они не знают, что сейчас делать. Они бессильны, они конченые люди. Все короли конченые, будущее за простым народом...

– Ты наскучила мне, – прервал ее Жан. – Я наслушался лживой риторики, так что мне хватит на всю жизнь...

Он дотронулся до своей трости, и в ее глазах мелькнул страх.

– Не уходи, – попросила она. – Остайся со мной на эту ночь, Жанно, и на все другие ночи. Я... я так одинока...

Жан посмотрел на нее и улыбнулся.

– Лгунья, – сказал он.

Она подошла к нему, прикрыв свои карие глаза дивными ресницами, ее рот оказался совсем близко от его рта.

– Я хочу тебя, – с чувством проворковала она. – Я никогда не знала другого мужчину, такого, как ты. Ты заставляешь все мое тело сгорать от желания, а потом я мурлыкаю от удовольствия... Иди сюда, Жанно, забудь прошлое. Люби меня, как любил раньше. Я никогда больше не покину тебя, никогда, никогда!

Жан оперся на свою трость и встал.

– Ты фантастическая женщина, Люсьена, – сказал он, – ты

действительно фантастическая женщина.

– Жан, – взвизгнула она, в голосе ее звучал ужас, – не уходи! Пожалуйста, не уходи!

– Ты можешь быть спокойна, – мягко сказал он. – Я не выдам тебя властям. Мне безразлично, будешь ты жить или нет, но я тебя не выдам. Не ради тебя, Люсьена, а ради самого себя. Видишь ли, моя дорогая, есть вещи, через которые я не могу перешагнуть.

Он надел шляпу и невозмутимо вышел за дверь.

Однако в течение последующих двух недель одиночество его жизни дважды нарушалось. Сначала это была Николь, в ее синих глазах застыл ужас, когда она ворвалась в его комнату, где он сидел у камина.

– Жан! – выкрикнула она. – Ты должен спасти меня! Этот человек, этот сумасшедший не оставляет меня в покое! Он клянется, что я замужем за ним, а не за Клодом. Он говорит, что у нас были дети! О, Жан, Жан, заставь его не приставать ко мне, прогони его!

Жан взглянул на нее.

– Сделаю все, что смогу, – устало произнес он, – но, думаю, было бы лучше, если бы ты уехала. Например, присоединилась к Клоду в Марселе...

В ее глазах вспыхнули гневные огоньки.

– Считаешь меня сумасшедшей, – прошептала она, – так ведь? Хочешь избавиться от меня...

– Я знаю, ты больна, – мягко возразил он. – Послушай,

Николь, у меня на теле шрамы от ран, и их можно видеть. Твои раны глубже моих, они на твоей душе. Твой разум отказывается вспомнить то, что произошло с тобой. Если это сумасшествие, я его одобряю. Я принимаю все в тебе, что сопротивляется этим воспоминаниям. Пусть лучше они останутся забытыми...

По ее милому детскому личику промелькнуло хитрое выражение. Будь он более опытен в таких ситуациях, он распознал бы, что за этим кроется хитрость, близкая к сумасшествию.

– У меня нет денег, – сказала она, – иначе я уехала бы...

– Я дам тебе денег, – ответил, вставая, Жан.

– Спасибо, – поблагодарила Николь. – А где Флоретта?

– Пошла навестить Марианну, – солгал Жан. Лучше, моя бедняжка, если ты и этого не будешь знать...

Он достал деньги и протянул ей. Она взяла их и прижала к груди.

– Спасибо, Жан, – сказала она, – ты очень добр...

Он подумал: странно, что она не упоминает их последнюю встречу, но при этом испытал облегчение. Когда она ушла, он вновь предался своим одиноким раздумьям. Возможно, наступит день, когда Флоретта вернется. Придет день, когда между ними воцарится любовь и радость.

После ухода Николь он задумался над тем, этично ли было посылать ее к человеку, за которым она не замужем, а не к тому, кто является ее законным мужем. Но в жизни все

не так просто, как кажется. Послать ее к Жюлье-ну – значит соединить ее жизнь с человеком, которого она не помнит, вернуть ее в ужасное прошлое. Этот путь ведет к безумию. Хуже того, это значит связать ее с человеком обреченным, наверняка бросить ее под свистящий нож гильотины, приговорить ее, ни в чем не повинную, к смерти только за тот образ жизни, частью которого она даже не была и припомнить который не может...

“Доброта, справедливость, доблесть, истина, – с горечью рассуждал он, – все зависит от обстоятельств. Я сам сотни раз совершал убийства, но люди считают это доблестью, ибо я убивал не ради себя, а защищая родину. Во всяком случае так она живет, и я сделаю то, что могу...”

Однако в последующие недели он почувствовал, что за ним следят – он слышал легкие, осторожные шаги на некотором расстоянии, но как бы быстро он ни оборачивался, никого заметить не мог. В конце концов он отбросил эту мысль, отнеся ее на счет нервов. Нынешний климат в Париже может кого угодно свести с ума...

Жизнь продолжалась. 24 ноября Конвент закрыл в Париже все церкви, в течение последующих двадцати дней 2446 церквей по всей Франции были превращены в нечестивые “Храмы Разума”. Ролан де ла Платьер, узнав о казни своей жены, заколол себя. Клавьер принял яд. Смертоносные тележки без конца скрипели по парижским улицам. Дантон 21 ноября вернулся в Париж после добровольного месячного

изгнания в Арси. Лев подобрел, понимал Жан, но вот насколько, ему еще предстояло узнать.

1 декабря Жан узнал из первых рук об удивительной трансформации Дантона, поскольку в этот день к нему явился посетитель. Открыв дверь и увидев перед собой тонкого, на редкость красивого Камиля Демулена, Жан Поль не мог скрыть своего удивления.

– Заходите, – пригласил он. – Присаживайтесь, гражданин Демулен. Признаюсь, не ожидал...

– О, да, – улыбнулся молодой журналист. – Я знал, что вы будете удивлены. Однако в известном смысле вы не должны удивляться – гора в конце концов приходит к пророку...

– Вы говорите загадками, – заметил Жан Поль.

– Да, знаю. Как мне не больно это признавать, дело обстоит весьма просто: время и опыт заставили нас признать, что вы были правы – единственным работоспособным, чего-то стоящим правительством может быть только умеренное правительство...

– Вы говорите “нас”? – удивился Жан Поль.

– Дантон и я. Даже Робеспьер нас одобряет. Но послал меня к вам Дантон. Отправляйся к Марену, сказал, это твой человек...

– Я? – удивился Жан.

– Да. Мы начинаем новую газету “Старый кордельер”. Я принес вам несколько статей. Прошу вас их прочитать...

Жан взял листы, исписанные летящим почерком самого

Демулена. Это были три статьи, приготовленные для печати. Первые две выглядели вполне безобидно, хотя в них и содержались намеки на грядущие большие события. Третья же статья смело нападала на эбертистов, с ядовитым красноречием призывая к политике милосердия.

Жан поднял глаза на Демулена.

– Идеи принадлежат Дантону, – сказал молодой журналист. – Мое только изложение.

– Значит, Дантон приготовился к смерти, – заметил Жан, – потому что в случае прекращения террора он, как один из его инициаторов, окажется неминуемой жертвой возмездия. Если же новая политика потерпит крах, то погибнут и ее сторонники...

– Он это понимает, – с некоторым напряжением в голосе произнес Демулен, – но Жорж Дантон действительно великий человек. Только мелкие людишки, гражданин Марен, боятся признавать свои ошибки и искупать их...

– Morbleu! – выругался Жан. – Не могу в это поверить!

– Тем не менее это так. Дантон верит, что его личное обаяние поможет ему преодолеть все затруднения, но в глубине души он готов умереть. Он патриот, гражданин Марен, и за это я уважаю его...

Жан сидел неподвижно, глядя на своего гостя. Из всех проявлений человеческой природы, с которыми трудно согласиться, самым трудным является их несовместимость. Огромный, рыкающий, бесконечно сложный Дантон, Дантон

сентябрьской резни; но это и Дантон, который убивал, всегда веря, что это делается ради Франции, Дантон, готовый прекратить казни, если милосердие лучше их послужит стране. Обманщик, рычащий, вульгарный, но это здоровая вульгарность, а не пустая и непристойная, как у Эбера, Дантон, которого, как и Жана, тошнило от растленности эбертистов; Дантон, который может измениться, который достаточно велик для того, чтобы...

– Вы говорите, Робеспьер читал эти статьи? – спросил Жан.

– И одобрил. Поправки в рукописи внесены его рукой.

– И чего же вы хотите от меня, гражданин Демулен?

– Чтобы вы сотрудничали с нами. Открыто или тайно, нам все равно. Нам нужен ваш опыт, ваши идеи...

Жан улыбнулся.

– Тайно? – спросил он. – Когда Робеспьер имеет к этому хоть какое-то отношение...

Улыбка. Демулена стала почти насмешливой.

– Бойтесь? – поддел он Жана.

– Нет, – улыбнулся Жан. – Но считаю своим долгом сохранить свою жизнь и как можно больше жизней людей умеренных, до тех пор пока не придет время, когда мы сможем выступить. Любой человек, доверяющий Максимилиану Робеспьеру, дурак. Он предаст собственную мать, если обстоятельства этого потребуют. Я буду сотрудничать с вами и Дантоном, потому что я доверяю вам, но этому маленькому ко-

варному чудовищу я не верю. Он не должен знать, что я с вами...

– Хорошо, – согласился Камиль Демулен.

Когда он открывал дверь, чтобы выпустить

Демулена, они оба услышали стук женских каблучков по лестнице. Демулен пожал руку Жана и начал спускаться по лестнице, поклонившись по пути поднимавшейся Люсьене Тальбот.

– Жан, – спросила запыхавшаяся Люсьена, – кто этот красивый молодой человек?

– Зачем тебе? – резко отозвался Жан.

– О, не будь таким колючим! – Она насмешливо улыбнулась. – Это из-за него ты пренебрег мною? Вот уж никогда не думала, что твои фантазии приведут тебя к красивым мальчикам!

Жан тут же распознал ее попытку спровоцировать его на откровенность.

– Это был, – безразличным голосом сообщил он, – Камиль Демулен. Он приходил по делу...

– Ах, опять политика. Теперь ты стал дантонистом! Ты не перестаешь удивлять меня, Жанно...

– Кто я и кем стал, не твое дело, Люсьена, – сказал он. – Что тебе от меня нужно?

– О, ничего, просто светский визит. Возможно, я хотела узнать, не переменил ли ты своих намерений. Я настойчивая женщина, Жан...

– Во всем, что так или иначе имеет отношение ко мне, ты со своей настойчивостью можешь отправляться прямо к дьяволу, – сказал Жан. – А теперь уходи, мне нужно работать...

К его удивлению, она ушла.

Он удивился бы еще больше, если бы мог представить, какие мысли зарождались в ее красивой головке, когда она спускалась по лестнице. У нее забрезжила новая идея. Идея была еще смутной, неоформившейся, но уже засела в ее мозгу и будет развиваться.

“Значит, Жан вновь занялся политикой, – думала она. – Но сегодня политика почти неизбежно кончается тележкой, которая отвозит на площадь Революции. Он дурак, что идет на такой риск. Да, он дурак, но моя жизнь в его руках. Плохо, когда оказываешься во власти дурака... Если бы я могла завоевать его вновь... но он прогоняет меня. Люди поднимают так много шума вокруг того, что женщина делает со своим телом, но мое тело принадлежит мне. Кроме того, заниматься с Жаном любовью было исключительно приятно. Таким путем я могла бы связать его и была бы в безопасности. Но он дурак, благородный дурак, и я не в безопасности. И никогда не буду, пока он отвергает меня, а он достаточно упрям, чтобы отвергать меня, пока жив...”

Она остановилась, одна ее ножка замерла, не ступив на следующую ступеньку.

– Пока он жив... – прошептала она. – Пока он жив...

Она полетела вниз по лестнице так, словно все силы ада

преследовали ее. Так оно и было. Но только в ее собственном мозгу.

“Это тянется слишком долго, – сказал себе Жан. – Я просил, умолял, убеждал, но на мою бедную Флоретту ничего не действует. Но есть и другой язык, который она понимает, потому что она женщина. Разум Николь ничего не помнит, но тело ее хранит память. Такие вещи нельзя легко забыть, тем более когда в них было столько нежности, столько прекрасного, как было между Флореттой и мной...”

Он оделся особенно тщательно и спустился по лестнице. Уже через несколько минут он поднимался в квартиру Пьера, поскольку оба дома были совсем близко друг от друга, и постучал в дверь.

Открыла ему Флоретта.

– Да? – спросила она.

– Я пришел забрать тебя домой, – сказал Жан.

– Нет, – закричала она. – Я не пойду! Если ты, Жан Марен, думаешь, что я...

Дальше она не смогла продолжать. Его большие руки обхватили ее за плечи. Он притянул ее к себе, зажав ее уклоняющуюся голову одной рукой, нашел своим ртом ее рот и начал его ласкать медленно, нежно и долго, пока не ощутил ее слезы на своих щеках, почувствовал их солоноватость, пока наконец она не подняла свои маленькие ручки и ее пальчики

не зарылись в его жестких волосах. Тогда он чуть наклонился и поднял ее на руки.

– Жан, – сказала она странным голосом, – ты без трости...

– Она мне больше не нужна, любовь моя, – ответил он. – Уже несколько недель я не пользуюсь ею... Пусть тебя это не волнует, мы идем домой.

Но когда он дошел до своего дома, она прошептала:

– Отпусти меня, Жан. Я пойду сама. Ты однажды нес меня здесь – тут пять лестничных пролетов.

Он улыбнулся, услышав в ее голосе почти материнскую нежность, но не отпустил.

Войдя в квартиру, он опустил ее на пол, и она тут же обернулась к нему, привстала на цыпочки и стала целовать его рот, лицо и шею с плачем:

– О, Жан, какой ты большой глупец! Сколько времени тебе потребовалось, чтобы догадаться, что нужно делать! Ты приходил ко мне с аргументами, объяснениями. Любимый, я женщина, а женщины не хотят, чтобы их убеждали, женщину нельзя убедить доводами рассудка, потому что она знает: важно не то, что человек думает, а то, что он чувствует!

Он нежно целовал ее.

– Неуклюжий медведь! – всхлипывала она. – Как много времени ты потерял! Я просиживала там целые дни напролет, ожидая тебя, чтобы сказать: “Я люблю тебя!”, жаждала, чтобы ты обнял меня, а ты вместо этого меня убеждал! Жан, Жан, неужели ты не знаешь, что есть только одно место, где

мужчина всегда может убедить женщину!

– И где же оно? – спросил Жан.

– В постели, дурак! – шепнула Флоретта. – И именно там я сейчас окажусь!

Но он, глядя на нее, гибкую, длинноногую, идеально сложенную, медлил, лаская ее взглядом. Тогда она приподнялась, опираясь на локти, с притворной яростью схватила его за уши и стала раскачивать его голову взад и вперед, смеясь:

– Притворись, будто я твоя любовница, Жан! У тебя нет жены, я твоя любовница и ужасная распутница! Притворись...

– Зачем? – хмыкнул Жан.

– Потому что мужчины глупцы! Произносят “моя жена” и сразу же вступают в права скучнейшие прописные истины и добропорядочность. Не хочу, чтобы меня уважали, я хочу, чтобы меня любили! Слушай, ты, прадед глупости. У меня мертвые глаза, но все остальное во мне живо, я не больная и не слабенькая или утонченная. Ты всегда был так нежен со мной, что мне хотелось визжать! А сегодня я буду мадемуазель Кандейль из Оперы или последней девкой из Пале-Руайяля, и я не хочу, чтобы со мной церемонились! Слышишь меня, я не хочу! Только попробуй, и я опять убегу от тебя!

Жан смотрел на нее, и в глазах у него искрился задорный смех. Потом он схватил ее и сжал в таком крепком объятии, что весь воздух вырвался из ее легких. Тогда он слегка ослабил свою хватку, чтобы она могла вздохнуть.

– Ага, – произнесла она, – это уже лучше, Жан...

– А это? – грубо спросил он.

Она не ответила. Ее черные брови взметнулись вверх, а лицо исказилось гримасой боли. Но очень быстро эта гримаса исчезла.

– Почему ты остановился, мой муж? – спросила Флоретта. Поскольку Жан Поль не ходил к своим новым коллегам, им приходилось самим навещать его. И все это видела Люсьена Тальбот, которая вела постоянное наблюдение за его квартирой с улицы. Ей было совсем не трудно проскальзывать вслед за ними вверх по лестнице, ей даже не нужно было подслушивать у двери Жана, поскольку даже шепот Дантона сотрясал окна, а когда он говорил в полный голос, его было слышно за полквартила, а то и дальше. Ей было совершенно не обязательно слушать то, что говорят Камиль или Жан

Поль, из рева Дантона она могла восстановить остальной разговор.

Она не знала, какую пользу сумеет извлечь из информации, которую добывала. Когда могла, она посещала заседания Конвента, и даже на ее неопытный взгляд там был совершенно очевидный тупик. Робеспьер, как змея, петлял между эбертистами и дантонистами, поддерживая то одну партию, то другую. Если бы он обрушился на партию Дантона, планы Люсьены прояснились бы, но никто до сих пор не знал, чью

сторону займет изошренный маленький адвокат.

Она стояла на лестнице этажом ниже и слышала громовой хохот Дантона:

– Тибодо сказал мне то же самое! И вы знаете, Марен, что я ему ответил? Что, если Робеспьер рискнет напасть на меня, я съем его живым со всеми потрохами!

Люсьена подошла поближе. Теперь она могла слышать и голоса других собеседников.

– Вы понимаете, – говорил Жан Поль, – мое нежелание сотрудничать с человеком, несущим ответственность за сентябрьскую резню...

– Я несу ответственность, – громыхал голос Дантона. – Я думал тогда, что это необходимо для спасения Франции. Но даже я спас тогда столько достойных людей, сколько смог. Я не мог спасти жирондистов, но поверьте мне, Марен, я был болен от горя, я плакал как ребенок. Вы говорите, что не доверяете Робеспьеру. Я тоже, но я рассчитываю на его трусость. Он и его цепные псы не рискнут обвинить меня – я святыня. Так что мы должны расширять эту политику милосердия и на них: предоставьте Робеспьера и Сен-Жюста самим себе и вскоре во Франции из политических траппистов останется только Тибодо...

– Вы рискуете жизнью, – заметил Жан Поль.

– Знаю, но я предпочитаю быть в конце жизни гильотинированным, чем гильотинировать...

Услышав какое-то движение, Люсьена сбежала вниз по

лестнице. У выхода на улицу она почти столкнулась с маленькой женщиной. Люсьена остановилась, разглядывая вновь пришедшую, заметила ее бледность, огромные синие глаза и серебристые волосы. Она увидела, что женщина красива или была красивой, но в ее лице чувствовалось нечто разрушающее эту красоту.

Она сумасшедшая, подумала Люсьена, но тут маленькая женщина заговорила:

– Месье Марен? Он наверху?

– Да, – спокойно ответила Люсьена, – но на вашем месте я не стала бы подниматься. Он ужасно занят...

– Вот как, – произнесла маленькая женщина, потом добавила: – Большое спасибо, мадам...

– Je vois en prié⁶⁶, – ответила Люсьена и пошла прочь, думая: “А у тебя есть долги, Жанно. Неужели нет конца твоим победам?”

Наконец-то вышел первый номер “Старого кордельера”, отпечатанный мастерами, которых нашел по просьбе Жан Пьера дю Пэн, поскольку Десенн, старый печатник Демулена, был слишком напуган, чтобы прикоснуться к такому изданию, и таким образом “La Faction des Indulgence”⁶⁷ вышел в свет на политическую арену, вызвав в распятом теле Франции трепет надежды.

Но не надолго. Люсьена Тальбот, наблюдавшая с галереи в

⁶⁶ Пожалуйста (фр.)

⁶⁷ “На службе милосердия” (фр.)

ожидании своего часа, видела все это. 25 декабря Робеспьер с непостижимой подлостью, запуганный Колло, этим кровавым чудовищем, организатором лионской резни, отрекся. Выступая в Конвенте, Робеспьер, как и предсказывал Жан, предал Дантона и Демулена, поклявшись в своей вечной преданности террору. 2 февраля эбертисты, которых Робеспьер, убежденный деист, ненавидел за их атеизм и которых он сам арестовал, были освобождены.

“Время пришло, – подумала Люсьена, – пора!”

И все-таки ей трудно было заставить себя пойти на это. Видя Жана в другом конце галереи, сгорбившегося подобно раненому колоссу, она испытывала нечто вроде жалости. Жалость и память. Отблеск неистовой чувственной любви, которая была между ними, все еще сдерживал ее.

Тупиковая ситуация продолжалась весь февраль. Эбертисты визжали и выкрикивали свои пустые угрозы. Дантон метал молнии подобно Юпитеру. А лицемерный Робеспьер хранил молчание.

Потом в Париж вернулся Сен-Жюст. Молодой, красивый, невероятно храбрый, он был правой рукой Робеспьера, придавая “вождю” решимость, которой тому не хватало.

– Вы колеблетесь? – говорил он Робеспьеру. – Речь идет не о выборе между эбертистами и дантонистами. И те, и другие должны уйти. И те, и другие представляют собой опасность для государства...

Первыми пришел черед эбертистов, они были более лег-

кой добычей. 17 марта они предстали перед трибуналом, 24-го их отправили на гильотину; они плакали и просили о пощаде, проявляя трусость, такую же отвратительную, как и их прежняя заносчивость. Люсьена Тальбот, видя все это, плакала:

– Я пропала! Я должна завоевать его снова, я должна!

Но Жан Поля завоевать было невозможно. Он сказал ей: “Оставь меня, Люсьена. Между нами все кончилось, между мной и тобой – неужели ты этого не понимаешь?”

Теперь она это поняла. И более того. Она поняла, что единственная цена ее собственной безопасности – его жизнь.

Вот так и получилось, что 4 апреля 1794 года, в тот день, когда крысы, управлявшие Францией, рискнули свергнуть льва, приговорив Жоржа Дантона к смерти, а вместе с ним и Демулена, и многих других, сделав Робеспьера, коварного Робеспьера хозяином страны, Жан Поль Марен, уходя из трибунала, увидел такую сцену: Люсьена Тальбот, цепляясь за рукав Фукье-Тенвиля, общественного обвинителя, шептала ему что-то на ухо.

Жан смотрел на них, раздумывая: интересно, что она ему говорит? Но, в общем, ему это было безразлично. Вероятно, все равно было бы безразлично, даже если бы он услышал ее слова:

– Пришлите своих людей в мою квартиру на улице Севр, шестнадцать, и я передам в ваши руки еще одного заговорщика!

В этом проявилась какая-то ее доброта – она не могла послать полицию арестовывать Жан Поля в присутствии его бедной слепой жены. Она решила до конца сыграть роль Далилы и передать его в руки властей лично.

На следующий день Жан отправился смотреть на казнь и увидел, как умирал Жорж-Жак Дантон, потянувшийся, как лев, и громогласно прорывав сам себе: “Вперед, Дантон, не проявляй слабости!” Потом он обернулся к Самсону: “Покажи мою голову народу! Она заслуживает того, чтобы ее показали!”

Когда Жан, измученный и больной, добрался домой, он застал Флоретту в слезах.

– Здесь была женщина, – всхлипывала она, – ужасная, ужасная женщина! Она называла меня *Chérie*!⁶⁸ Жан, Жан, сколько еще я буду страдать от твоего прошлого?

– Успокойся, моя голубка, – устало ответил Жан. – Кто она? Что она сказала?

– Она сказала, чтобы ты пришел к ней сегодня днем! Дело чрезвычайной важности, речь идет о жизни и смерти! И потом она назвала меня *Chérie*! “Не беспокойтесь, *Chérie*, – сказала она, – я не пытаюсь украсть вашего мужа. Это деловое свидание...”

Жан тяжело поднялся.

⁶⁸ Дорогая (*фр.*)

– Ты идешь? – в ужасе спросила Флоретта.

– Да, – мрачно сказал Жан, – но я беру с собой пистолеты и трость. К какому оружию я прибегну, будет зависеть от обстоятельств...

– Но, Жан, эта ужасная женщина...

– Ты права, – сказал Жан, – она омерзительна и служит моим злейшим врагам. Но я с ней расправлюсь...

– Жан, – простонала Флоретта, – я должна тебе кое-что сказать!

– Это может подождать, – ответил он и стал спускаться вниз по лестнице.

Люсьена была в своей комнате, когда услышала, как распахнулась дверь. Она отшатнулась, глаза ее расширились, рот приоткрылся, она сделала один, другой шаг назад, лицо ее побледнело. А Жерве ла Муат вошел в комнату и прикрыл за собой дверь.

– Думала сбежать от меня? – прорычал он. – Ты так думала, Люсьена? Думала, я не вернусь во Францию, рискуя жизнью? Чтобы вернуть тебя, раскрашенный кусок потрохов? Нет. Но чтобы убить тебя – да! Услышать твои вопли, посмотреть, как ты, вероломная шлюха, на коленях будешь молить меня о пощаде – ради этого я готов умереть, и с радостью!

Он грубо схватил ее за кисть руки и вывернул ее, заставив

Люсьену упасть на пол.

– Ты предавала каждого мужчину, которого когда-либо знала, – шептал он. – Мне ты предавала тысячу раз этого беднягу Марена. Продавала мне революционеров, роялистов, продавала революции! Продавала свое тело за высокую, как тебе казалось, цену, а на самом деле задешево, дешевле, чем за те су, которые берет уличная шляха... А теперь тебе пришел конец, но не такой быстрый, моя сладкая. Я хочу долго слушать твои стоны. Ты очень любишь себя, но после того, что я с тобой сделаю, людей будет тошнить от одного взгляда на твое лицо...

– Достаточно, господин ла Муат, – раздался спокойный голос Жана. – Отпустите ее.

Жерве обернулся и увидел пистолет в руке Жана.

– Все еще околдованы ею, Марен? – с издевкой спросил он. – Если бы вы знали правду...

– Я знаю... – начал Жан, но его слова заглушили топот сапог, поднимающихся по лестнице.

– Это вы, Марен? – произнес Фукье-Тенвиль. – Вижу, вы опередили нас в вашем усердии! Гражданский арест, да? Кто этот человек?

– Это не он! – взвизгнула Люсьена. – Это сам Марен! Он ваш заговорщик, роялист и дантонист!

– Не лги! – резко сказал ей ла Муат и обернулся к вошедшим. – Позвольте мне представиться, господа. Я Жерве Гуго Робер Роже Мари ла Муат, граф де Граверо, в прошлом

офицер армии Его Величества императора Австрии, верный подданный убитого короля Франции, а эта женщина – моя любовница и платная австрийская шпионка.

Жан в изумлении смотрел на него.

Жерве положил ему руку на плечо.

– Теперь мы в расчете, брат, – мягко сказал он. – У меня не осталось ничего, кроме чести, и я устал от жизни. Это неплохо вот так уйти из жизни, захватив ее с собой...

– Вы сказали – брат? – с подозрением спросил Фукье-Тенвиль.

– А разве не все люди братья? – улыбнулся Жерве. – Таков ведь один из ваших постулатов, не так ли?

– Вы будете свидетельствовать против этой драгоценной пары, гражданин Марен? – прорычал Фукье-Тенвиль.

– Нет! – отрезал Жан. – Не хочу прикасаться к новым смертям!

– Но, гражданин, – угрожающе начал Фукье-Тенвиль, – ваш долг...

– Месье Марен, – прервал его Жерве, – выполнил свой долг и сделал даже больше, захватив нас. В его показаниях нет нужды, поскольку он знает не так много фактов. Эта женщина пыталась обмануть его, потому что он отверг ее любовь. Я добровольно дам вам исчерпывающие показания, он вам не нужен...

– Тогда ладно, – проворчал Фукье-Тенвиль, – вы можете идти, Марен.

Однако его маленькие кровожадные глазки провожали Жана, пока тот выходил из комнаты.

Лестница в собственную квартиру оказалась для Жана сущей пыткой. Когда Флоретта открыла ему дверь, он немедленно рухнул на стул.

Она подошла к нему и стала ворошить его волосы.

– Ты быстро вернулся, – прошептала она. – Ты избавился от нее навсегда?

– Да, – простонал он.

Тон его голоса привлек ее внимание, она пробежала пальцами по его лицу.

– О, Боже! – вырвалось у нее. – Твое лицо как мертвая маска!

– Знаю, – отозвался Жан. – Сегодня я видел слишком много смертей.

– Отдохни, любимый, – с нежностью сказала Флоретта. – Позволь, я помогу тебе снять башмаки...

Несмотря на усталость, память подсказала ему:

– Ты собиралась мне что-то сказать, моя маленькая, – произнес он. – Что именно?

Опустившись перед ним на колени и расшнуровывая его ботинки, она подняла к нему лицо. Последние лучи заходящего солнца осветили ее.

– У нас будет ребенок, мой Жан, – ответила она, – именно это я и собиралась тебе сказать.

“Весь мир залит кровью, – думал Жан Поль, – и я никогда уже не смогу заснуть...”

– Ты такой окаменевший, – сказала Флоретта. – Что там было в этом письме, которое так тебя взволновало?

– Ничего, – солгал Жан, – это письмо от друга из Марсея, он рассказывает о положении дел. Дела там очень серьезные. Признаюсь, это меня несколько огорчило...

– Не огорчайся, любимый, – сказала Флоретта, – мы с тобой вместе, а скоро с нами будет наш сын или дочь. Жан, кого бы ты хотел? Я хочу сказать, мальчика или девочку?

– Мне все равно, – отозвался Жан.

– Мне тоже. Это твой ребенок, значит, он будет прекрасен. Есть только одно, что меня беспокоит...

– Что же, Флор? – спросил Жан. Он уловил истерические нотки в ее голосе.

– Глаза, Жан, – прошептала она. – Я ведь родилась слепой. Ты не думаешь, Жан...

Жан обнял ее за плечи и притянул к себе.

– Нет, дорогая, я этого не думаю, – сказал он. – Он будет в полном порядке, наш сын...

– Ах, вот как, – засмеялась Флоретта, – значит, ты хочешь сына! Я должна буду сосредоточиться на таких мужских понятиях, как сила, мужество и мудрость. Я не разочарую тебя,

мой любимый...

– Спасибо, – сказал Жан.

Он обнял ее, и в этот момент письмо выскользнуло и упало на пол, а он вновь мысленно вернулся к нему:

“Меня арестовали за отсутствие патриотизма, как только я приехал в Марсель. Вы знаете, каковы сейчас суды. Я защищался, как мог, но был обречен с самого начала, с того момента, как они схватили меня. Мое преступление, полагаю, заключается в том, что я был удачлив, жил хорошо, а с точки зрения толпы, это измена. Во всяком случае, Марен, когда это письмо дойдет до вас, я буду мертв. Надеюсь только на то, что сумею умереть достойно...

Позаботьтесь о бедняжке Николь. Как можно дольше скрывайте от нее весть о моей смерти. Еще один шок, я думаю, разрушит ее сознание. Но если ей когда-нибудь суждено узнать, скажите ей, что я умер с ее именем на устах, благодаря Бога за счастье, которое она мне подарила. Я буду ждать ее там, где Бог отвел место для невинных и справедливых душ, знаю, что когда-нибудь она придет ко мне, чтобы никогда больше не покидать меня.

Прощайте дорогой друг. Хочу, чтобы вы приняли мои прощальные, самые нежные пожелания вам и вашей жене-ангелу...”

И подпись: “Клод Бетюн”.

“О, Боже, – в глубине души подумал Жан, – милосердный Боже!”

– Ты опять напряжен, – пожаловалась Флоретта, – что сейчас волнует тебя, Жан?

– Ничего, Флоретта, любимая, просто сейчас я должен навестить одного человека. Он в тюрьме ожидает суда. Он был моим зятем, и с тех пор как я с ним познакомился, я его ненавижу...

– Тогда почему ты должен его навестить?

– Потому что я был не прав. Моя несчастная покойная сестра обожала его. Я никогда не мог этого понять. А сейчас понимаю. Потому что под самый конец он проявил себя как настоящий кавалер, какие только бывают на этой земле. Люди бывают очень странными, Флоретта, любимая моя, они дьявольски сложны, и мы всегда совершаем ошибку, пытаюсь свести их к одной заметной черте характера. В сентябре тысяча семьсот девяносто второго года Дантон был беспощаден, однако в декабре девяносто третьего он умер, потому что всем сердцем хотел быть милосердным. Цельными бывают только безумцы. Марат и Эбер всегда были последовательными, потому что оба они из сумасшедшего дома...

– А твой зять?

– Он был веселым, беспечным, немного бессердечным – типичным аристократом. Он частенько изменял моей сестре, но, думаю, он всегда ее любил. Он был болен от горя, когда я рассказал ему о ее гибели. В тот день, когда его арестовали, он, возможно, мог спастись, объявив меня дантонистом, что вполне соответствует действительности. Но он этого не сде-

лал. Он причинил мне много вреда, и сознание этого остановило его. Он принял свою судьбу как подлинный джентльмен, пойдя даже на то, что отрицал нашу родственную связь, что тоже могло потащить меня вслед за ним. Понимаешь теперь, почему я должен пойти?

– О, да, – вздохнула Флоретта, – иди, конечно, и передай, что я ему от всего сердца благодарна...

Запах внутри Консьержери описать было невозможно. Арестованные содержались все вместе в огромной общей камере, набитой до отказа, ожидая, пока гильотина освободит достаточно мест в маленьких камерах, чтобы в них можно было разместиться. Жерве ла Муат пошел навстречу Жану с вымученной улыбкой. Одежда его была в беспорядке, сквозь прореху в отличной рубашке проглядывало худое, хорошо сложенное тело, светлые волосы не были причесаны и свободно падали на плечи.

Но даже в этом прискорбном положении он оставался великолепен; лишенный привилегий аристократии, перед Жаном стоял человек без прикрас, для которого эти привилегии служили лишь фоном. А человек, подумал Жан, отделенный от былой своей пустой жизни, от неправильного воспитания, которое дало ему его сословие, оказывается совершенно иным...

– Полюбуйтесь на свою республику! – засмеялся Жерве, беззаботно махнув рукой. – Вы должны гордиться собой, Жан. Вот здесь вы наконец добились настоящего равенства

сословий!

– Гордиться нечем, – отозвался Жан, – а я никогда не желал ничего подобного. Я был слишком молод, а кроме того, очень глуп, чтобы осознать, что революция никогда не может быть оправданным тактическим средством. Ибо только те же самые перемены, но сделанные постепенно способны принести успех. Попытка же перевернуть мир означает, что подонки со дна общества поднимаются наверх, к власти, а подонки остаются подонками независимо от того, какое положение они занимают!

– Bravo! – воскликнул Жерве. – Вот теперь вы рассуждаете разумно. Но не глупо ли с вашей стороны навещать меня? Людей осуждают и за меньшее...

– Знаю. Но честь обязывает меня прийти сюда, пожать вам руку и попросить прощения. И вовсе не потому, что вы были правы, ибо мы оба были не правы. Пытаясь покончить с насилием, я играл на руку еще худшим насильникам, так что на моей совести кровь десятков тысяч невинных людей. Я хотел высказать вам все это, пока мы оба живы; не сомневаюсь, что последую за вами, и очень быстро, если только благодаря какому-нибудь чуду не смогу бежать из Франции. Мои друзья мертвы, моя жизнь висит на волоске, потому что в любой момент могут раскрыть, что я был дантонистом...

– Я вас не выдам, – сказал Жерве.

– Знаю, но это сделает Люсьена. Впрочем, это не имеет значения, не считая моего еще не родившегося ребенка.

– Думаю, вы неправильно судите о ней. Она изменилась. Повидайте ее, прежде чем уйдете. Вы найдете ее на женском дворе...

– Вы простили меня? – спросил Жан.

– От всей души, – ответил Жерве. – А вы меня?

– Конечно, – прошептал Жан и обнял его поверх барьера.

Он нашел Люсьену, как и предполагал Жерве, разгуливающую по маленькому мощеному дворику, где арестованным женщинам разрешалось гулять. Она спокойно пошла ему навстречу и протянула руки.

– Рада, что ты пришел, – сказала она.

– Люсьена, – выговорил Жан, но продолжать не мог; какой-то комок застрял у него в горле. Люсьена увидела слезы на его глазах.

– Ты плачешь из-за меня? – прошептала она. – Как странно!

Жан вновь обрел голос.

– Странно? – воскликнул он. – Нет, Люсьена, совсем не странно. Ты умрешь, и я последую за тобой. Смерть пустяки, все люди кончают смертью.

Она подняла руки и нежно коснулась его лица.

– Тогда о чем же ты плачешь, Жан? – спросила она.

– О том, что было у нас с тобой. О подлинной трагедии жизни, наступающей задолго до благословенного облегчения смерти... – Он взял ее руки в свои и сжал их с такой силой, что причинил ей боль. – Я плачу о чуде, которым мы

обладали и которое потеряли, каждый из нас и мы оба вместе, веря друг другу, надеясь, любя – это было прекрасно, не правда ли? В дни нашей молодости – нашей невинной...

– Невинной? – улыбнулась Люсьена.

– Да, да, невинной. До того как открылись наши глаза и мы увидели себя нагими! Прежде чем мы были изгнаны из райского сада в мир лжи, лишенный чар, в мир, нищий духом, где даже любовь не могла сохранить свою чистоту...

Он неожиданно отпустил ее руки и стал вытирать пальцами слезы с глаз.

– Да, – вздохнул он, – я плачу и по тебе. По тебе и по всем заблудшим душам на земле, и по себе, по всему тому, что мы могли бы иметь, если бы не твое честолюбие, моя революционная глупость, сама жизнь, наконец, не помешали бы нам...

– Сама жизнь, больше чем все остальное, – сказала Люсьена. – Не вини себя, дорогой, дай мне еще раз твою руку...

Жан протянул ей руку сквозь тюремную решетку, и она ласково взяла ее; лицо Люсьены было странным, а голос печальным.

– Да, сама жизнь, – прошептала она, – и моя беспредельная вера в собственный ум. Видя перед глазами примеры, я не могла не понимать, что предательство никогда не оправдывает себя. Предатель всегда предает себя, правда, Жанно?

– Да, – простонал он, – и сам акт предательства...

– Я всегда была обманщицей, – вздохнула Люсьена, – но

нельзя обмануть жизнь. Мое чудовищное тщеславие заставляло меня думать, что я смогу. Ты, мой бедный Жанно, оказался первой жертвой моей неверности, но главной жертвой была я сама. Я умираю, потому что все обеты, сама моя честь, мои обещания ничего для меня не значили, они казались пылью, которую можно стряхнуть, а я следовала за блуждающим огоньком моих желаний...

– Ты красноречива, – заметил Жан.

– Я стала красноречивой, слушая тебя, Жан, – улыбнулась Люсьена. – Скольким вещам я научилась слишком поздно! Я ощущала голод, страсть к жизни. Думала, жизнь осыплет меня своими сокровищами – славой, богатством, великой любовью... а я, как королева, буду улыбаться и принимать все как должное, никогда не спрашивая себя, что я сделала, чтобы заслужить это...

– У тебя все это было, – сказал Жан, разглядывая ее лицо. – О, Боже, Люсьена, почему ты никогда не была довольна?

– Большую любовь, – прошептала она, – подарил мне ты. Но мне нужно было и другое. Ты оказался препятствием – и я предала тебя. Богатство и славу давал мне Жерве. Потом он стал надоедать и к тому же обеднел – я предала и его... Остальные... они были ничем, предназначены природой, чтобы попирать каблучками их лица...

– Никто, – ровным голосом возразил Жан, – не предназначен для этого.

– Теперь я это знаю, – сказала она так тихо, что он должен был напрячь слух, чтобы ее услышать. Затем она бросилась к барьеру, с плачем прижалась к нему, чтобы быть ближе к Жану. – Жан, Жан, не хочу умирать! Не могу умереть, не могу...

Он привлек ее к себе, просунув руку сквозь решетку. По-немногу она успокоилась.

– Эта слабость недостойна меня, – прошептала она. – Тяжело, Жан, я умру, не зная в действительности, что такое счастье. Что это, Жан? Как люди находят счастье?

– Не разыскивая его, – сказал он. – Всегда давая, никогда не стараясь получить...

Его пальцы играли ее рыжими волосами. Он очень серьезно смотрел на нее.

– Продолжай, – прошептала она.

– Любовь, Люсьена, это то, чего ты никогда не понимала. Благодаря божественной любви каждый мужчина и каждая женщина здесь, на земле, – это братья и сестры, и даже больше того, так что умереть оказывается легче, чем совершить предательство; и нельзя оскорблять человека, надо уважать его, любить, не причинять вреда даже волосу на его голове, не оскверняя самой жалкой из его грез, если известно, как они ему дороги...

Она смотрела на него, и слезы, как бриллианты, блестели у нее на ресницах.

– Жан, – тихо произнесла она, – ты бы меня никогда не

предал?

– Скорее умер бы, – просто сказал он.

– Знаю. А поскольку я не могла поверить, что человек, которому представился случай отомстить, предать, может удержаться от этого, я месяцы напролет жила в страхе перед тобой. Пыталась соблазнить тебя, не потому, что твоя любовь много значила для меня – я женщина бессердечная, и любовь мужчины для меня была не больше чем естественное обожание, – я всегда ощущала себя богиней, созданной для поклонения. Если ты никогда не изменял своей жене, ты всегда говорил ей правду, не так ли?

– Да, – сказал Жан.

– Так я и думала. Но когда ты оттолкнул меня, поняла, что должна тебя убить, чтобы выжить самой. Мне никогда в голову не приходило, что твоя жизнь гораздо важнее моей, что ты когда-нибудь принесешь пользу народу Франции, в то время как я не больше чем разукрашенная паразитка. Но для меня ничего не существовало, кроме меня самой, моей драгоценной, великолепной личности, которую я любила, как только может любить человек.

– Человек может видеть свои недостатки, – сухо заметил Жан. – Человек, Люсьена, не всегда слеп...

– Ты лучше Жерве, благороднее. Ты никогда не испытывал потребности мстить мне...

– Отмщение дело Бога, а не человека, – сказал Жан. – Когда присваиваешь себе право быть судьей, присяжными и па-

лачом в одном лице, тем самым преувеличиваешь свою роль. Так я думаю. Не могу изображать из себя Господа Бога, Люсьена. Могу только покинуть тебя с печалью в сердце – это правда.

– Спасибо тебе за это. Жанно...

– Да, Люсьена?

– Люди не могут измениться, во всяком случае, совершенно измениться. Я ненавижу свое тщеславие, но оно сидит во мне. Не боюсь смерти. Она ведь придет однажды, так пусть это случится сейчас, пока я еще не постарела и мужчины еще смотрят жадными глазами на мое тело. Но с чем я не могу смириться, так это с мыслью, что мою голову бросят в эту вонючую кровавую корзину! Что я буду обезображена после смерти. Я хочу выглядеть так, словно я сплю, чтобы люди, глядя на меня, качали головами и шептали: “Какая жалость, такая красавица должна была умереть!”

– Чего ты хочешь? – спросил Жан, начиная улавливать ее мысль.

– Недалеко от Гревской площади есть аптека. Пойди туда и купи для меня маленький пузырек. Скажи, что это для крыс; аптекарь поймет, в чем дело; он многих спасал от милосердного ножа Самсона... Принеси этот пузырек мне. Тогда я буду выглядеть так, словно я заснула, и tricoteuses⁶⁹ не будут включать в свой счет мою голову, а каналы не будут плевать в меня, когда меня повезут в этой ужасной повозке,

⁶⁹ Вязальщицы на спицах (*фр.*)

и обзывать самыми гнусными словами, которые я, возможно, заслуживаю, но никогда себе в этом не признавалась...

– Ты такой и не была, – сказал Жан. – Значит, до завтра?

– Да, Жанно, до завтра. Не прошу у тебя прощения, и так знаю, ты простил меня. До свидания, Жанно, до завтра...

Жан Поль шел домой и ему казалось, что его уставшие ноги не выдерживают тяжести тела.

В тот же миг, как он увидел лицо Флоретты, Жан понял, что что-то случилось.

– Жан, – шептала она. – Здесь были люди, ужасные, грубые. Они обошлись со мной достаточно хорошо, когда обнаружили, что я слепая. Но они оставили что-то для тебя. Вот – какая-то бумага. О, Жан, скажи мне, что в ней?

Жан взял бумагу, украшенную официальными печатями, и стал читать. По первому же взгляду на нее он понял, что это за документ. Из всех зловещих выдумок, с помощью которых революция отнимала у человека свободу, а в конечном счете и жизнь, эта была самой жестокой: бумага, которую он держал в руках, была *ajournement*⁷⁰, или приостановление ордера на арест. В действительности человек этот был уже обречен. Он мог пользоваться свободой передвижения, пока оставался в Париже; но каждый час, каждую минуту над ним нависала опасность; как только Фукье-Тенвиль вздумает пустить ордер в производство, когда у него будет достаточно доказательств, или по собственной прихоти, или ему

⁷⁰ Отсрочка (*фр.*)

это будет выгодно, и Жан будет брошен в Аббатство, Темпл, Консьержери, Люксембургский дворец или в любую другую из пятидесяти парижских тюрем, чтобы выйти оттуда только в скрипучей повозке смерти. Жан знал, что этот прием предназначен для того, чтобы сломить волю будущего узника: к тому времени, когда он в конце концов будет арестован, его нервы будут окончательно расшатаны этим ужасным ожиданием, которое может продолжаться неделями и даже месяцами, а его воля к сопротивлению будет подавлена.

– Что это, Жан? – спрашивала Флоретта.

– Ничего, – отозвался Жан. – Приглашение на собрание бывших солдат. Я не пойду, это не представляет интереса...

– О, Жан, – прошептала она, – я так рада...

“Они не знают меня, – думал Жан по дороге в аптеку, чтобы купить спасительную милосердную смерть для Люсьены. – Я не сломлюсь. Эта повестка означает, что у них против меня слабые доказательства; они хотят вселить в меня безумный ужас, прежде чем предъявить обвинение. Но им не удастся обвинить меня. Я устраю отъезд Флоретты из Парижа и тогда...”

Однако, обдумывая такую возможность, Жан понимал, что она почти нереальна. Конвент настолько увеличил количество документов, необходимых для выезда из страны, что на их оформление требуются недели. У него нет паспорта, а власти, выдающие нужные документы, получают списки подозреваемых. Единственная для него возможность бежать –

это купить подложные документы...

Но Пьер может уехать, должен уехать. Жан понимал, что, если не такое уж значительное участие Пьера в печатании “Старого кордельера” будет когда-либо раскрыто, его друг тоже умрет. У Пьера было то преимущество, что он до сих пор не числился ни в одном списке подозреваемых – он никогда не участвовал в политике, его имя даже не появлялось на страницах газет Жана или Демулена. Тем не менее действовать следует быстро... Бежать из Парижа немедленно, сегодня же, а там, в каком-нибудь провинциальном морском порту, можно будет достать документы для выезда за границу.

Жан вбежал в контору Пьера и сообщил ему новость. Пьер тут же понял, что бежать надо немедленно, но уже в следующую секунду доказал, насколько сильна его преданность.

– Я не могу сказать Марианне – она может проговориться Флор... Кроме того, нет времени... Когда буду в безопасности за границей, пришлю за ней...

Выйдя из конторы Пьера, Жан немедленно отправился к аптекарю. Он выбросил из головы все мысли о собственном спасении, положившись, как это часто делают люди в отчаянных ситуациях, на вдохновение, на неожиданные обстоятельства. Всю ночь после того, как он вернулся домой с пузырьком для Люсьены и еще одним для себя, если все пути окажутся отрезанными, Жан лежал, не в силах заснуть, пы-

таясь найти выход, и в конце концов под утро забылся усталым сном, не придумав никакого плана.

На следующий день он пожал руку Люсьены сквозь решетку, оставив в ее ладони маленький пузырек, и она, улыbnувшись, шепнула ему:

– Благодарю тебя, мой Жанно... – и потом добавила: – Ты... ты поцелуешь меня на прощание?

Он просунул руку сквозь решетку и привлек Люсьену к себе. Ее губы были ледяными, но постепенно они начали согреваться, стали невыразимо нежными. Она прижимала свои губы к его губам бесконечно долго, пока лица у обоих не стали мокрыми от смешавшихся слез.

– Спасибо, мой Жанно, – прошептала она, – и помни это... о некоей клятве до смерти... даже если до сих пор это и не было вполне правдой, сегодня ночью я покину этот мир, любя тебя всем сердцем...

В итоге Жерве ла Муат отправился на смерть один, вслед за Люсиль Демулен и вдовой Эбера и еще множеством людей, чьи преступления состояли в том, что они были знакомы, или замужем, или дружили не с теми людьми. Он умер, как и жил, элегантно.

Медленное, разрушающее нервы ожидание Жана продолжалось до первого термидора, 19 июля по старому календарю, и тянулось бы еще дольше, если бы не Николь.

Она ворвалась в их квартиру с его именем на устах. Жан, сидевший в глубоком кресле, взглянул на нее и насмешливо

улыбнулся.

– Предполагалось, – сказал он, – что ты в Марселе, помнишь?

В его голосе не было удивления. Он давно уже знал, что она так и не уехала из Парижа, но у него было слишком много проблем, чтобы думать о ней. До тех пор пока она не тревожила его, он был спокоен. Обнаружил он это с некоторым удивлением. “Жизнь, – устало подумал он, – смягчает все, затушевывает все краски. Когда-то я готов был умереть ради этой женщины, а теперь...”

– Жан, – с трудом выговорила Николь, – ты должен помочь ему! Он на самом деле хороший человек и...

– Кто это хороший человек? – потребовала ответа Флоретта, остановившись в дверях. Голос ее был ледяным.

– Жюльен, ты его знаешь, тот, который говорит, что он мой муж...

– Ты не могла бы, – с ехидством заметила Флоретта, – разобраться со своими мужьями?

Николь изумленно уставилась на нее. Резкость Флоретты ее задела.

– Флор, – задохнулась она, – ты... ты сердишься на меня! За что, Флор? Чем я тебе досадила? Что я такого сделала?

– Ничего, – отозвалась Флоретта, – во всяком случае, для тебя это ничего. Полагаю, тебе не впервой завлекать чужих мужей к себе и держать их там всю ночь...

– О! – воскликнула Николь. – Но я не делала этого, Флор!

Жан был у меня не больше десяти минут. Не моя вина, если он не пришел домой...

Всю жизнь в своем мире темноты, Флоретта прислушивалась к звучанию человеческих голосов и судила о людях по этому звучанию. Она отличала правду, когда слышала ее.

Очень спокойно она подошла к креслу, где сидел Жан, и коснулась губами его щеки.

– Прости меня, любимый, – сказала она. – И ты тоже, Николь. Я плохо о тебе подумала и сожалею...

– Значит, – продолжала Николь в своей странной рассеянной манере, – это уже не имеет значения. Жан, ты должен помочь ему! Они арестовали его и будут судить. Ты адвокат, и ты...

– Нет! – вырвалось у Флоретты. – Нет, Жан, нет!

– Почему нет, Флор? – спросила Николь. – Если Жан ему не поможет, его гильотинируют...

– Его гильотинируют, даже если Жан станет ему помогать, – выпалила Флоретта, – а потом они убьют Жана за то, что он пытался ему помочь! Послушай, Николь, постарайся понять. Они казнили Манюэля только за то, что он отказался свидетельствовать против королевы; они казнят людей только за то, что их видели, как они разговаривали с Дантоном; они казнили Люсиль Демулен и бедную мадам Эбер только за то, что они были женами своих мужей; казнили твою подругу мадам Ролан, потому что она была замужем за жирон-

дистом. Все, кого мы встречали в ее доме, мертвы, гильотинированы или их затравили до смерти: Ролан покончил с собой, Клавьер убил себя, Кондорсе принял яд, Петион и Бюзо застрелились, и их трупы достались волкам! И это только те люди, которых мы знали. Понимаешь, о чем ты просишь? Чтобы мой Жан отправился и отдал свою жизнь за человека, которого он почти не знает! Ты этого хочешь, Николь?

– Нет, – прошептала Николь, голос ее дрожал от невыносимого ужаса. – О, Боже, нет!

– Где он находится? – спросил Жан.

– В Люксембургском дворце. Но, Жан, ты не можешь...

– Жан! – закричала Флоретта. – Ты не можешь! Я не могу пустить тебя, не могу...

Жан медленно встал.

– Послушай, голубка, – нежно сказал он, – я собирался рассказать тебе об этом, теперь я уже не могу скрывать – я объявлен вне закона...

– Жан! – всхлипнула Флоретта. – О, нет, Жан, нет...

Жан подошел и нежно обнял ее.

– Документ, который принесли тогда те люди, – медленно сказал он, – был приостановленный приказ о моем аресте. Это дело техники, причина в том, что они еще не готовы нанести удар. Но этот приказ означает, что я не могу покинуть Париж. У меня нет документов, а все ворота из города охраняются. Так что в этих обстоятельствах, любимая, я предпочитаю защищать месье Ламона. Предпочитаю бросить им

вызов и погибнуть, сражаясь. Я уже получил паспорта для тебя и Николь, вы выедете в Швейцарию и оттуда в Англию. Мой брат Бертран там...

– Нет, – всхлипнула Флоретта, – я не оставлю тебя!

– У тебя нет выбора, любимая, – сказал Жан. – Помни, ты должна беречь две жизни...

– Нет, – без всякого выражения возразила она. – Пусть лучше мой ребенок умрет, чем вырастет в мире убийц!

И чтобы Жан ни говорил, переубедить ее он не мог.

Исход суда над Жюльеном был предрешен – эмигрант, аристократ, он автоматически оказывался врагом государства. Но в отличие от Жерве ла Муата он не сражался с оружием в руках против Франции. Этот пункт Жан сделал центральным в своей защите.

– Вы цитируете мне закон, – говорил он, глядя в глаза обществу обвинителю Фукье-Тенвилю, – а я вам говорю, что закон этот сам по себе преступен! В чем обвиняется этот человек? Я вам скажу просто: в том, что он бежал, спасая свою жизнь! Он был моим соседом по Лазурному берегу, он никого не угнетал, люди любили его, и только потому, что он предпочел уехать, нежели остаться и умереть, – быть узаконено зарезанным, как принцесса Ламбаль, – вы осуждаете его...

– Здесь не судебное заседание по поводу права, гражда-

нин, – холодно заметил председатель трибунала, позвонив в свой маленький колокольчик.

– Да, но его надо провести и осудить этот закон! – воскликнул Жан. – И этот закон, и всех тех людей, которые его сочинили. Я опытный юрист, гражданин председатель, но законы, которые я изучал, призваны защищать невиновных от насильников, а не превращаться в инструмент насилия! Этот человек бежал, но он никогда не поднимал оружия против Франции и не плел заговоров против нее! Осудите ли вы его за преступление, которое состоит единственно в том, что его родители не крестьяне? Отрубите его невинную голову за то, что он вообще родился!

На галерее раздались аплодисменты. Парижанам до смерти надоел террор, в самом Конвенте монтаньяры и “умеренные” объединялись против Робеспьера. Он сплотил всех своих врагов, отменив неприкосновенность самих членов Конвента. Люди, которые склонялись в трусливом угодничестве перед волей Робеспьера, поняли, что отданы на милость главного вдохновителя террора, и обрели отчаянное мужество крыс, загнанных в угол. Тальен, Баррас и Лежандр, Сийес и Фуше начали плести заговор против него. Зная обо всем этом, Жан Поль питал кое-какие надежды.

“Время, время, время! – думал он. – Если заговорщики нанесут удар, Ламон может быть спасен. Если они продержатся вместе какое-то время, если они нанесут ему удар сейчас, пока он дуется на Конвент. С того момента, как была

арестована его полусумасшедшая жрица Катерина Тео, он не появлялся. Ах, Робеспьер, помни слова, которые бросил тебе на прощание Дантон! Ибо, если они действительно люди отважные, ты последуешь за ним, и Франция вновь обретет мир...”

Однако время бежало, а они медлили. Фукье-Тенвиль вскочил на ноги с визгом:

– Ваша речь, гражданин, близка к отсутствию патриотизма!

Сидевшая на галерее Флоретта задохнулась от волнения. Николь схватила ее за руку и крепко сжала.

– Отсутствие патриотизма! – воскликнул Жан. – Вы всегда ссылаетесь на отсутствие патриотизма! А где вы были, гражданин обвинитель, когда пруссаки перешли нашу границу? Я спрашиваю вас, где? Я требую, чтобы вы очертили границы вашего отсутствия патриотизма, – разве это не недостаток гражданского мужества, или, иначе говоря, недостаток любви к Франции? Отвечайте мне! Разве это не так?

– Да, – ухмыльнулся Фукье, – такое определение не хуже любого другого...

– А я не патриот? – гремел голос Жана, не менее звучный, чем голос Дантона. – Я?

Он воздел руки и рванул на себе сюртук, рубашку и в тот же момент оказался перед трибуналом по пояс голым. Все его туловище было покрыто полукруглыми шрамами от шрапнели, на спине перекрещивались шрамы от кнута.

– Смотрите, граждане, – гремел он, – на следы отсутствия патриотизма у меня! Посчитайте их, если хотите – двадцать три раны, полученные мною при Ондешютте, когда я защищал Францию! Прошу вас, гражданин председатель, гражданин обвинитель, граждане присяжные, обратить особое внимание на мое левое плечо и спину. Шрамы, которые вы видите, это следы кнута на тулонской каторге, а это клеймо каторжника – нежная память об учтивости роялистов! Ибо я был арестован, как это отлично известно гражданину Фулье-Тенвилю, за свою революционную деятельность в те времена, когда революционером быть было опасно, в те времена, когда крысы, которые грызут сейчас распростертое тело Франции, таились в своих норах!

Галереи шумели, приветствуя Жан Поля.

– Однако довольно об отсутствии у меня патриотизма, – улыбнулся Жан. – Это понятие ничего не значит для людей, затравивших насмерть Дантона, убивших того самого Камилля Демулена, который начал штурм Бастилии. У этих людей короткая память, их глаза ослепли от крови женщин, детей, стариков, беспомощных...

Я защищаю этого человека, потому что он невиновен и его преследуют на основании несправедливого закона. Требую – освободите его! Покончите с этим законом! Покончите с правлением Францией путем убийств. Вы должны это сделать, гражданин председатель, гражданин обвинитель, и вы это знаете, ибо даже вы не можете ложиться в свои по-

стели, чтобы из ночи в ночь вас не преследовали тени тысяч невинных, которых вы предательски убили. Я все сказал, а теперь делайте что хотите с этим невинным человеком. Делайте что хотите со мной!

Председатель вскочил со своего места, звоня в колокольчик, пытаясь заставить замолчать ревушую на галереях толпу.

– Заседание суда прерывается до завтра! – проревел он. – Пристав, освободите зал!

На следующее утро, после бессонной ночи, когда он обнимал свою плачущую жену, Жан поднял глаза и увидел пустые галереи, которые оказались закрыты для посетителей, потом он обернулся, чтобы услышать, что он привлекается к ответственности за неуважение к суду, за подстрекательство зрителей. Ему предстояло выслушать в бессильном презрении паутину лживых обвинений Фукье-Тенвиля. Присяжные отсутствовали всего десять минут. Приговор был – смерть.

У Ламона оказалось достаточно времени, чтобы обнять своего защитника, прежде чем его самого увели.

– Вы умрете за это, – прошептал он в благоговейном ужасе. – Теперь я знаю, что Бог все еще награждает людей мужеством.

Они гильотинировали Жюльена Ламона, бывшего маркиза де Сен-Гравер, на следующий день в девять часов. Жан

не пошел смотреть на эту казнь. Он остался дома, спокойно ожидая звука шагов на лестнице.

Однако Николь ла Муат отправилась туда и впервые увидела казнь.

Она не дрогнула и не отвернулась. Она все слышала и видела. И что-то в лице Жюльена ее взволновало, что-то в цвете крови...

У нее перед глазами стояла какая-то пелена. Она слышала хриплые голоса каналий, звучащие дважды – здесь, теперь, в данный момент, а с другой стороны, те же голоса доносились из какого-то еще места, отдаленного, из какого-то еще времени, другого; ее грубо толкали, от этих прикосновений у нее по телу ползли мурашки, не от этих, сиюминутных, а от других прикосновений, ударов, ругани – все это было давно и накладывалось на сегодняшнее. Она пробиралась сквозь толпу в сумеречном состоянии, слыша их крики, ругань и голос: “Жан! Мармо! Где вы? Дети мои, где вы?”

Жюльен стоял на помосте, ожидая, когда его привяжут к доске. Он посмотрел в ее сторону, и она услышала, как кто-то кричал: “Жюльен! Ведь это Жюльен! Почему ты не в Австрии? О, Жюльен, Жюльен... дети, они убивают детей!”

И тут в мертвой тишине, когда Самсон привязывал его к доске, она поняла, что это ее собственный голос.

– Это Жюльен, – шептала она, – Жюльен, мой муж... мой добрый, храбрый, галантный муж, которого я никогда не любила. Они убивают его. Они убили моих детей. Они убили

Мари, думая, что это я, потому что мы поменялись платьями. И я... я забыла. Потому что они такое творили со мной, что я забыла. Их было так много... и все они надругались надо мной... ужасно!

Нож гильотины упал. Она смотрела на это сухими глазами.

Кровь. Цвет крови. Как много крови... кто мог представить, что в таких маленьких телах так много крови? Мертвы. Мертв маленький Жан – маленький Жан, я его назвала так по имени единственного человека, которого я по-настоящему любила. Мармо мертва – моя маленькая синеглазая кукла. И Жан... Жанно... он тоже мертв?

Она медленно шла через толпу. Пелена уходила с ее глаз, поднималась дюйм за дюймом, и яркий свет ослеплял ее. Был мужчина по имени Клод, его уже нет. Я вышла за него замуж, хотя не должна была этого делать, потому что Жюльен был жив. Прости меня, Господи, за это. Здесь... здесь я в Париже. Я здесь уже давно. Я опять видела Жана. Я пыталась заставить его вновь полюбить меня, чтобы его тело любило меня... как это было той замечательной ночью в снегах...

Но он не захотел. Почему? Из-за этой девушки! Девушка, которая не видит, Флоретта, его жена. Он любит ее – не меня... О, Боже милостивый, о, святая, нежная, любящая Мать Божья! Я одна – одна в этом городе убийц. Я была мертва, но теперь я опять жива, и это ужасно, потому что теперь

я не буду жить...

Жан, Жанно! Ты восстал в трибунале и защищал Жюльена, вчера... или годы назад, когда это было, любимый? Ты обнажил свое тело, твое сильное прекрасное тело и показал им свои шрамы. Много, много шрамов, о, мой Жанно, как они должны были мучить тебя! Ты плакал, любимый, ты плакал? Нет, ты слишком храбр для этого, но достаточно ли ты храбр сейчас? Сумеешь ли ты умереть так, как умер Жюльен, когда они придут за тобой? Когда они придут за тобой! Святой Боже, ты ведь ради меня пошел на это. Чтобы спасти моего мужа, ты лишишься жизни!

Теперь она уже бежала, расталкивая толпу. Она добежала до его дома за три минуты до того, как подошла полиция Комитета общественной безопасности, чтобы арестовать его. Она была на лестничной площадке, задохнувшаяся от бега, когда они, грохоча сапогами, стали подниматься по ступенькам.

– Жан! – закричала она, и голос ее был высок, смертельно пронзителен. – Жан! Они идут – беги!

Он распахнул дверь и все увидел. Они поднялись до площадки, их пики были уже на уровне пола. И Николь ла Муат, не колеблясь, бросилась на острия этих пик, вбирая смерть в свои руки, как нежная любовница, и, сломав слабые перила, рухнула на *rez-de-chaussee*⁷¹ пятью пролетами ниже.

Но троих из них она взяла с собой вниз.

⁷¹ Первый этаж (*фр.*)

Жан стоял, глядя вниз на эту разбросанную груду тел на дне лестничного колодца. Затем он крикнул через плечо:
– Флоретта, не выходи на площадку!
И очень спокойно вытянул руки, чтобы их могли связать.

В Консьержери было темно и сильно воняло. Обычные арестанты, мерзавцы, разбойники, люди, которые по ошибке решили убивать ради личных нужд, вместо того чтобы делать это во имя политических идей, были невероятно грязными. Они испражнялись на ту же солому, на которой спали, и потом валялись на ней. Они утратили всякое понятие о приличиях, о человечности. Они мучили политических заключенных из более зажиточных классов, стоя и наблюдая за ними, в то время как охранники срывали одежду с половых органов уже почти обнаженных женщин якобы под предлогом поиска оружия или ощупывали их тела под платьем под тем же официальным предлогом. Жан видел, как падали в обморок женщины, подвергавшиеся столь жестокому обхождению.

“Это должно кончиться, – думал он, – должно. Если они арестуют Флоретту, как арестовали мадам Демулен, молю Господа Бога обрушить свой гнев на их головы! Подвергли ли Люсьену таким испытаниям? В конце концов она спаслась от них, она выполнила свое желание: когда они выносили ее, она выглядела прекрасной и безмятежной...

А я – как я приму смерть? Надеюсь, мужественно, ибо не могу претендовать на то, что не заслужил смерти. Я помогал этой революции, и неважно, что она приняла столь чу-

довищные формы, столь непохожие на те, что я воображал. Я действовал из ревности, ненавидя ла Муата, потому что он был веселым и красивым... При всем моем стремлении к справедливости я никогда не понимал, что справедливость в делах людских чужестранка. Лучше было умереть со славой Вальми, Жемаппа, Ондешютте, чем вот так...

Но я сделал все, что мог. Попытался спасти монархию, всегда выступал на стороне милосердия, никого не убивал, кроме врагов своей страны.

Маленькая Флор, любовь моя, как ты? И как наш ребенок, который растет в твоём нежном теле и стучится у тебя под сердцем? Могу только молить Бога, чтобы он позаботился о тебе и этом плоде нашей любви, ибо теперь я должен покинуть тебя, моя сладкая, должен уйти в темноту, ещё более беспросветную, чем та, в которой ты живешь..."

Он повернулся к другому арестанту, маленькому человечку, сидевшему с упавшей на грудь головой, находящемуся в состоянии полного отчаяния.

– Какой сегодня день? – спросил его Жан.

– Девятое термидора, – ответил маленький человечек.

“Девятое термидора, – стал подсчитывать Жан, – это значит двадцать седьмое июля, я здесь уже пять дней – с четвертого термидора, с двадцать второго июля. Почему они так тянут? Неужели у них такая большая очередь, что даже Фукье и Самсон не справляются? Пять дней с того дня, когда погибла Николь, пытаюсь спасти меня... Я всегда был её злым

гением; до того как я вошел в ее жизнь, она жила в мире. Когда я помогал свергнуть систему, которая взрастила ее, я уже тем самым обрекал обеих на гибель. Единственная разница заключалась в том, что я знал Николь как личность, живую, дышащую, что я любил ее. И умерла она как личность, с отчаянной храбростью жертвуя своей жизнью ради моей, – а не как абстракция, не как символ, именуемый термином “аристократка”. Люди никогда не представляют собой абстракции, хотя мы так помечаем их, хотя мы проклинаем их под этими бессмысленными кличками, они все же умирают, как умер Жерве ла Муат, как человек, уходящий в бесконечное одиночество.

Я умру как предатель – дантонист; но это будут не простые слова, с которыми падают головы в корзину Самсона. Я уйду как уникальное создание, унося с собой свои мечты, убеждения, надежды, разочарования и глупости, отличные от того, что есть у других людей, и лучи солнца никогда не осветят такого же, как я, и это не имеет значения ни для кого, кроме меня.

Прошло пять дней, а Флоретта ни разу не навестила меня. Она больна, другого объяснения быть не может. Потому что в ее тоненьком теле нет ни унции трусости. Конечно, она больна, в ее положении любое волнение причиняет вред... Боже, огради ее, ее и нашего ребенка...”

Однако Жан был не прав. Флоретта не была больна. Она была просто занята. Уже через час после того, как они уве-

ли Жана, она отерла с глаз последние истерические слезы и села, сказав Марианне:

– Помоги мне одеться, у меня есть дела!

– Какие дела? – спросила Марианна.

Флоретта подняла свои невидящие глаза, ее рот казался жесткой линией, перечеркивающей лицо.

– Я должна спасти своего мужа, – сказала она. – Что может быть важнее?

– Но как? – спросила Марианна, и голос ее задрожал от ужаса.

– Пойду к самому Робеспьеру и буду просить его о милосердии. Скажи мне, Марианна, у меня большой живот?

– Нет, не очень, – честно ответила Марианна, – но заметен...

– Прекрасно! Говорят, что Робеспьер безжалостен, но я не верю в это. Жан говорил, что однажды Робеспьер защищал Демулена перед Комитетом. Думаю, он человек слабый и позволил себе втянуть себя в эти дела...

– Слабый! – фыркнула Марианна. – Как же он тогда взобрался на ту вершину, на которой сейчас находится?

– Потому что он из тех странных людей, которые играют роль, пока сами не начинают верить в нее. Жан говорит, что он чудовищно глуп, но уверен, что он гений. Более того, он так твердо уверен в этом и так хорошо играет свою роль, что оказался в силах убедить в этом остальных. Ну, вот. Я готова, пошли...

Пока Марианна провожала Флоретту по улицам до дома зажиточного гражданина Дюпле на улице Сент-Оноре, где жил Робеспьер, Флоретта чувствовала, как дрожит Марианна.

– Не бойся, дорогая, – улыбнулась Флоретта. – Не забывай, что он всего только мужчина, а мы женщины – следовательно, бесконечно превосходим его. Идем, идем...

Однако когда кто-то из домашних Дюпле поднялся в комнату Робеспьера и сказал, что внизу находится беременная жена арестованного человека, которая просит, чтобы он принял ее, Робеспьер завизжал:

– Не хочу видеть ее! Вы ведь знаете, я ненавижу женщин, особенно беременных! отошлите ее...

Он не имел представления о мужестве женщины, которая ждала внизу. На следующий день она опять пришла, и еще через день. Дважды он спасался от нее, ныряя вперед головой в свой экипаж, но не мог ускользнуть от нее вечно.

В конце концов Флоретта поймала его, когда он шел по Елисейским полям вместе с Элеонорой Дюпле, дочью богача Дюпле, их сопровождал гигант-датчанин Броунт.

– Гражданин Робеспьер, – обратилась она, схватив его за рукав, – вы должны спасти моего мужа!

– А кто ваш муж? – сухо спросил Робеспьер.

– Жан Поль Марен, – выпалила Флоретта. – Он никогда не причинял вам вреда...

– Марен! – заорал Робеспьер, у него оказался пронзитель-

ный женский голос. – Гражданка, ваш муж был одним из самых упорных моих врагов! Спасать его! Дантониста, предателя! Почему я должен спасать его?

Однако жалостливая Элеонора, прижавшись к его плечу, шепнула:

– Макс, неужели ты не видишь, что она слепая и беременная?

– Ну и что? – взвизгнул Робеспьер. – Я не виноват ни в том, ни в другом! Пошли, Элеонора...

Он зашагал прочь. Но Флоретта, вся дрожа, успела произнести:

– Не забывайте, гражданин, что был однажды человек, которого звали Марат, и женщина по имени Шарлотта Корде!

Максимилиан Робеспьер обернулся, задумчиво глядя на нее сквозь толстые стекла очков. Он открыл рот, чтобы ответить ей, но ни один звук не вырвался из его горла. И если бы Флоретта Марен не была слепой, она могла бы увидеть, что лицо у него стало белым, как у покойника.

Что-то происходило. Жан Поль знал это. Всю ночь девятого термидора с улицы доносился топот проходивших взад-вперед толп. С крыш домов люди махали заключенным фонарями, освещая ими свои лица, чтобы арестованные могли видеть улыбки.

Из камеры в камеру передавался слух, бородатые лица

прижимались к решеткам и шептали:

– Говорят, Робеспьер арестован! Его наконец схватили! – Слова тонули в бурных криках восторга. Но ликование длилось недолго. Около полуночи у ворот Консьержери появился человек, кричавший:

– Все пропало! Он на свободе? Робеспьер на свободе, и они готовят новую резню арестованных!

Жан Поль встал со своего соломенного матраса. Вена у него на виске набухла и пульсировала. Он наклонился и начал массировать занемевшие руки и ноги, думая:

“Когда за все последнее время ты, Жан Марен, вел себя как мужчина? Николь умерла как героиня, а ты пошел с ними – как овца на убой! Неужели они так сломали тебя, что ты без борьбы принимаешь смерть из рук трусов?”

Он выпрямился, и глухой смех сорвался с его уст. Один из заключенных, услышав этот смех, похолодел.

При Вальми я вел себя как мужчина, при Жемаппе это можно повторить с еще большей уверенностью. Десятки раз я противостоял толпе, но утратил силу духа, устал и начал смиряться со слишком многим. Но у последней черты никакие прошлые мерки не возвышают дух человека лучше, чем простой факт отказа от того, чего он не принимает... Итак, вы, подонки! Моя голова украсит ваши пики, но клянусь, это будет вам стоить дорого!

Он стал продвигаться к железной перегородке, отгораживающей общую камеру от коридора.

– Стража! – позвал он, и голос его был громоподобен.

Прибежал разъяренный стражник.

– Ближе, – улыбнулся Жан. – У меня есть для тебя ценная информация!

– Какая еще информация? – подозрительно спросил стражник.

– Они задумали разрушить тюрьму, – прошептал Жан. – Я рассказываю это, чтобы заработать себе хоть какое-то снисхождение. Подойди поближе, они убьют меня, если услышат!

Стражник подошел слишком близко. Большие руки Жана сомкнулись на его горле, пока лицо стражника не начало синеть.

– Ключи! – засмеялся Жан. – Или, клянусь Верховным Существом Макса Робеспьера, ты умрешь!

У стражника не было никакого желания разыгрывать из себя героя. Он передал Жану ключи. Жан, продолжая держать его левой рукой за горло – этого было достаточно, чтобы задушить его, – отпер дверь. Затем, по-прежнему сжимая ему горло левой рукой, он ударил его по лицу правой с такой силой, которая свалила бы и быка. Когда он отпустил его, стражник без звука свалился на каменный пол.

Жан нагнулся и поднял его. Безоружный, он нуждался в живом стражнике, чтобы убедить других стражников не стрелять и выпустить его. Потом он обернулся к другим обитателям камеры:

– Кто со мной? Кто хочет вырваться отсюда?

Они забились по углам и с ужасом глазели на него.

Жан посмотрел на них, потом разразился своим насмешливым беспощадным хохотом.

– Тогда, – прогремел он, – подышайте здесь, как местные крысы.

Он пошел к воротам, неся в руках стражника. Из маленькой сторожки у главных ворот выскочил надзиратель с криком:

– Что с ним, он заболел?

– Да, – отозвался Жан, – думаю, он умирает...

Надзиратель подошел поближе и завопил:

– Арестант! Как ты...

Это был последний звук, который он издал. Жан уронил находившегося без сознания стражника и стал трясти голову надзирателя из стороны в сторону, нанося ему удары по лицу, так что, когда Жан отпустил его и отступил, тот рухнул вниз лицом.

В маленькой сторожке оказался набор пистолетов. Жан забрал их, засунув один себе за пояс, потом поднял надзирателя, потому что тот был меньше ростом и легче, чем стражник, которого он поначалу собирался использовать как заложника; он взял его на руки, приставив дуло пистолета к его горлу.

Затем он двинулся к следующим воротам. Стражники побежали навстречу ему, направив на него пики и пистолеты.

– Эй, вы, собаки! – засмеялся Жан. – Бросьте ваши хо-

рошенькие игрушки! Один выстрел с вашей стороны, и ваш старший – покойник.

Они отступили и дали ему пройти. У последних ворот, выходящих на улицу, произошло то же самое.

– Не ходите за мной! – гаркнул на них Жан, в его голосе прорезался сатанинский смех. – Мы с вашим другом совершим долгую прогулку! Если хотите получить его обратно, во имя Господа Бога, не ходите за мной!

Ночные события выбили стражников из колеи; они не испытывали никакого желания участвовать в подобных передрягах. Жан прошел по мосту на Правый берег, тихо посмеиваясь; вот уже много лет он не находил жизнь столь забавной. На пересечении проспекта Генриха Четвертого и улицы Сент-Антуан он опустил свою ношу и бросился бежать со всей скоростью, на какую был способен, по темным улицам.

Улица Сент-Антуан была заполнена людьми, хотя часы показывали уже час ночи десятого термидора. От толпившихся там людей Жан услышал всю историю.

– Да, его освободили! Тюремщики в Люксембургском дворце побоялись принять его. Тогда его отвезли в Мари, но начальники там его люди...

– Подождите, граждане! Он уже не в Мари! – прокричал какой-то вновь пришедший. – Он вырвался из-под ареста и отправился в Отель де Виль!

– Но тогда, – торжествующе прогремел Жан, – он, граждане, вне закона! И его можно пристрелить как бешеную со-

баку, каковой он и является! Пропустите меня, друзья, это работа для меня!

Он взбежал по лестнице в свою квартиру, перепрыгивая через три ступеньки, и, не задумываясь, распахнул дверь в комнату одновременно с криками Флоретты и Марианны.

– Жан! – задохнулась Марианна. – Во имя Господа Бога! Каким образом...

– Жан! – вскрикнула Флоретта. – Жан, мой дорогой, как... Жан, скажи мне, как...

– Нет времени, любовь моя, – засмеялся Жан. – Я вырвался из тюрьмы, но сейчас это уже не важно. Но ты, любимая, знай: к утру я буду свободным человеком или меня не будет в живых, а ты сможешь рассказывать моему сыну, что я умер не со связанными руками, а с пистолетом в руках!

– Жан, Жан, ты сошел с ума! – прошептала Флоретта.

– Нет, в первый раз за долгое время я в своем уме. Сражаться – вот мое *métier*⁷², сражаться, а не подчиняться. Любимая, дай мне сюртук, мою трость и пистолеты. Марианна, – порох и пули, ты знаешь, где я их держу. Заверни во что-нибудь, потому что начинается дождь.

Он крепко поцеловал Флоретту.

– Робеспьер в Отеле де Виль, – сказал он. – Сегодня ночью добрые люди должны покончить с его тиранией раз и навсегда. Думаю, любимая, мы победим, но если нет...

– Тогда я расскажу нашему сыну, что его отец был храб-

⁷² Профессия (*фр.*)

рый человек и галантный джентльмен, который умер не так, как другие – привязанные к доске, запачканной кровью трусов!

– Флор! – задохнулась Марианна. – Как ты можешь говорить такое?

– Потому что это правда, – с ликованием выкрикнула Флоретта, – только потому, что это правда!

А Жан уже гремел башмаками вниз по лестнице.

Всю оставшуюся часть ночи Флоретта просидела, не обращая внимания на неудобство для своего раздавшегося тела, прислушиваясь к шуму за окном, пока не наступил рассвет и она не почувствовала тепло солнечных лучей на своем лице, а она все продолжала сидеть, не двигаясь, ожидая, слушая, как вдалеке возникла волна ликования, все нарастающая, становившаяся все громче, пока не достигла их дома, и за топотом бегущих ног до нее донеслись крики:

– Он мертв! Он мертв! Тиран убит, с Террором покончено!

Тогда она поднялась, стала медленно спускаться по лестнице и смешалась с толпой. Теперь она все узнала: как умер визжащий Робеспьер, как Конвент уже принял закон об освобождении всех узников, брошенных в тюрьму во время Террора.

“Значит, – подумала она, – Жану надо было только дождаться, и он все равно был бы освобожден. Но выждать – это для трусов, а мой Жан настоящий мужчина! Я рада,

что он не стал выжидать, что он силой вырвался из тюрьмы, принял участие в том, что происходило, что он своими большими руками перевернул мир! Такие сильные руки у моего Жана, такие сильные, такие нежные...”

Потом она услышала его хохот, перекрывающий гул толпы, и его крик “Флоретта!” и бросилась со всех ног на этот зов.